К. М. СТАНЮКОВИЧ

РАВНОДУШНЫЕ

Равнодушные

Константин Михайлович Станюкович

Аннотация
Константин Михайлович Станюкович. Равнодушные
Равнодушные
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Глава пятнадцатая
- Глава шестнадцатая
- Глава семнадцатая

Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Глава тридцатая
Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Глава тридцать четвертая

Аннотация

Константин Михайлович Станюкович — талантливый и умный, хорошо знающий жизнь и удивительно работоспособный писатель, создал множество произведений, среди которых романы, повести и пьесы, обличительные очерки и новеллы. Произведения его отличаются высоким гражданским чувством, прямо и остро решают вопросы морали, порядочности, честности, принципиальности.

Книга содержит роман «Равнодушные».

http://ruslit.traumlibrary.net

Константин Михайлович Станюкович
Равнодушные

Равнодушные

Глава первая[1]

I

Василий Николаевич Ордынцев, худой, высокий брюнет лет под пятьдесят, с большой, сильно заседевшей черной бородой и длинными, зачесанными назад седыми волосами, только что собирался уйти из железнодорожного правления, в котором занимал место начальника одного из отделов, как один удар электрического звонка раздался в маленьком кабинете Ордынцева.

«Что ему нужно? Должен, кажется, знать, что занятия кончаются в четыре и что люди есть хотят!» — подумал, раздражаясь, Ордынцев.

И, захватив портфель, недовольный, пошел наверх в кабинет председателя правления, господина Гобзина.

— Мы, кажется, не видались сегодня, Василий

---

[1] Примечания: 1

Две первые главы являются незначительной переработкой этюда давно задуманного романа «Равнодушные». Этот этюд, под названием «У домашнего очага», был напечатан в двух фельетонах «Русск. вед.» в 1896 г. (Прим. К. М. Станюковича.)

Автор, по-видимому, запамятовал, что еще в 1892 году две первые главы в первоначальной редакции с несколько иными именами действующих лиц были им напечатаны под заглавием «Дома» в сборнике «Современные картинки».

Николаевич, — любезно проговорил мягким тенорком и слегка растягивая слова очень полный молодой человек хлыщеватого вида, протягивая через стол красную пухлую руку с короткими пальцами. — Покорнейше прошу присесть на минутку, Василий Николаевич. Пожалуйста! — указал господин Гобзин на кресло у стола.

— Что прикажете? — нетерпеливо спросил Ордынцев тем официально служебным тоном, не допускающим никакой фамильярности в отношениях, каким он всегда говорил с Гобзиным, один вид которого приводил в раздражение Ордынцева.

И эта самодовольная до нахальства улыбка, сиявшая на жирном и румяном лице с модной клинообразной бородкой, и наглый взгляд стеклянных рачьих глаз, и развязная самоуверенность суждений, тона и манер вместе с чуть не обритой круглой головой, до смешного кургузым вестоном[2] и крупным брильянтом на красном толстом мизинце с огромным ногтем, и пренебрежительная любезность обращения с подчиненными, апломб и старание быть вполне светским джентльменом, нисколько не похожим

---

[2] Примечания: 2
Пиджаком (от франц. le veston).

на мужика-отца, который из мелких рядчиков сделался миллионером и крупным финансовым тузом, — все это донельзя было противно в молодом, окончившем университет Гобзине, и Ордынцев старался как можно реже видаться со своим принципалом, ограничивая служебные свидания самыми короткими разговорами.

И теперь он, несмотря на приглашение Гобзина, не присел, а стоял.

— Господин Андреев у вас занимается? — спросил Гобзин.

— Да. В тарифном отделе.

— Потрудитесь, Василий Николаевич, завтра объявить господину Андрееву, что он нам более не нужен. Ну, разумеется, я велю выдать ему в виде награды жалованье за два месяца! — снисходительно прибавил Гобзин.

Изумленный таким распоряжением относительно трудолюбивого и дельного служащего, Ордынцев взволнованно спросил:

— За что вам угодно уволить Андреева?

Гобзин на секунду смутился.

Дело в том, что он обещал графине Заруцкой непременно устроить какого-то ее родственника, необыкновенно польщенный, что молодая и хорошенькая аристократка обратилась к нему с

просьбой на одном благотворительном базаре, где Гобзин был ей представлен.

Мест не было, и надо было кого-нибудь уволить, чтобы исполнить обещание, о котором графиня только что напоминала письмом.

— У меня есть основания! — значительно проговорил Гобзин.

И, приняв вид начальника, придвинул к себе лежавшие на столе бумаги и опустил на них глаза, как бы давая этим понять Ордынцеву, что разговор окончен.

Но Ордынцев не намерен был кончать.

«Скотина!» — мысленно произнес он и бросил взгляд, полный презрения, на рыжеволосую голову своего патрона.

Взгляд этот скользнул по письменному столу и заметил на нем письмо и рядом взрезанный изящный конвертик с короной.

«Так вот какие основания!» — сообразил Ордынцев, еще более возмущенный.

На таких же «основаниях» уже были уволены двое служащих с тех пор, как Гобзин-отец посадил на свое место сынка.

И, видимо, осиливая негодование и стараясь не волноваться, Ордынцев довольно сдержанно проговорил:

— Но ведь Андреев спросит меня: за что его лишают куска хлеба? Что прикажете ему ответить? Он четыре года служит в правлении. У него мать и сестра на руках! — прибавил Ордынцев, и мягкая, чуть не просительная нотка задрожала в его голосе.

— У нас не благотворительное учреждение, Василий Николаевич, — возразил, усмехнувшись, Гобзин. — У всех есть или матери, или сестры, или жены, или любовницы, — продолжал он с веселой развязностью, оглядывая свои твердые, большие ногти. — Это не наше дело. Нам нужны хорошие, исправные служащие, а господин Андреев не из тех работников, которыми следует дорожить… Он…

— Напротив, Андреев…

— Я прошу вас, Василий Николаевич, позволить мне докончить! — с усиленно подчеркнутой любезностью остановил Ордынцева председатель правления, недовольный, что его смеют перебивать.

И его жирное круглое лицо залилось багровой краской, и большие рачьи глаза, казалось, еще более выкатились.

— Ваш господин Андреев, — продолжал Гобзин, все более и более проникаясь ненавистью

к Андрееву именно оттого, что чувствовал свою несправедливость, — ваш господин Андреев небрежно относится к своим обязанностям. Так и потрудитесь ему передать от моего имени. Очень небрежно! Несколько дней кряду я видел его приходящим на службу в двенадцать вместо десяти. Это терпимо быть не может, и я удивляюсь, Василий Николаевич, как вы этого не замечали?

— Я это знал.

— Знали?

— Еще бы! Андреев являлся позже на службу с моего разрешения.

Молодой человек опешил.

— С вашего разрешения? — протянул он без обычного апломба и видимо недовольный, что попался впросак. — Я этого не знал.

— С моего. Я дал ему большую работу на дом и потому на это время позволил приходить позже на службу. И вообще я должен сказать, что Андреев отличный и добросовестный работник, и увольнение его было бы не только вопиющей несправедливостью, но и большой потерей для дела.

Этот горячий тон раздражал Гобзина. Сбитый с позиции, он несколько мгновений молчал.

— Против господина Андреева есть еще обви-

нение! — живо проговорил он, точно обрадовавшись.

— Какое-с?

— До меня дошли слухи, что он недавно был замешан в какой-то истории, не рекомендующей его образ мыслей.

— Сколько мне известно, хоть я, конечно, и не производил следствия, — с ядовитой усмешкой вставил Ордынцев, — было одно недоразумение.

— Недоразумение?

— Да-с! И ни в какой истории он не был замешан. Была бы охота у клеветников! Вас, очевидно, ввели в заблуждение. Вам пошло и глупо наврали на Андреева в надежде, что вы поверите…

И Ордынцев, взволнованный и взбешенный, не обращая внимания на недовольную физиономию Гобзина, продолжал защищать сослуживца, не сдерживая своего негодующего чувства.

Этот резкий, горячий тон, совсем непривычный ушам Гобзина, избалованным иным тоном своих подчиненных, злил и в то же время невольно импонировал на трусливую натуру молодого человека. Он понял, что сглупил, выставив как обвинение слухи, которым и сам не придавал значения, а упомянул о них единственно из желания настоять на своем. И, очутившись в глупом

положении, припертым к стене, почувствовал еще большую ненависть к Ордынцеву, позволившему себе читать нравоучения.

С каким наслаждением выгнал бы он немедленно со службы этого беспокойного человека, который относится к нему, избалованному лестью и почетом, с едва скрываемым неуважением. Но сделать это не так-то легко. Ордынцев пользовался в правлении репутацией знающего и превосходного работника. Сам старик Гобзин, умный и понимавший людей, рекомендовал Ордынцева новому председателю правления, как служащего, которым надо особенно дорожить. Все члены правления его ценили, а, главное, старик Гобзин не только не позволил бы уволить Ордынцева, но намылил бы еще голову сыну.

И он принужден был выслушать до конца своего беспокойного подчиненного и объявить, что берет назад свое распоряжение относительно Андреева.

Но он не удержался от искушения пустить шпильку и прибавил своим обычным развязным тоном:

— Господин Андреев не родственник ли вам, что вы его так пылко защищаете?

— А вы, видно, думаете, что пылко можно за-

щищать только родственников? — переспросил с презрительной усмешкой Ордынцев, взглядывая в упор на председателя правления. — Ошибаетесь. Он мне не родственник и не знакомый.

И, еле кивнув головой, Ордынцев вышел из кабинета, оставив молодого человека в бессильной ярости.

II

Ордынцев торопливо шел домой, и невеселые мысли лезли в его голову.

Теперь это «животное», наверно, будет ему пакостить. Положим, им дорожат в правлении, но Гобзин может вызвать его на дерзость и сделать службу невозможной. И без того она не сладка. Работы пропасть, и такой работы, которая не по душе, но по крайней мере хоть заработок хороший — пять тысяч. Жить можно. Довольно уж на своем веку маялся и менял места после того, как убедился, что из него литератор не вышел. Везде одно и то же. Та же лямка. Та же скучная работа. Та же неуверенность в том, что долго просидишь на месте. Здесь он, однако, ухитрился прослужить четыре года, хотя последний год, когда выбрали председателем правления молодого Гобзина, и были неприятности. Он их терпел. Но не мог же

он в самом деле молчать при виде вопиющей несправедливости. Не мог он не вступиться за Андреева. Еще настолько жизнь не пригнула его.

И хотя Ордынцев сознавал, что иначе поступить не мог, и был уверен, что и впредь поступит точно так же, тем не менее мысль о том домашнем аде, который усиливался во время безработицы и неминуемо ждал его в случае потери места, приводила Ордынцева в ужас и озлобление.

И чем ближе подходил он к своему «очагу», тем угрюмее и злее делалось его лицо, точно он шел на встречу с врагами.

Глава вторая

I

Вот и «дом».

Ордынцев быстро поднялся на четвертый этаж и, отдышавшись, надавил пуговку звонка.

— Обедают? — спросил он горничную, снимая пальто.

— Недавно сели.

— Подождать не могли! — раздраженно шепнул Ордынцев.

Он прошел в столовую и, нахмурившись, сел на свое место, на конце стола, против жены, между подростком-гимназистом и смуглой девочкой лет двенадцати. По бокам жены сидели старшие дети Ордынцевых: студент и молодая девушка.

Горничная принесла тарелку щей и вышла.

— А что же папе водки? — заботливо проговорила смуглая девочка, оглядывая большими темными глазами стол. — Забыли поставить?

И, вставши, несмотря на строгий взгляд матери, из-за стола, она достала из буфета графинчик и рюмку, поставила их перед отцом и спросила:

— Наливать, папочка?

— Наливай, Шурочка! — смягчаясь, проговорил Ордынцев и ласково потрепал щеку девочки.

Он выпил рюмку водки и принялся за щи.

— Совсем холодные! — проворчал Ордынцев.

Никто из членов семьи не обратил внимания на эти слова. Одна лишь Шурочка заволновалась.

— Сию минуту разогреют. Хочешь, папочка? — спросила она, протягивая руку к отцовской тарелке.

— Спасибо, милая, не надо. Есть хочется.

И Ордынцев продолжал сердито и жадно глотать щи.

Шурочка, видимо обиженная за отца, с недоумением взглянула на мать.

Это была высокая, довольно полная, сильно моложавая блондинка с большими черными волоокими глазами, свежая и красивая, несмотря на свои сорок лет. От ее классически правильного лица, с прямым носом, сжатыми губами и несколько выдавшимся подбородком, веяло жесткостью и холодом, и в то же время в нем было что-то чувственное. Вся она, точно сознавая свое великолепие, сияла холодным блеском и, видно было, очень ценила и холила свою особу, напоминающую красивое, хорошо откормленное животное.

На ней был черный лиф, обливавший пышные формы роскошного бюста. У шеи блестела красивая брошка; в ушах горели маленькие бриллянты, а на холеных белых крупноватых руках были кольца. Густые белокурые волосы, собранные сзади, вились у лба колечками. От нее пахло душистой пудрой и тонким ароматом ириса.

— Я думала, что ты не придешь обедать! — проговорила наконец Ордынцева, взглядывая на мужа.

В тоне ее певучего контральто не звучало ласковой нотки. Взгляд, брошенный на мужа, далеко не был взглядом любящей жены.

— Ты думала? — переспросил Ордынцев и в свою очередь взглянул на жену.

Злое, ироническое выражение блеснуло в его острых и умных, темных, глубоко сидящих глазах и отразилось на бледном, худом, смуглом и старообразном лице с тонкими изящными чертами.

Все в этой красивой, выхоленной, когда-то безгранично любимой женщине раздражало теперь Ордынцева: и ее самодовольное великолепие, и обтянутый лиф, и колечки на лбу, и голос, и кольца, и остатки пудры на щеке, и подведенные глаза, и запах духов.

«Ишь рядится!» — со злостью подумал он, от-

водя глаза.

И Ордынцева не могла простить мужу ошибки своего замужества по страстной любви и прежнего увлечения умом мужа.

«Не та жизнь предстояла бы ей, такой красавице, если б она не вышла замуж за этого человека!» — не раз думала она, считая себя страдалицей и жертвой.

Она чуть-чуть пожала плечами и, принимая еще более равнодушно-презрительный вид, тихо и медленно выговаривая слова, заметила:

— Не понимаю, с чего ты злишься и делаешь сцены. Кажется, и так довольно их!

Ордынцев молчал, занятый, казалось, едой, но каждое слово жены раздражало и злило его, натягивая и без того натянутые нервы.

А госпожа Ордынцева, хорошо зная, чем пробрать мужа, продолжала все тем же тихим, певучим тоном:

— Мы ждали тебя до половины шестого. Ты не приходил, и я предположила, что ты, желая избавиться от нашего общества, пошел с кем-нибудь из своих друзей-литераторов обедать в ресторан. Ведь это не раз случалось! — прибавила она с особенным подчеркиванием, хорошо понятным Ордынцеву.

«Шпильки подпускает… дура!» — мысленно выругал Ордынцев жену и с раздражением сказал:

— Ведь ты знаешь, что я всегда предупреждаю, когда не обедаю дома. Ведь ты знаешь?

И, не дождавшись от жены признания, что она это знает, продолжал:

— Следовательно, вместо нелепых предположений, было бы гораздо проще оставить мне горячий обед.

— Прикажешь дрова жечь в ожидании, когда ты придешь? И без того от тебя только и слышишь, что выходит много денег, хотя, кажется, мы и то живем…

— Как нищие? — иронически подсказал Ордынцев. — Ты вечно поешь эту песню.

— А по-твоему, мы хорошо живем? — вызывающе кинула жена. — Едва хватает на самое необходимое.

— Особенно ты похожа на нищую, несчастная страдалица! — ядовито заметил Ордынцев, оглядывая злыми глазами свою великолепную супругу. — Но уж извини… На твои изысканные вкусы у меня средств нет!

И, проговорив эти слова, Ордынцев принялся за жаркое.

— Экая мерзость! Даже и мяса порядочного

купить не умеют!

Жена молчала, придумывая, что бы такое сказать мужу пообиднее за его издевательства.

— А подкинуть два полена, — снова заговорил Ордынцев, — не бог знает какой расход. Кажется, сообразить нетрудно… Или затруднительно, а?

Ордынцева полна была злобы. Лицо ее словно бы закаменело. Она вся как-то подобралась, словно кошка, готовая к нападению. Вместо ответа она подарила мужа высокомерно-презрительным взглядом.

— И часто ли я опаздываю? — продолжал Ордынцев, отодвигая тарелку. — Сегодня у меня была спешная работа, и, кроме того, меня задержал этот идиот.

— Какой именно идиот? Ведь у тебя все подлецы и идиоты. Один только ты необыкновенный умница… Оттого, вероятно, ты и не можешь устроиться так, чтобы семья твоя не страдала от твоего необыкновенного ума! — с каким-то особенным злорадством протянула Ордынцева, видимо очень довольная придуманной ею ядовитой фразой.

Но, к удивлению ее, муж не вспылил, как она ждала.

Он удержался от сильного желания оборвать

эту «злую дуру», взглянув на умоляющее лицо Шурочки, и заговорил с ней.

С самого начала пикировки девочка, взволнованная, с выражением тоски и испуга, переводила свои кроткие большие глаза то на отца, то на мать, видимо боясь, как бы эти обоюдные язвительные укоры не окончились взрывом гнева выведенного из терпения отца, которого девочка очень любила и за которого стояла горой, понимая чутким, любящим сердцем, что мать к отцу невнимательна и что она виновница всех этих сцен, доводящих больного отца до бешеного раздражения.

Она видела, что все как-то безмолвно вместе с матерью осуждали его, и тем сильнее любила, умея своей приветливостью и лаской рассеять подчас постоянно угрюмое расположение духа отца.

Остальные дети, по-видимому, были совсем безучастны к обмену колкостей, происходившему между родителями.

Алексей, удивительно похожий на мать, изящный блондин, с красивыми, точно выточенными чертами лица, чистенький и свеженький, как огурчик, выстриженный по-модному, под гребенку, в опрятной тужурке, необыкновенно

солидный по виду, с невозмутимым спокойствием и с какою-то торжественной серьезностью, точно делал необыкновенно важное дело, — очищал костяным ножиком кожу с сочной груши, стараясь не прихватить мясистой части плода. Окончив это, он разрезал грушу на куски и стал их класть в рот опрятными, с большими ногтями, пальцами с противной медлительностью гурмана, желающего как можно более продлить свое удовольствие. На его лице с едва пробивающимися усиками и девственной бородкой, на манерах, на всей его худощавой, небольшой, стройной фигурке был отпечаток чего-то самоуверенного, определенного и законченного, точно перед вами был не двадцатидвухлетний молодой человек, полный жажды жизни и мечтательных планов, а трезвенный, умудренный опытом муж с выработанными правилами, для которого все вопросы решены и жизнь не представляется загадкой.

Сестра его Ольга, стройная, высокая, хорошо сложенная брюнетка лет двадцати, с красивыми темными глазами, смугловатая в отца, одетая, как и мать, с претензией на щегольство, отличалась, напротив, самым беззаботным и легкомысленным видом хорошенькой, сознающей свою обворожительность куколки, для которой жизнь

представляется лишь одним веселым времяпрепровождением.

Взор ее рассеянно перебегал с предмета на предмет, и мысль, очевидно, порхала, ни на чем долго не останавливаясь.

Она то равнодушно прислушивалась к словам отца, то взглядывала на мать, завидуя ее брошке и новому красивому кольцу с рубином, которое, по словам мамы, было переделано из старого (чему, однако, дочь не верила, а подозревала иное происхождение кольца), то в уме повторяла напев модной цыганской песенки, то от скуки благовоспитанно зевала, прикрывая маленький, с крупными губами, рот красивым жестом руки с бирюзой на мизинце, который она как-то особенно выгибала, отделяя от других пальцев. Давая ему разнообразные, более или менее грациозные изгибы, она сама любовалась крошкой-мизинцем с розовым ноготком.

«Скорей бы конец этим сценам!» — говорило, казалось, это подвижное, хорошенькое и легкомысленное личико.

И молодая девушка думала:

«С чего они вечно грызутся? Папа, в самом деле, странный. Мог бы, кажется, зарабатывать больше, чтоб не раздражать маму. Когда она выйдет

замуж, она не позволит мужу стеснять себя в расходах и говорить дерзости!»

Улыбка озарила лицо Ольги. Мысль остановилась на одном господине, который с недавнего времени ухаживал за ней основательнее других. Она знала, что сильно ему нравилась, и особенно, когда бывала в бальных платьях. Недаром же он возит конфекты и фрукты, достает ложи в театр, как-то особенно значительно жмет руки и, когда остается с ней наедине, глядит на нее глупыми глазами и все просит целовать руку. И мама говорит, что он подходящий жених, но советовала не позволять ему ничего лишнего, а то мужчины нынешние вообще подлецы. Она и без мамы это знает, слава богу! Еще когда кончала курс в гимназии, то один студент на даче целовал в губы, обещал сделать предложение и… исчез. Вчера вот Уздечкин непременно хотел поцеловать ладонь, так она отдернула руку и представилась, что очень рассердилась, и он просил прощения.

Чего, глупый, не делает предложения? Тогда целуй как угодно! Она пойдет замуж, хотя и фамилия «мовежанрная», и вульгарное лицо, и лысина, и прыщи на щеках, и рост очень маленький… Но зато он добрый, и у него дом в Петербурге… Неужели он будет только целовать

руки и не сделает предложения только потому, что она благодаря отцу не имеет приданого. Или он узнал, что она занимается флиртом с другим, который ей нравится?

Так что же он, дурак, медлит?

Недовольная гримаска сменяет улыбку, и длинные тонкие пальцы капризно мнут хлебный катышек. Она сердита на отца, который не заботится о дочери. Должно же быть у всякой порядочной девушки приданое. Отец просто-таки не любит ее… Ничего для нее не делает!

Но через секунду-другую беззаботно-веселое выражение снова озаряет ее личико. О, она знает, что нужно сделать — она поступит на сцену. Все говорят, что у нее талант. Один папа нарочно не признает… Он увидит, какой будет успех… А со сцены можно сделать хорошую партию…

Гимназист Сережа, с неуклюже вытянутой фигурой тринадцатилетнего подростка, с испачканными чернилами пальцами и вихорком, торчавшим на голове, съевши в два глотка неочищенную грушу и пожалевши, что нельзя съесть еще по меньшей мере десятка, тотчас же, с разрешения матери, сорвался с места и с озабоченным видом вышел из столовой. Ему было не до родительской перебранки, к которой он относился

с презрительным недоумением, так как у него было дело несравненно важней: надо было готовить уроки.

«Заставили бы их зубрить, небось бросили бы ругаться!» — высокомерно подумал гимназист и, собравши книги и тетрадки, засел за них в комнате матери и, заткнувши уши пальцами, стал долбить, с добросовестностью первого ученика в классе, урок из географии.

II

Ордынцев собирался было встать из-за стола, как жена с едва слышной тревогой в голосе, но, по-видимому, довольно добродушно спросила:

— Верно, у тебя опять вышла какая-нибудь история с Гобзиным?

«Уж струсила!» — подумал Ордынцев, и сам вдруг, при виде семьи, струсил.

— Никакой особенной истории! — умышленно небрежным тоном ответил Ордынцев. — Гобзин хотел было без всякой причины уволить одного моего подчиненного… Андреева…

— И ты, разумеется, счел долгом излить потоки своего благородного негодования? — перебила жена, презрительно усмехнувшись.

Этот тон взорвал Ордынцева.

«Так на же!»

И он с раздражением крикнул, вызывающе и злобно глядя на жену:

— А ты думала как? Конечно, заступился за человека, которого эта скотина Гобзин хотел вышвырнуть на улицу. Да, заступился и отстоял! Тебе это непонятно?

— Благородно, очень благородно, как не понять! Но подумал ли ты, благородный человек, о семье? Что будет, если Гобзин выживет такого непрошеного заступника? — произнесла трагически-мрачным тоном Ордынцева, и тревога виднелась на ее лице.

— Не выживет. Не посмеет!

— Не посмеет? — передразнила Ордынцева. — Мало ли тебя выживали? Видно, какой-нибудь посторонний человек тебе дороже семьи, — иначе ты не делал бы подобных глупостей… Все у тебя идиоты… Один ты — необыкновенный человек. Скажите, пожалуйста! Все уживаются на местах, — один ты не умеешь… Воображаешь себя гением… Нечего сказать: гений! Опять хочешь сделать нас нищими!

— Не каркай! Еще Гобзин не думает выживать. Слышишь? — гневно воскликнул Ордынцев.

— Забыл, что ли, каково быть без места? —

умышленно не слушая мужа, продолжала жена. — Забыл, как все было заложено и у детей не было башмаков? Тебе, видно, мало, что мы и так живем по-свински — не можем никаких удовольствий доставить детям… Ты хочешь, чтоб мы переселились в подвал и ели черный хлеб! — прибавила Ордынцева, с ненавистью взглядывая на мужа.

Ордынцев уж раскаивался, что его дернуло сказать об этой истории.

Ведь знал он эту женщину, которая вместо поддержки в трудные времена, напротив, старалась изводить его, издеваясь над тем, что он считал обязательным для порядочного человека. Знал он, что уже давно они говорят на разных языках и что ее язык более, чем его, понятен детям. Видел, хорошо видел, что он чужой в своей семье и что, кроме Шурочки, все безмолвно осуждают его и всегда на стороне матери и смотрят на него, как на дойную корову.

«Но, быть может, дети за него? Молодость чутка!» — подумал Ордынцев, не терявший надежды встретить хоть теперь сочувствие детей.

Он взглянул на них и увидал испуганное, недовольное личико Ольги и невозмутимо спокойное лицо первенца.

Эта невозмутимость ужалила Ордынцева, и злобное чувство к этому «молодому старику», как звал он сына, охватило отца. Давно уж этот солидный молодой человек возбуждал в Ордынцеве негодование. Они ни в чем не сходились. Старик отец казался увлекающимся юношей перед сыном. Отношения их были холодны и безмолвно-неприязненны, и они почти не разговаривали друг с другом.

Но слабая надежда, что сын если не почувствует, то хотя поймет правоту отца, заставила Ордынцева обратиться к Алексею с вопросом:

— Ну, а по-твоему, Алексей, глупо, — или как там у вас по-нынешнему? — рационально или не рационально поступил я, вступаясь за обиженного человека?

Алексей пожал плечами.

Дескать, к чему разговаривать!

— Мы ведь не сходимся с тобой во взглядах! — уклончиво проговорил молодой человек.

— Как же, знаю! Очень даже не сходимся. Я — человек шестидесятых годов; ты — представитель новейшей формации. Где же нам сходиться? Но все-таки интересно знать твое мнение по этическому вопросу. Соблаговоли высказать.

— Если ты так желаешь…

— Именно, желаю.

— Тогда изволь…

И, слегка приподняв свою красиво посаженную голову и не глядя на отца, а опустивши серьезные голубые глаза на скатерть, студент заговорил слегка докторальным тоном, тихо, спокойно, уверенно и красиво:

— Я полагаю, что Гобзина со всеми его взглядами и привычками, как унаследованными, так и приобретенными, ты не переделаешь, что бы и как бы ты ему ни говорил. Если он, с твоей точки зрения, скотина, то таковой и останется. Это его право. Да и вообще навязывать кому бы то ни было свои мнения — донкихотство и непроизводительная трата времени. Темперамента и характера, зависящих от физиологических и иных причин, нельзя изменить словами… Человек поступает, как ему выгодно, и для лишения его этой выгоды нужны стимулы более действительные. Это во-первых…

«Как он хорошо говорит!» — думала мать, не спуская с сына очарованного взора.

«Дар слова есть, но какая самоуверенность!» — мысленно решил отец и иронически спросил:

— А во-вторых?

— А во-вторых, — так же спокойно и с тою же

самоуверенной серьезностью продолжал молодой человек, — та маленькая доля удовольствия, происходящего от удовлетворения альтруистического чувства, какую ты получил, защищая обиженного, по твоему мнению, человека, обращается в нуль перед тою суммой неприятностей и страданий, которые ты можешь испытать впоследствии, и, следовательно, ты же останешься в явном проигрыше…

— В явном проигрыше?.. Так… так… Красиво ты говоришь. Ну, а в-третьих? — с нервным нетерпением, быстро перебирая тонкими пальцами заседевшую черную большую бороду, спрашивал Ордынцев.

— А в-третьих, если Гобзин имеет намерение, по тем или другим соображениям, удалить служащего, то, разумеется, удалит. Ты, пожалуй, отстоишь Андреева, но Гобзин уволит Петрова или Иванова. Таким образом явится перестановка имен, а самый факт несправедливости останется. А между тем ты, защищая справедливость, не достигаешь цели и, кроме того, ради ощущения удовольствия, и притом кратковременного и, в сущности, только тешащего самолюбие, рискуешь положением и этим самым невольно рискуешь не исполнить обязанностей относи-

тельно семьи. Кажется, очевидно? — заключил Алексей.

— Еще бы! Совсем очевидно… необыкновенно очевидно, — начал было Ордынцев саркастически-сдержанным тоном.

Но он его не выдержал…

Внезапно побледневший, он с ненавистью взглянул на сына и, возмущенный, крикнул ему:

— Фу, мерзость! Основательная мерзость, достойная оскотиневшегося эгоиста! И это в двадцать два года? Какими же мерзавцами будете вы, молодые старики, в тридцать?

Он больше не мог от волнения говорить — он задыхался.

Бросив на сына взгляд, полный презрения, Ордынцев шумно поднялся с места и ушел в кабинет, хлопнув дверями.

Вслед за ним ушла и Шурочка. Глаза ее были полны слез.

— А ты, Леша, не обращай внимания на отца! — промолвила нежно мать.

Но молодой человек и без совета матери не обратил внимания на гневные слова отца. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Вот всегда так. Спросит мнения и выругается, как сапожник! — невозмутимо спокойно прого-

ворил он как бы про себя, ни к кому не обращаясь, и, пожимая с видом снисходительного сожаления плечами, ушел к себе в комнату заниматься.

Поднялась и Ольга. Но, прежде чем уйти, спросила мать:

— Мы поедем к Козельским? У них сегодня фикс[3].

— А ты хочешь?

— А тебе разве не хочется? — в свою очередь спросила Ольга, пристально взглядывая на мать с самым наивным видом.

— Мне все равно! — ответила Ордынцева, отводя взгляд.

«Будто бы?» — подумала Ольга и сказала:

— Так, значит, не едем?

— Отчего ж… Если ты хочешь…

— Я надену свое crème, мама…

— Как знаешь…

«И чего мама лукавит? — подумала Ольга, направляясь в свою комнату. — Точно я ничего не понимаю!»

---

[3] Примечания: 3

День недели, назначенный для приема гостей (от франц le jour fixe).

III

Ордынцеву было не до работы, которую он принес с собой из правления, рассчитывая ее прикончить за вечер. Нервы его были возбуждены до последней степени, и, кроме того, он ждал, что, того и гляди, явится жена.

Он знал ее манеру приходить с так называемыми «объяснениями» именно в то время, когда он уже был достаточно раздражен, и в эти минуты пилить и упрекать, ожидая взрыва дикого гнева, чтобы потом иметь право разыгрывать роль оскорбленной жертвы и страдалицы, обиженной мужем-тираном. Он знал свою несдержанность и мастерское умение жены доводить его до бешеного состояния, и всегда со страхом ждал ее появления на пороге кабинета после одной из сцен, бывавших за обедом, когда супруги только и встречались в последние годы.

Сколько раз Василий Николаевич давал себе слово молчать, упорно молчать, какие бы гадости, облеченные в приличную форму, жена ни говорила. Обыкновенно вначале он крепился, но не выдерживал — отвечал, и нередко отвратительные сцены сопровождали обед. Супруги, не стесняясь, бранились при детях, при прислуге,

а главное — при бедной Шурочке, нервной, болезненной, на которую эти сцены действовали угнетающим образом.

Бледный, с гневно сверкающими глазами, ходил Ордынцев по своему небольшому кабинету. По временам он останавливался у дверей, прислушиваясь, не идет ли жена, и, облегченно вздохнув, снова нервно и порывисто ходил взад и вперед, взволнованный и возмущенный, выкуривая папироску за папироской.

Горе, постоянно нывшее в нем, как ноет больной зуб, казалось после домашних сцен сильней и ощущалось с большей остротой. Дикая, чисто животная злоба мгновенно охватывала Ордынцева, и он, весь вздрагивая, невольно сжимал кулаки и с искаженным от гнева лицом произносил по адресу жены площадные ругательства и, случалось, ловил себя на желании ей смерти. То он испытывал тоску и отчаяние человека, сознающего свое бессилие и непоправимость своего несчастия. И тогда болезненное, худое лицо Ордынцева принимало жалкий, страдальчески-изможденный вид, косматая голова поникала, и вся его высокая, худощавая фигура производила впечатление угнетенности и беспомощности.

— Идиот, что я на ней женился! — прошептал он

с каким-то бесноватым озлоблением. — Идиот!

И в голове его, словно дразня, мелькал образ какой-то другой, воображаемой женщины, с которой он, наверное, был бы счастлив и имел бы настоящую семью.

После каждой крупной ссоры Ордынцев проклинал свою женитьбу, чувствуя бесплодность этих проклятий, и с ужасом сознавал, что он и жена два каторжника, скованные одной цепью.

Обыкновенная история!

Увлекающийся и впечатлительный, верующий в жизнь и в хорошие книжки, Ордынцев, тогда двадцатипятилетний молодой человек, не сомневался, что эта красивая, ослепительная блондинка семнадцати лет, с большими черными глазами, и есть именно то сокровище, которое, сделавшись его женой, даст настоящее счастье и будет добрым товарищем и верным другом. По крайней мере он не останется один в битве жизни. Рядом с ним пойдет любимая женщина и сочувствующая душа.

«Главное: душа!» — восторженно мечтал Ордынцев и, нашептывая девушке нежные речи и любуясь ее красивым телом, душу-то Анны Павловны и проглядел! На самую обыкновенную барышню из петербургской чиновничьей сре-

ды, с душой далеко не возвышенной, Ордынцев смотрел ослепленными глазами страстно влюбленного человека, приписывая своему «ангелу» то, что тому и во сне не снилось. Она казалась ему непосредственной, нетронутой натурой с богатыми задатками, «золотым сердцем», отзывчивым на все хорошее. Нужды нет, что она не всегда понимает то, что он ей проповедует, и глядит на него не то удивленно, не то вопросительно своими большими глазами. Она еще так молода. Под его влиянием разовьются все ее богатые задатки. И Ордынцев мечтал, как они по вечерам будут читать вместе хорошие книжки и делиться впечатлениями. Идиллия выходила трогательная и заманчивая.

В то время Ордынцева еще не укатали «крутые горки». Он был пригожий, статный брюнет, с черными кудрями и смелым взором, жизнерадостный, мягкий и остроумный. Анна Павловна влюбилась и сама, позабывши для Ордынцева свое увлечение каким-то офицером. Влюбившись, она с обычным женским искусством приспособлялась к любимому человеку, желая ему понравиться. Она как-то подтягивалась при нем, сделалась необыкновенно кротка, получила вдруг охоту к чтению и к умным разговорам,

сожалея, что она «такая глупенькая», и с таким, по-видимому, горячим сочувствием слушала молодого человека, когда он говорил ей о задачах разумной жизни, об идеалах, о возможности настоящего счастья в браке только при общности взглядов, что Ордынцев приходил в телячий восторг, подогреваемый чувственными вожделениями, писал своей «умнице» стихотворения и довольно скоро предложил ей «разделить с ним и радости и невзгоды жизни». Она торжественно обещала (хотя про себя и думала об одних только радостях) и в ответ на первый поцелуй Ордынцева ответила такими жгучими поцелуями, что Василий Николаевич совсем ошалел от счастья и тут же поклялся отдать всю свою жизнь Нюточке.

Родители Анны Павловны, действительный статский советник Ожигин, добросовестно тянувший лямку без надежды на видную карьеру, и супруга его, дама с претензиями, сперва было заупрямились. Нюточка такая красавица. Она может сделать блестящую партию. Время еще терпит. Хотя они не имели ничего против Ордынцева, считая его порядочным человеком, но находили, что частные места не прочны. Положим, тысяча пятьсот рублей — весьма

приличный оклад для молодого человека, но казенная служба вернее. А Ордынцев ни за что не хотел быть чиновником. Окончив университет и потерпев неудачу в попытках сделаться литератором, Ордынцев поступил в железнодорожное правление.

Нюточка объявила, что ни за кого другого не выйдет, и родители уступили, сделали приданое и дали три тысячи на черный день.

Год-другой прошли в той иллюзии счастья, которое главным образом заключается в чувственной склонности друг к другу влюбленных, полных здоровья и жажды жизни молодых существ, с обычными размолвками, оканчивающимися горячими поцелуями примирения, со сценами ревности и слезами, после которых супруги, казалось, еще более любили друг друга.

Но чтения вдвоем как-то не клеились. Нюточка их не особенно одобряла и, закрывая книгу, звала мужа в театр или покататься на тройке. Идиллия была, но совсем не та, о которой мечтал Ордынцев. Он все еще рассчитывал на «литературные вечера» вдвоем и на «сочувственную душу», а Нюточка все ждала, что муж устроит ей жизнь вполне приличную. Она понимала любовь не иначе, как с хорошей обстановкой, довольством и

баловством любовника-мужа, готового для жены на всякие жертвы, а Василий Николаевич мог ей дать лишь скромное существование с довольно прозаическими заботами. Вдобавок он подчас бывал раздражителен, и у него были правила в жизни, которые представлялись теперь молодой женщине «упрямством» и «эгоизмом», несовместимыми с истинной любовью.

Разница их взглядов, вкусов, привычек, их нравственных понятий и требований от жизни обнаружилась очень скоро. Ордынцев возмущался, убеждал, говорил горячие монологи, хотел перевоспитать жену, которая так нравилась ему как женщина. Нюточка в свою очередь старалась действовать на мужа обаянием своей красоты, прибегая для этого ко всевозможным уловкам, действующим на чувственность мужчины. И в этом была ее сила, которой Ордынцев поддавался и понимал это.

Из-за первой же потери места между ними произошло объяснение, поразившее Ордынцева неожиданным открытием. Вместо «сочувствующей души» перед ним обнажилась неделикатная душа практической женщины, не желавшей идти с ним рядом в битве жизни. Напротив! Указывая на двух крошек-детей, Анна Павловна

советовала мужу образумиться и жить, как все порядочные люди.

Мало-помалу между ними наступило охлаждение. Подогреваемое страстностью супружеских ласк, оно вновь сказывалось в сценах, упреках, ссорах и в конце концов обратилось в полное отчуждение и взаимную ненависть, обострявшуюся с годами по мере того, как муж терял в глазах жены прелесть любовника, а жена являлась в глазах мужа олицетворением непоправимой ошибки.

И оба были несчастливы, но не разводились. Ордынцев боялся дурного влияния матери на детей и считал, что приносит себя в жертву.

С какою-то мучительной настойчивостью Ордынцев истязал себя воспоминаниями об этой «ошибке», подробности которой восставали перед ним в поразительной отчетливости. Мысли его от воспоминаний опять перешли к настоящему, и — боже! — каким оно представилось ему отчаянным!

Жена — ненавистна. Дети, из-за которых он не развелся раньше, ему чужды, и он должен сознаться, что далеко не привязан к ним теперь, когда они сделались взрослыми и приняли определенные физиономии. А ведь как он горячо

любил их прежде, когда они были маленькие, как страдал, когда они болели, страшась потерять их! Одна только Шурочка привязывает его к себе, а остальные… Нечего сказать, хороши!

Особенно возмущал его Алексей, на которого. — отец возлагал большие надежды, мечты иметь друга в сыне и гордиться им. Есть чем гордиться!

— Скотина! — произнес он вслух, вспоминая речи сына за обедом.

Ордынцев чувствовал и обиду и злость.

«Доля удовольствия обращается в нуль перед суммой неприятностей».

И ведь с каким апломбом говорил. А он еще надеялся, что сын одобрит его заступничество. Одобрил!.. Весь в мать — такая же холодная, себялюбивая натура. А Ольга? Женихи да цыганские песни на уме! А этот Сергей! Уж и теперь он сух и практичен… И все они не любят отца… Он это видит.

— Семейка! — вырвалось скорбное восклицание у Ордынцева.

«Откуда пошли эти оскотинившиеся молодые люди?» — задал себе вопрос Василий Николаевич.

Влияние матери, учебные заведения, дух времени. А что же он делал?

Но у него не было возможности изучить их характеры, влиять на них. Он целые дни проводил вне дома, всегда в работе, возвращался домой усталый… И без того было много ссор из-за детей вначале.

Так старался оправдать себя отец и чувствовал фальшь этих оправданий. Он не исполнил долга отца как бы следовало. Он все-таки должен был бороться и против влияния матери и против духа времени. Он обязан был стать в более близкие отношения с детьми. Ничего этого он не сделал.

«Твоя вина, твоя!» — шептал внутренний голос.

И Ордынцев должен был согласиться, но снова подумал в свое оправдание, что всему виновата его женитьба на этой женщине, будь она проклята! Не мог же он один быть и работником, и воспитателем, и вести вечную войну с женой. Это свыше человеческих сил!

IV

Раздался стук в двери.

«Она!» — в страхе подумал Ордынцев.

И он бросился к столу, сел в кресло и, разложив перед собой бумаги, принял вид занимающегося человека.

Он всегда встречал нападение жены в такой позиции.

Ордынцев дал себе слово сдерживаться во время предстоящего объяснения, что бы жена ни говорила, Только скорей кончилось бы оно и она бы ушла!

Стук в двери повторился.

— Войдите! — произнес Ордынцев, склоняя голову над бумагами.

На пороге стояла Анна Павловна.

Ордынцев мгновенно ощутил присутствие жены по особенному, свойственному ей душистому запаху, по шелесту юбки и по той злобе, которая охватила его.

Не глядя на жену, он тем не менее видел перед собой эту высокую, крупную, полную фигуру, с большой колыхавшейся грудью, выдававшейся вперед из-под туго стянутого корсета, видел строгую, презрительную мину, тупой взгляд больших глаз, нервное подергивание губ и белую, пухлую с ямками руку в кольцах, которая держала дверную ручку.

«Сейчас начнет!» — подумал Ордынцев. И снова дал себе слово сдерживаться. «Пусть себе зудит».

— Я пришла объясниться…

О, как хорошо знал он эту, постоянно одну и ту

же прелюдию в длинной супружеской «симфонии». О, как хорошо знал он ее!

— Что такое? — спросил Ордынцев самым обыкновенным тоном, удерживаясь от раздражения и словно бы не понимая, в чем дело.

И, с слабой надеждой избежать объяснения, прибавил, не поднимая головы:

— Нельзя ли в другой раз… Я занят… Спешная работа.

Он снова чувствует, хотя не видит, усмешку жены и слышит, как она говорит певучим, полным злости голосом:

— Занят?! Ты дома вечно занят или ругаешься… И я пришла спросить: когда наконец кончатся оскорбления, которыми вам угодно осыпать меня и детей? Больше я терпеть не намерена. Слышите ли? Вы сделались грубы, как дворник. Благодаря вам у нас в доме ад. Вы наводите страх на детей. И без того, кажется, жизнь с таким непризнанным гением, как вы, не сладка, а вам, как видно, хочется ее сделать невыносимой. Вам этого хочется? — вызывающе прибавила Анна Павловна.

И она притворила двери и прислонилась для большего своего удобства к косяку.

В эту минуту Ордынцеву больше всего хотелось вытолкнуть жену за дверь. Вот что ему хотелось.

И он пожалел, что он не дворник, а интеллигентный человек, и ввиду неисполнимости своего желания лишь кусал губы и ни слова не отвечал.

«Выболтается и окончит!» — подумал Ордынцев.

Но молчание еще более озлило Анну Павловну.

Он — виновник ее несчастья, он — тиран, и он же смеет молчать?

Так погоди же, голубчик!

И Анна Павловна продолжала с дрожью в голосе:

— Вы не любите своих детей. Как вы к ним относитесь? Вы их игнорируете! Нечего сказать, хорош отец. Отец?! Что видят от вас дети? Одни издевательства и брань… Ольге даже не можете помочь… дать ей возможность учиться пению. А у нее чудный голос… могла бы сделать карьеру… Алексея вы просто-таки ненавидите… Вы не переносите, что дети не разделяют ваших дурацких взглядов… Алеша вам, кажется, ясно доказал, кто вы… И слава богу, что дети не такие самолюбивые фразеры, как их отец… Слава богу. Воображает себя каким-то умником и всех оскорбляет… Непонятый человек! Семья его не понимает! Ах, как трогательно… скажите, пожалуйста. Вам мало,

что вы загубили мою жизнь… Именно: загубили… Не сделай я глупости, не выйди за вас замуж, я знала бы счастье… А тоже стихи писали… Обещали жизнь на розах! — презрительно усмехнулась Анна Павловна. — Хороши розы! Припомните, как вы поступали со мной…

И так как Ордынцев опять-таки молчал, по-видимому, не имея намерения вдаваться в воспоминания при жене, то Анна Павловна стала припоминать «все», с начала того дня, когда она сделалась жертвой.

В этом обзоре характера и поступков мужа были перечислены все его вины и «подлости», как настоящие, так и давно прошедшие, и язвительные слова и упреки сыпались с расточительностью и злопамятством женщины, знающей, как доконать врага и, главное, человека, который уже несколько лет назад осмелился сделать ее, такую красивую женщину, вдовой. Этого она не могла простить.

И с видом гордой страдалицы, несущей тяжкий крест, чего только не припоминала Анна Павловна!

Она вспомнила и бывшую двадцать лет назад ссору, в которой он смертельно ее оскорбил, и кутежи с приятелями в то время, когда они чуть

не нищенствовали, и потери мест по его милости, тогда как он давно мог бы отлично устроиться, если б любил жену и детей, и дружбу его с литераторами, этими «негодяями», которые женятся по десяти раз, и истраченные три тысячи приданого, и долги, и особенно знакомства его с разными умными дамами и девицами, у ног которых он будто бы изливал свое горе непонятого в семье страдальца.

Увлекаясь собственной злобной фантазией и путая правду с ложью, Анна Павловна даже представляла, как муж изливал свои жалобы перед умными дамами, и при этом презрительно усмехалась.

— И ведь эти умные верили и утешали вас… Еще бы, страдалец!.. Возвышенные идеи… Красивые фразы… Потоки остроумия…

Еле удерживаясь от желания схватить свою подругу жизни за горло, Ордынцев беспокойно ерзал на своем плетеном кресле, побледневший, стиснув зубы, с глазами, горевшими недобрым огоньком.

— Не довольно ли? — глухо проговорил он.

— Нет, не довольно. Вы должны выслушать, меня… Довольно я молчала.

«Ты — молчала?!» — подумал Ордынцев.

И, все еще сдерживая себя, произнес:

— Но только скорей, скорей оканчивайте…

— Я скоро окончу. Будьте покойны.

И, отлично видя, насколько покоен муж, Анна Павловна, с каким-то особенным злорадством и как будто нарочно затягивая слова, сказала:

— А эту особу… вашу милую Леонтьеву помните?.. Сколько вы оскорбляли меня из-за нее и как подло обманывали! Рассказывали о какой-то дружбе, тогда как эта ваша «святая женщина» была вашей любовницей… Menage en trois[4]…Муж по любви, а любовник по сочувствию… И вы еще смеете считать себя честным человеком…

— Лжешь! — вдруг крикнул Ордынцев и, как ужаленный, вскочил с кресла.

— Я не привыкла лгать. Вы лжете!

— Лжешь, дура! Подло лжешь. Ничего того, что ты говоришь, не было!

— Оскорбляйте жену… кричите на нее — это благородно! Гуманный человек! Так я и поверила, что вы бегали каждый вечер к своему другу для одних возвышенных бесед… Очень правдоподобно! — с циничной усмешкой прибавила Анна Павловна. — Не лгите хоть теперь. Ведь Леонтье-

---

[4] Примечания: 4
Жизнь втроем (франц.).

ва была вашей любовницей?

— Довольно. Уйди! Уйди, говорю! — задыхаясь от злобы, проговорил Ордынцев.

— Что, видно, правды не любите, правдивый человек?

— Не клевещи хоть на женщину, которой ты и мизинца не стоишь.

— Еще бы… «Святая»! Что ж?.. Идите к ней… Припадите на грудь… Только едва ли она вам будет сочувствовать, как пять лет тому назад… Ведь вы и женились на мне истрепанный, а теперь что вы такое?.. Какой вы мужчина? Что даете вы мне, кроме горя? Что вы мне даете, неблагодарный и презренный человек? — возвысила голос Анна Павловна и с брезгливым презрением сильной, свежей и здоровой женщины смерила худощавую, болезненную фигуру мужа.

Оба, полные ненависти, смотрели друг на друга в упор. Ордынцев, бледный как полотно, вздрагивал точно в судорогах.

— Ну что ж… Теперь ударьте… — с вызывающим злым смехом продолжала Анна Павловна. — От вас можно всего ожидать. Недаром отец ваш был какой-то безродный несчастный чиновник… Приколотите свою жену и идите жаловаться бывшей своей любовнице на свое несчастие…

Быть может, она…

— Вон, подлая тварь! — вдруг крикнул, не помня себя, Ордынцев и энергичным движением распахнул двери кабинета.

Это был бешеный крик раненого зверя. Лицо Ордынцева исказилось гневом и злобой. Анна Павловна так и не договорила речи.

— Подлец! — кинула она мужу презрительным шепотом.

И, слегка побледневшая, величественно вышла, нарочно замедляя шаг, с чувством злобного торжества над униженным врагом и с непрощаемой тяжкой обидой невинно оскорбленной жертвы и поруганной женщины.

Она пришла в спальню и разразилась истерическим рыданием.

* * *

— Господи! Да что ж это за каторга?! — в скорбном отчаянии прошептал Ордынцев несколько минут спустя, когда несколько «отошел».

И ему было бесконечно стыдно, что он обошелся с женой как пьяный мастеровой.

До чего он дошел!

Ордынцеву стало жаль себя и обидно за постыло прожитую жизнь.

«На что она ушла?» — спрашивал он.

Глаза его увлажились слезами. Он испытывал тоску и изнеможение разбитого этой вечной борьбой человека. Ему хотелось забыться, не думать об этом. Но это не оставляло его, и, несмотря на ненависть к жене, чувство виновности перед ней мучительно проникало в его душу.

Да, он виновен перед ней. Он искал утешений вне дома, а она была безупречна, думал Ордынцев. Но не мог же он без любви любить женщину, которую не выносил. Не мог же он лгать, расточая ей ласки! Она могла понять это. Могла. И он не стеснял ее… Он даже хотел, чтоб она полюбила кого-нибудь… Он предлагал несколько лет тому назад разъехаться… Она не пожелала. Она не хотела скандала.

«Больше жить вместе невозможно!» — пронеслось в голове Ордынцева.

— Невозможно! — прошептал он.

И эта мысль значительно успокоила Ордынцева. Ему казалось, что жена теперь обрадуется такому исходу… Через несколько дней он переговорит с ней или напишет. Если она захочет, если ей нужно, он и на развод с удовольствием пойдет… Вину возьмет на себя, конечно.

«О, если б она только захотела!»

Ему не сиделось в этом постылом кабинете. Какая теперь работа? Его тянуло вон из дома. Хотелось отвлечься, поговорить с кем-нибудь, отвести душу.

В эту минуту двери тихо отворились, и в кабинете показалась Шурочка, грустная и испуганная, со стаканом чая в руках.

— Вот тебе, папочка, чай! — нежно проговорила девочка.

Она поставила стакан на стол и хотела было уйти, но, увидавши слезы на глазах у отца, подошла к нему и, прижавшись, безмолвно целовала его руку, обжигая ее слезами.

— Ах ты, моя бедная девочка! — умиленно прошептал Ордынцев, тронутый лаской.

И с порывистой страстностью прижал к своей груди девочку и осыпал ее лицо поцелуями, глотая слезы.

— Милая ты моя! — повторял Ордынцев, чувствуя, какою крепкою цепью держит его это милое, дорогое создание. — Спасибо за чай… Я не буду пить… Я ухожу.

Взволнованная, чутко понявшая эти ласки отца, Шурочка проводила его в переднюю.

Пока Ордынцев в передней одевал пальто, из ближайших комнат доносились долбня гим-

назиста и звонкий голосок Ольги, напевавший цыганский романс.

Они слышали, конечно, бешеный крик отца, знали, что был «бенефис», как они называли крупные ссоры между родителями, и не обратили на него особенного внимания.

Только Алексей, штудировавший для реферата, который собирался прочесть, Ницше, брезгливо пожал плечами и решил, что если он женится, то жена не посмеет мешать ему заниматься.

— Ну, прощай, Шурочка!

— Прощай, папочка! Развлекись, голубчик! — заботливо напутствовала отца девочка и улыбалась заплаканными глазами, запирая за отцом двери.

Глава третья

I

У Козельских «вторники».

К чему у них «вторники», и притом с хорошими ужинами и дорогим вином, этого, пожалуй, не могли бы объяснить ни его превосходительство Николай Иванович Козельский, ни супруга его Антонина Сергеевна.

Если для Тины, незамужней их дочери, пикантной блондинки двадцати трех лет, то это было совершенно напрасно.

Тина не раз говорила, что для нее вторники совершенно не нужны. Она и без вторников найдет себе мужа, если захочет. Но она не такая дура, чтобы захотеть и получить какое-нибудь сокровище вроде Левы, от которого сестра не знает, как отделаться.

Не доставляли особенного удовольствия эти вторники и родителям.

Николай Иванович нередко ворчал, что они дорого стоят, а постоянно жаловавшаяся на нервы Антонина Сергеевна находила, что они утомительны и доставляют ей много хлопот.

И тем не менее вторники продолжались. И Козельский любезно напоминал «добрым знакомым» и особенно молодым женщинам не забывать вторников и старался, чтобы «фиксы» были и многолюдны и оживленны и чтобы на них был «гвоздь» в лице какой-нибудь известности или знаменитости.

Этот вторник обещал быть особенно интересным, Дали слово приехать: директор департамента Никодимцев, восходящая звезда на административном небосклоне, которой опытные астрономы предсказывали большое восхождение, модный баритон Нэрпи, переделавший на благозвучную фамилию свою ординарную: Нерпин, и молодая пианистка, уже получившая титул «известной».

В девять часов большая квартира Козельских на Сергиевской была освещена a giorno[5].

«Чертог сиял», хотя был еще пуст.

Недавно вставший после часового сна и только что окончивший туалет Козельский сидел в своем большом роскошном кабинете у письменного стола и подпиливал ногти на холеных, изящных руках с длинными, породистыми пальцами. На

---

[5] Примечания: 5
Ярко, как днем (итал.).

мизинце правой руки был большой изумруд. Обручального кольца его превосходительство не носил.

Несмотря на свои пятьдесят два года, это был еще очень моложавый и красивый, крепкий и здоровый мужчина среднего роста, ширококостный и плечистый, но не полный, с большой, хорошо посаженной головой, покрытой густыми, сильно вьющимися, темно-каштановыми волосами без намека на седину. Небольшая, выхоленная, душистая бородка клинышком скрадывала широковатость его умного и добродушного лица, свежего, совсем почти без морщин, с мягкими, несколько расплывчатыми чертами. Добрые, бархатные, карие глаза усиливали впечатление добродушия и с первого же раза располагали к Николаю Ивановичу, не заставляя подозревать в нем ни лукавства, ни предательства. Очень уж мягко и ласково глядели эти глаза.

Он был очень элегантен в своем рединготе из какой-то необыкновенно нежной, слегка пушистой ткани, сидевшем на нем с безукоризненностью, которая свидетельствовала и о заботливости Николая Ивановича о своем костюме, и о мастерстве знаменитого лондонского портного Пуля, у которого Козельский одевался.

Ослепительные стоячие воротнички сорочки были повязаны черным модным галстуком. На рукавах блестели маленькие брильянты. Тонкий аромат «дикой яблони», любимых духов его превосходительства, исходил от его представительной, барской фигуры. Невольно думалось, что Николай Иванович был баловнем дам и что эти сочные, чувственные губы, над которыми были пушистые усы, с поднятыми вверх концами, на своем веку сорвали немало поцелуев и еще ими интересуются. Недаром же его превосходительство так заботится о своем здоровье и боится сделаться стариком слишком рано.

Бесхарактерный во многих отношениях, он обнаруживал необыкновенную силу воли в тренировании собственного тела и вот уже десять лет, что ежедневно делает массаж и гимнастику, ходит пешком, блюдет диету, не позволяет себе никаких излишеств и не знает модного переутомления, хотя и работает порядочно, чтобы нахватывать в разных местах, где он служит, тысяч пятнадцать в год, не считая некоторых экстраординарных «suplements»[6], которые выдумывает изобретательность Николая Ивановича,

---

[6] Примечания: 6
Дополнений (франц.).

когда-то, давным-давно, мечтавшего о более равномерном распределении собственности.

Впрочем, его превосходительство и теперь «теоретически» признает вообще несовершенство человеческого общежития, надеясь, однако, что в конце концов условия изменятся к лучшему, и в тесном кружке приятелей искренне возмущается подчас теми порядками, за поддержание которых получает изрядное жалованье, хотя по недоразумению и по старой памяти и считается «красным», так как в ранней молодости был замешан в какой-то «истории» и прожил год на родине, в Симбирской губернии, в имении отца.

II

Ступая легкой, грациозной, слегка плывущей походкой, в настежь раскрытые двери кабинета вошла высокая, стройная и худая женщина с большими задумчиво-грустными глазами, осененными длинными ресницами. В ее поблекшем, видимо прежде красивом лице было то выражение сдержанной покорной печали, которое встречается у любящих, но не любимых женщин, с достоинством несущих крест свой.

В черном элегантном платье, совсем седая и казавшаяся старухой в сорок четыре года, она

походила своим видом на изящную монахиню-настоятельницу какого-нибудь аристократического французского монастыря.

Никаких украшений на ней не было: ни брошки, ни серег в ее маленьких бледных ушах. Только обручальное кольцо одиноко и, казалось, сиротливо блестело на белой тонкой и длинной красивой руке.

Она взглянула на своего красивого, моложавого и здорового мужа с чувством любви, зависти и снисходительного презрения к человеку, которому она давно перестала верить, не переставая любить.

И ее глаза словно бы помолодели, останавливаясь на муже и невольно любуясь им. Быть может, он и теперь ей казался таким же красавцем, каким был много лет тому назад, когда она была счастлива.

— Присаживайся, Тоня. Ну, что твои нервы? Как ты себя чувствуешь?

В его голосе, мягком и вкрадчивом, звучала та нотка нежной чувствительности последних десяти лет супружества, какою иногда мужья дарят жен, которых перестают любить, как жен, и обманывают.

И, вероятно, не столько из-за кроткого и терпе-

ливого характера жены, сколько из-за того, что Николай Иванович обманывал ее, он иначе не говорил о ней, как называя «святой женщиной», особенно если «святая» не делала сцен ревности.

— Ничего… Немного лучше… Что это ты такой нарядный сегодня, Коля? — спросила Антонина Сергеевна.

И в голове ее пронеслась мысль: «Для кого это он так нарядился?»

— Нарядный?.. Это оттого, что в сюртуке, Тоня?

— Обыкновенно ты по вторникам не надеваешь его.

— Сегодня обещал Никодимцев быть… Неловко как-то быть слишком по-домашнему…

— И много народу у нас сегодня будет?

— Я думаю… порядочно… Нэрпи приедет… Пианистка Корецкая.

— Надоели эти фиксы, Коля…

— А ты думаешь, мне не надоели, Тоня?

— Так зачем же мы их продолжаем и ты зовешь публику?..

— Я не зову… Привыкли к нашим вторникам… И наконец для Тины…

— Тине… ты знаешь… они не нужны… она говорила…

— Ну, мало ли что она говорит… Все же мо-

лодые люди бывают… Сегодня молодой Гобзин приедет…

— Гобзин? Что это такое Гобзин?

— Единственный сын миллионера Гобзина… Приличный. Кончил университет… А за ужином, Тоня, надо Никодимцева около Инны посадить… Инна умеет занимать…

— Я скажу ей… Только захочет ли она?.. Никодимцев, быть может, неинтересный…

— Напротив… Умница… И наконец что это за разборчивость такая?.. Кажется, Инна… не особенно разборчива… Один ее благоверный чего стоит… и вообще… этот хвост ее поклонников, которые таскаются за ней всюду: и в театры и в концерты… Я, конечно, не придаю этому значения, но все-таки, мой друг, молодой женщине надо быть осторожнее. Мало ли что скажут! — прибавил Козельский, принимая серьезный и несколько огорченный вид.

«Ты-то хорош!» — не без горечи подумала Антонина Сергеевна.

И, обожавшая своих детей, видевшая в них одни совершенства и сама слишком правдивая и чистая, чтобы подозревать их в чем-нибудь дурном, горячо проговорила:

— Что могут сказать об Инночке? О ней только

клеветники могут говорить дурное!..

— Конечно, сказать нечего, собственно говоря… Я, Тоня, только говорю, что Инночка любит, чтобы за ней ухаживали…

Отец хорошо знал, что могли сказать и что не без основания говорили про Инну.

Но он не хотел огорчать жену, да и не смел бы сказать, если б и хотел, понимая, что не ему обвинять дочь за ту несколько странную жизнь, которую она вела. Он не раз встречал у нее целую стайку довольно пошлых молодых людей, которые слишком бесцеремонно целовали ее руки. Он видел ее катающейся на рысаках с одним из таких поклонников. Он даже раз занял деньги у господина, которого заставал у Инны в те часы, когда для визитов еще рано, и в котором опытный его глаз сразу признал подозрительного друга дома.

И, не далее еще как третьего дня, он имел весьма щекотливую встречу с дочерью в коридоре отдельных кабинетов одного модного ресторана.

В четвертом часу утра он выходил из отдельного кабинета с пикантной француженкой, бывшей одним из его мимолетных увлечений, которыми он изредка разнообразил свои регулярные свидания с предметом своей более прочной связи. И

в ту же минуту из соседнего кабинета выходила Инна, значительно возбужденная и веселая, под руку с каким-то господином, которого Козельский видел в первый раз.

Отец и дочь встретились лицом к лицу, и оба благоразумно не узнали друг друга.

И встреча эта больно кольнула Николая Ивановича, задевши его родительские чувства и самолюбие… Его дочь таскается по кабинетам!

И, кроме того, он был возмущен, как опытный в любовных делах человек, неосторожностью дочери.

«Хоть бы вуаль густую надела!» — подумал отец.

Но едва ли еще не сильнее было оскорблено его эстетическое чувство джентльмена и умного человека невзрачным видом, неважным пальто и довольно-таки идиотским, некрасивым лицом молодого спутника Инны.

«Точно лучше не могла найти!» — мысленно обвинил он дочь, глубоко оскорбленный, что такая красивая и неглупая женщина, как Инна, да еще похожая на него, ездит в отдельные кабинеты с таким плюгавым господином.

— Инна, должно быть, несчастлива с мужем, Коля… Оттого она, быть может, и кокетничает

немножко! — сказала мать.

— Сама выбрала своего Левушку.

— Ошибиться так легко!..

— Она что же… жалуется?

— Инна никогда не станет жаловаться, Коля… Но, мне кажется, она не любит Леву… А ведь жить с нелюбимым мужем… Что может быть ужаснее для порядочной женщины!

— Но разве он такая скотина, что сам не понимает этого?.. Тогда я с ним поговорю.

— Надо прежде с Инной поговорить… Даст бог, мои предположения ошибочны… Чужое семейное счастье такая энигма![7] — раздумчиво прибавила Антонина Сергеевна.

Его превосходительство не любил разговоров с женой на такие темы и, благоразумно не подавая реплики, взглянул на часы и проговорил:

— Половина десятого… Ты не позволишь ли подать самовар и не напоишь ли меня чаем, Тоня?

— С удовольствием.

И Антонина Сергеевна поднялась с широкой оттоманки.

«Святая женщина!» — умиленно подумал Николай Иванович и сказал:

---

[7] Примечания: 7
Дополнений (франц.).

— Ты мне сюда пришли чай, Тоня!

— Хорошо! — ответила жена.

И тихо вышла из кабинета, полная затаенного ревнивого чувства, которое всегда возбуждалось сильнее, когда муж бывал наряден и, как казалось Антонине Сергеевне, неотразим. И к тому же она не знала, какая женщина владеет теперь им и для кого он так нарядился.

Разумеется, она не поверила, что для Никодимцева.

«Для кого же, для кого?»

С тех пор как Николай Иванович разошелся с последней своей дамой, хорошо известной Антонине Сергеевне, она в неизвестности. А что новая дама есть, в том нет ни малейшего сомнения. Антонина Сергеевна, слава богу, хорошо изучила мужа! И непременно из общества. Она тоже знала известную щепетильность мужа.

Она испытывала мучительное любопытство непременно знать тех женщин, из-за которых она страдала и была отставленной женой, а между тем вот уже два года как Антонину Сергеевну беспокоит тайна новой связи, словно постоянная гнетущая зубная боль. Она подозревала многих, но ни в одной из подозреваемых не могла признать ту «подлую женщину», которая увлекает

женатого человека.

На этот раз Николай Иванович, вероятно, проученный прежним опытом, ловко скрывал свои амурные дела. Ни одной оброненной записки, ни одного компрометирующего появления с кем-нибудь в театре…

Но она узнает! Быть может, сегодня же узнает, кто эта женщина, подумала Антонина Сергеевна, наливая мужу чай по его вкусу.

И — странное дело! — мысль о том, что она узнает, кто любовница мужа, несколько успокоила Антонину Сергеевну.

В столовой появилась Тина, маленькая рыжеволосая блондинка ослепительной белизны, с бойкими глазами и вздернутым носом, что придавало ее хорошенькому лицу задорное, вызывающее и даже дерзкое выражение.

— Хорошо, мамочка? — бойко проговорила она уверенным тоном, вполне убежденная, что хорошо, и остановилась перед матерью веселая, улыбающаяся и нарядная в новом светло-зеленом платье.

— Отлично, Тиночка… Отнеси, голубка, папе стакан… Да смотри, не пролей на блюдечко. Папа эго не любит…

Тиночка осторожно взяла блюдечко и, поставив

стакан на стол, поцеловала отца и проговорила:

— Здравствуй, папа! Мы с тобой не видались сегодня.

— Да, Тина, не видались. Ты ведь сегодня не обедала дома…

— Не обедала! — слегка вызывающим тоном ответила Тина.

— А мама беспокоилась… Ты бы предупредила.

— Я раз навсегда просила маму не беспокоиться. Ты, надеюсь, не беспокоился? — не без иронической нотки в своем низком, красивом голосе спросила Тина.

— Не беспокоился. Ты не маленькая. А позволительно отцу спросить, где ты пропадала? — полушутя спросил Николай Иванович.

Верхняя губа Тины капризно вытянулась и глаза сверкнули, когда она ответила:

— Тебя это интересует? У своих знакомых была!..

— Определенно! — произнес отец и усмехнулся.

— Но разве будет определеннее, если я скажу, что была у Ивановых? Или ты всегда определенно говоришь нам, где бываешь?

Козельский несколько сконфуженно отвел глаза и отхлебнул чая.

Тина захотела было идти, но отец раздраженно спросил:

— А твои декаденты сегодня придут?

— Придут… А разве они мешают тебе?

— Не мешают, если не декламируют глупостей.

— Ты ничего не понимаешь в поэзии и потому сердишься…

— Да… Всякой галиматьи я не понимаю.

— А я не считаю галиматьей то, что они пишут, и понимаю… Не беспокойся, они тебе не помешают. Я уведу их в свою комнату… Мы там будем читать…

— Но, Тина…

— И больше они не придут! — не слушая отца, взволнованно проговорила Тина и вышла из комнаты.

«Экая дерзкая девчонка!» — подумал в раздражении отец и понял, что он бессилен перед ней.

Понял и, еще более раздражаясь, мысленно произнес:

«Замуж ей надо… А то дофлиртуется до скандала!»

III

В двенадцатом часу гости были в сборе.

Не было только Инны и баритона Нэрпи.

Хозяин, игравший в кабинете в винт, в числе партнеров которого был и Никодимцев, очень скромный и даже застенчивый господин лет около сорока, с некрасивым, умным и энергичным лицом, уже несколько раз справлялся: не приехала ли дочь. Он знал, что она обладает способностью очаровывать мужчин, и почему-то хотел, чтобы Никодимцев с ней познакомился.

Цветник дам и девиц в красивых туалетах наполнял большую гостиную. Было жарко. Пахло духами. Юная пианистка только что кончила играть, и несчастные молодые люди, занимавшие дам, снова должны были придумывать более или менее подходящие темы «журфиксных» разговоров. Опера, приезжий итальянский трагик, недавнее самоубийство из-за несчастной любви уже были исчерпаны, а до ужина еще далеко.

Хотя госпожа Ордынцева и уверяла мужа, что они живут как нищие, но здесь далеко не казалась нищей. Напротив! Она была очень красива и эффектна в черном бархатном платье, с бриллиантами в ушах и с сверкающими кольцами на крупных белых руках. Она глядела очень моложавой и чувствовала, что нравится мужчинам. От нее почти не отходили два господина: старенький адмирал и совсем юный инженер. И оба

говорили ей любезности, и оба таяли.

А Ольга в платье «creme» кокетничала с господином Гобзиным, которого ей представили. Молодая хорошенькая девушка, видимо, понравилась сыну миллионера.

Тина в своей хорошенькой комнате слушала стихи, которые декламировал ей высокий худощавый господин развинченного вида с рыженькой бородкой и маленькими кроличьими глазками. Читал он как-то таинственно-тихо и плавно, и стих был звучный и местами красивый, но добраться до смысла в этих стихах было невозможно. Однако два студента слушали поэта с благоговением. Зато молодой пригожий артиллерист саркастически улыбался, не спуская влюбленных глаз с Тины.

И, когда поэт кончил и Тину позвали петь, артиллерист подошел к ней и шепнул:

— Татьяна Николаевна! Неужели вам и стихи и он нравятся?

— А вам какое дело?

— Мне? Татьяна Николаевна…

— Не приставайте… Надоели!.. Вот возьму да и выйду замуж за этого боровка!.. — указала она на Гобзина.

— Потому что миллионер?

— Именно…

Артиллерист отошел грустный. А он надеялся и, казалось ему, имел право надеяться на иное отношение.

И он хотел было уйти и никогда больше не являться к Тине. Уж он был в прихожей, но вдруг вернулся в гостиную, сел в уголке и притих, словно обиженный ребенок.

Исполняя обязанности хозяйки дома, Антонина Сергеевна присаживалась то к одной, то к другой гостье, и, если она была недурна, в ней шевелилось ревнивое чувство: «Не она ли?»

Она также незаметно следила, когда муж, оказываясь свободным пятым партнером, входил в гостиную и подходил к дамам, чтоб сказать несколько любезных слов. Но решительно никому он не выказывал особенного предпочтения.

И это заставляло бедную женщину втайне страдать.

Пока Тина собиралась петь цыганские песни и разбирала ноты, в гостиную, вся в белом, вошла Инна, улыбаясь милой детской улыбкой и глазами, большими зелеными глазами, в которых, казалось, светилась чистота самой мадонны.

И тотчас же разговоры смолкли, и все взоры обратились на нее.

Действительно, в этой женщине было что-то необыкновенно красивое и обворожительное.

Глава четвертая

I

Эту стройную, изящную, молодую женщину лет двадцати пяти-шести на вид с пепельными волосами, причесанными в древнегреческом стиле, с сверкающими зубами, слегка возбужденную и от сознания своей привлекательности и от того, что на нее обращено общее внимание, нельзя было назвать красавицей. Черты ее лица не отличались правильностью, но в нем было что-то чарующее, невольно притягивающее. И этим магнитом были, конечно, глаза, большие, серые, ласково улыбающиеся глаза, осененные длинными ресницами.

Инна Николаевна поздоровалась с матерью с нежностью ласкового ребенка. Она целовала ее руку, потом лицо несколько раз.

— Что так поздно, Инночка? — спрашивала растроганная Антонина Сергеевна, любуясь своей нарядной красивой дочерью.

— Из Александрийского театра. Были с Иртеньевыми. Но что за глупая пьеса, мама!

— А муж?

— Верно, скоро приедет. Он повез Иртеньеву домой.

— А как же ты?

— Меня сюда довез Иртеньев…

И, оставив мать, молодая женщина стала обходить гостей. Все движения ее хорошо сложенной фигуры были мягки и полны грации. Здороваясь, она всех дарила ласковым, улыбающимся взглядом; точно все были одинаково ей симпатичны и она хотела всех очаровать.

Расцеловавшись с сестрой, она шепнула, указывая на Гобзина:

— Папин кандидат?

Татьяна Николаевна кивнула головой и, смеясь, спросила:

— Хорош экземпляр?

— Невозможный…

— Но не хуже твоего супруга.

— Ну нет. Мой хоть и глуп, но все-таки не похож на поросенка…

Бросивши эти слова, Инна Николаевна прошла в кабинет.

Когда она подошла к отцу, партнеры встали и поклонились. Никодимцев чуть не замер от восхищения при виде молодой женщины.

— Наконец-то! — воскликнул Козельский, огля-

дывая довольным взглядом элегантный костюм Инны.

Ни отец, ни дочь, казалось, не были смущены, увидевшись после недавней щекотливой встречи.

Инна Николаевна поцеловала отца в щеку. Он коснулся пушистыми усами к ее лбу и проговорил:

— Садись, пожалуйста, за меня, Инна… Вы позволите, господа?

Толстый полковник генерального штаба и высокий худощавый инженер сказали, что будут очень рады. Никодимцев почтительно наклонил свою черную остриженную голову.

— Инна Николаевна отлично играет! — заметил инженер, целуя протянутую ему руку.

Полковник подтвердил слова инженера.

Козельский представил дочери Никодимцева и шутя примолвил:

— Смотри, играй внимательно… Григорий Александрович превосходный игрок. Тебе с Григорьем Александровичем играть.

— А вы не будете бранить меня? — спросила Инна Николаевна, протягивая ему руку.

Никодимцев густо покраснел и застенчиво произнес:

— Я… помилуйте…

— Ну, тогда я сажусь за тебя, папа, но ненадолго… На один-два роббера.

— Только-то! — воскликнул инженер.

— Боюсь, что вам, господа, будет неинтересно играть с такой неумелой партнершей! — сказала молодая женщина, опускаясь на стул.

Инженер и полковник горячо протестовали, взглядывая на Инну Николаевну загоревшимися глазами. Никодимцев строго взглянул на них.

Молодая женщина заметила впечатление, произведенное ею на Никодимцева, перехватила недовольный взгляд его темных глаз и не без приятного удивления посмотрела на этого серьезного, корректного господина с умным усталым лицом, который не разглядывал ее, как большая часть мужчин.

Она сняла перчатки, и все партнеры невольно взглянули на ее красивые холеные руки с длинными, породистыми пальцами, на которых сверкали кольца, и в ту же минуту почувствовали тонкий запах духов.

Никодимцев сделался еще серьезнее. А между тем радостное чувство охватило его благодаря присутствию Инны Николаевны. И он украдкой взглядывал во время игры на красивую молодую

женщину и вдруг словно бы почувствовал прелесть жизни и понял, что эта жизнь не в одном только департаменте, которому он отдавал все свое время. Понял и без обычной внимательности слушал переговоры.

— Я сказала четыре трефы, Григорий Александрович.

— Виноват… Простите… Я… Пять треф! — вдруг стремительно проговорил он.

— Пять без козырей! — вымолвила Инна Николаевна и словно бы приласкала партнера своими ласково улыбающимися глазами.

— Малый шлем в трефах! — объявил Никодимцев.

И ему вдруг стало весело, как школьнику.

Но он тщательно скрывал свое душевное настроение и, серьезный, казалось, весь отдавался игре.

Шлем был выигран.

Инженер значительно проговорил:

— Вам во всем везет, Инна Николаевна!

— Вы думаете?

— Уверен.

— И даже уверены?.. Впрочем, вы, кажется, вообще самоуверенный человек! — не без иронической нотки сказала Инна Николаевна.

И затем, обратившись к Никодимцеву, спросила:

— Я не очень скверно разыграла шлем?

— Напротив… Превосходно, Инна Николаевна.

— Это комплимент или правда, Григорий Александрович?

— Я комплиментов не умею говорить! — серьезно заметил Никодимцев.

— В таком случае вы оригинальный человек…

— Ну, какой оригинальный… Самый обыкновенный! — краснея, промолвил Никодимцев.

И подумал:

«Вот ты необыкновенная красавица! И я буду ездить сюда на журфиксы!»

И опять почувствовал, что ему отчего-то необыкновенно приятно. И эта приятность какая-то особенная, совсем не похожая на ту, которую он испытывает от своих служебных успехов.

Он рассеянно играл следующую игру и сделал крупную ошибку.

— Выпустили нас, ваше превосходительство! — не без злорадства заметил инженер.

— Действительно… выпустил… Прошу извинить меня, Инна Николаевна!

— Не извиняйтесь, а то и мне придется извиняться! Лучше не будем взыскательны друг к

другу!

Козельский вышел из кабинета довольный.

Он видел, что Никодимцев, этот холостяк-схимник, недоступный никаким влияниям, равнодушный к женским чарам и имевший репутацию необыкновенно хорошего работника и человека неподкупной честности, был очарован Инной.

«Клюнул!» — мысленно проговорил его превосходительство и вошел в гостиную.

Тина запела «Ночи безумные».

Пела она этот затасканный романс с цыганским блеском, с особенным выражением затягивая ферматы[8] и подчеркивая более пикантные слова. Ее свежий молодой голос звучал красиво и был полон неги и страсти этих безумных ночей. Ее карие глаза зажглись огоньком, и в них было что-то вакхическое.

Разговоры сразу оборвались. Все с восторгом слушали пение. Мужчины так и впились глазами в хорошенькую певицу с рыжими волосами и ослепительно белым лицом, подернутым румянцем, которая воспевала безумные ночи и, казалось, призывала к ним.

---

[8] Примечания: 8

Знак ферматы, поставленный над нотой, предоставляет исполнителю право увеличить длительность ноты по своему усмотрению.

Молодой артиллерист закрыл лицо руками, чтобы скрыть навертывавшиеся слезы. Ему было жутко от этого пения и невыносимо грустно, что Тина, на которую он молился и которую любил, имея некоторые основания надеяться, что и его любят, поет так нехорошо и нисколько не стесняется петь так при публике.

Он возмущался не раз и пробовал говорить ей, но она приказывала ему молчать, и он молчал.

И, вспомнив об этом, он слушал Тину, полный тоски, и думал, что она совсем его не любит… Эти поцелуи, которыми она дарила его и после которых смеялась над ним, когда он просил Тину быть его женой, казались ему теперь чем-то ужасным, оскверняющим его любовь…

Завтра же он категорически и в последний раз объяснится с ней, — решил двадцатипятилетний красивый поручик.

Гобзин просто-таки замер от восхищения и не спускал своих маленьких, заплывших глаз с Татьяны Николаевны и только теперь, когда она пела, почувствовал, как хороша эта «рыжая». И в эту минуту он совсем забыл свою соседку, Ольгу Ордынцеву, которая весь вечер кокетничала с ним и уже легкомысленно мечтала о победе над молодым миллионером, женой которого она

сделается с большим удовольствием. Гобзин уже просил позволения приехать к Ордынцевым с визитом, рассчитывая, конечно, быть у них в отсутствие отца.

Теперь Ольга была полна злобного, завистливого чувства к Тине. Все ее старания пропали, казалось, даром. Этот толстяк даже невежливо повернулся к ней спиной. И веселое настроение ее исчезло. Она думала, что она несчастная и что в этом виноват отец. Он скупой и не дает денег на уроки пения. А учись она, конечно она пела бы лучше Тины и с большим выражением.

Его превосходительство стоял на пороге и с удовольствием смотрел, как Гобзин пожирает глазами его дочь.

И в голове его пробегали мысли о том, как хорошо было бы замужество Тины. Стоит только ей захотеть, Гобзин женится, и тогда все долги были бы уплачены. Не надо было бы служить в разных местах. Можно устроиться иначе и устроиться отлично. Тина, конечно, не откажет отцу в денежной помощи, имея мужа миллионера.

«Захочет ли только Тина выйти замуж за Гобзина?..»

Сомнение омрачило приятное настроение его превосходительства, когда он подумал, что Тина

вообще не хочет выходить замуж и, пожалуй, упустит такой случай... Совсем странная эта Тина! Он решительно отказывается ее понимать. Надо же выходить замуж. Гобзин хоть далеко не Антиной[9], но не противен. Если послать его в Карлсбад, похудеет и выправится. А миллионера нескоро найдешь. И, наконец, у Тины такой характер, что муж у нее не пикнет, и, следовательно, может устроить потом свою жизнь, как хочет... И если б она кого-нибудь любила, тогда еще понятно отказаться от миллионера, а то и этого нет. Бедного артиллериста она только изводит и держит около себя для флирта... Чего она в самом деле хочет?

И его превосходительство в эту минуту досадовал на «странную девушку», бывшую его дочерью, которая, чего доброго, упустит случай и не поможет отцу поправить его расстроенные дела. С добродушной невменяемостью эгоиста и циника он даже и не подумал о том, что желает продать дочь миллионеру. Напротив, он полагал, что заботится об ее счастье. Для этого он и пригласил Гобзина.

Когда Тина кончила петь, раздался взрыв руко-

---

[9] Примечания: 9

Юноша, обожествленный римлянами после смерти в 130 году за свою необычайную красоту.

плесканий. Гости подходили к ней, благодарили и просили спеть еще. Особенно упрашивали мужчины.

— Осчастливьте, Татьяна Николаевна! — восторженно проговорил Гобзин.

«Эка как она сводит всех с ума этой пошлой цыганщиной!» — не без презрения подумал Козельский, большой любитель музыки, посещавший симфонические концерты.

Тина обещала спеть еще романс. Многие из мужчин остались стоять у фортепиано, чтобы ближе видеть певицу. Гобзин тоже остался, и Ольга готова была заплакать от зависти и досады.

Когда Тина запела «Полюблю, разлюблю», гости притихли, восхищенные.

Увидавши, что «святая женщина» вышла из гостиной, его превосходительство направился к Ордынцевой, около которой было пустое место. Он присел около и, показывая глазами на дочь, будто говорил о ней, шепнул:

— Завтра придешь?

Анна Павловна утвердительно опустила ресницы.

— В три часа?

— Да. И мне нужно с вами поговорить.

Глаза Николая Ивановича слегка затумани-

лись. Он не особенно любил, когда Анна Павловна обещала «поговорить». Это значило, что ей нужны были деньги сверх тех двухсот рублей в месяц, которые Козельский дарил на булавки, не считая подарков. А денег у него не было. Придется занимать.

— Отлично. Поговорим!

И, взглядывая на нее, он чуть слышно прибавил:

— А ты сегодня особенно прелестна. Ты это знаешь?

— Я знаю, что оделась и приехала для тебя, несмотря на то, что совсем расстроена.

— Опять твой благоверный?

— Да. Он ненавидит семью… Он… Однако уходите… Завтра поговорим… Ольга все время на нас смотрит… И жена может войти… А ты для кого такой нарядный?

— Точно не знаешь?..

Он поднялся с места и подсел к Ольге.

— О чем задумались, барышня? Вам скучно у нас?

— Напротив… У вас всегда весело…

— То-то… И вам еще рано скучать, такой молодой и хорошенькой…

— Какая я хорошенькая, Николай Иванович…

Вот мама так красавица. Не правда ли? — с наивным видом спросила Ольга, глядя прямо в глаза Козельскому.

— И вы и ваша мама… Обе вы прелестны… А вы споете нам?

— Что вы… После Татьяны Николаевны?

— У вас чудный голос… Спойте… Только не цыганщину… Я ее терпеть не могу… Споете?

— Ни за что. Вы знаете, я не училась… А мне так хотелось бы учиться, Николай Иванович… Скажите маме, чтобы она позволила мне учиться… Она вас послушает…

Его превосходительство обещал поговорить не только с мамой, но и с папой о том, что грешно зарывать такой талант, и не без досады подумал, что придется прибавить Анне Павловне еще двадцать пять рублей в месяц на развитие таланта этой лукавой девчонки, умевшей, несмотря на свои молодые годы, отлично пользоваться обстоятельствами. Для Козельского было ясно, что Ольга догадывается об его отношениях к матери, и надо было чем-нибудь закупить дочь.

И он проговорил:

— Верьте, что буду горячим вашим адвокатом.

— Вот спасибо, Николай Иванович.

И Ольга бросила на его превосходительство

быстрый ласковый взгляд, заставивший Николая Ивановича невольно взглянуть на Анну Павловну. Та смотрела на него.

Ольга это заметила и усмехнулась.

— Вы чему смеетесь?

— Радуюсь, что благодаря вам не зарою своего таланта, как ваша дочь… Она прелестно поет…

— Не в моем вкусе… Однако простите… И то я надоел вам…

— Нисколько… Впрочем, идите… идите. А то на вас рассердятся…

— Кто и за что?..

— Другие гости, к которым вы еще не подходили… вот кто!

«Однако и шельма ты!» — мысленно проговорил Козельский и сказал:

— Вы правы! Надо исполнять долг хозяина как следует…

И его превосходительство встал и направился в другой конец большой гостиной сказать несколько слов старичку адмиралу.

Тина между тем окончила романс и снова вызвала бурю восторгов. Несмотря на усиленные просьбы, она более не хотела петь. Оживившаяся, с загоревшимися глазами, она подошла к артиллеристу, сидевшему в уголке, и сказала:

— Что вы, Борис Александрович, в печальном уединении и в образе рыцаря печального образа? Пройдите в мою комнату через пять минут! — прибавила она чуть слышно и отошла.

Он сразу повеселел и следил влюбленными счастливыми глазами за Тиной, которая болтала уже с какой-то дамой. Через две-три минуты молодая девушка скользнула в прихожую.

Артиллерист прошел через столовую в открытую настежь комнату Тины, и как только очутился за портьерой, Тина обвила его шею и страстно прильнула к его губам.

И, оттолкнув молодого человека, шепнула:

— Ну, что, меланхолия прошла? Не сердитесь? Уходите! Завтра утром буду у вас!

И с этими словами исчезла за драпировкой.

Офицер вернулся в гостиную, ошалевший от неожиданного счастья и не сомневавшийся, что Тина его любит и будет его женой. Ее обещанный визит казался ему знаком высокого доверия к нему.

Бесконечно счастливый, он не испытывал даже мук ревности, когда увидал, что Тина уже оживленно беседует с Гобзиным.

Был первый час на исходе, а обещанный гостям баритон Нэрпи не приезжал, и хозяин мысленно

выругал баритона скотиной.

Еще бы!

Николай Иванович, старавшийся, чтобы его фиксы были оживленны, видел, что наступает тот критический период, когда в ожидании ужина гости приходят в удрученное состояние, томясь от скуки. Он знал, что именно в это время певцы и певицы являются спасителями, избавляющими гостей от каторжной обязанности передавать друг другу газетные новости и поднимающими бодрость духа у тех добрых знакомых, которые приезжают на фиксы исключительно для того, чтобы вкусно поужинать и выпить хорошего вина.

II

Известная пианистка уже уехала. Отрывать Тину от беседы с молодым миллионером заботливый отец не хотел, да и заставить ее петь, если она не хочет, не так-то легко.

Николай Иванович поморщился, когда вместо жданного баритона явился Лева, его зять, тщедушный маленький молодой брюнет в смокинге, развязный и самоуверенный, с несколько выкаченными глазами, придававшими его бесцветному, пошловатому лицу с модными узкими

бачками и взъерошенными жидковатыми усами глупый и несколько растерянный вид.

Он поцеловал руки тещи и нескольких знакомых дам и налетел на Козельского. Крепко пожав ему руку, он стал подробно рассказывать, чуть взвизгивая, торопясь и захлебываясь, что опоздал потому, что его задержали Иртеньевы, у которых он пил чай.

Словно не понимая, что Козельский нисколько не был бы в претензии, если б зять и совсем не приехал, и что тестю не было ни малейшего дела до незнакомых ему Иртеньевых, Лева Травинский извинялся, что приехал поздно, и затем стал объяснять, что Иртеньевы вполне приличные люди и платят за квартиру тысячу восемьсот рублей.

— А сам Иртеньев умный, очень умный… Куда умней меня.

— Неужели? — спросил Козельский, подумавший в то же время, что такие идиоты, как зять, встречаются не очень часто.

— Должен согласиться… И вообразите — зарабатывает до двадцати тысяч. Он предлагает быть его компаньоном. Как вы думаете, дорогой Николай Иванович, сделаться его компаньоном? — неожиданно спросил Лева.

— Мы об этом в другой раз лучше поговорим.

— Так я завтра приеду посоветоваться, а? Ведь не вредно к шести тысячам, которые я получаю, иметь еще четыре тысячи дополнительного заработка… Иртеньев говорит, что это не трудно… Я хочу с вас брать пример и думаю, что умные люди всегда могут хорошо устроиться… Не правда ли?

Николай Иванович, не раз удивлявшийся, что его зять отлично идет по службе и вообще преуспевает, все-таки удивился, что такого глупого болтуна берут в компаньоны, и снова повторил:

— В другой раз поговорим… В другой раз… А теперь…

Его превосходительство с удовольствием прибавил бы «убирайся к черту!», если бы только это было возможно.

— А Инна разве не здесь? Она не была здесь? — вдруг тревожно спросил Травинский, оглядывая гостиную.

— Она играет в карты.

— В карты? Удивительно!

И он пошел в кабинет.

Легкая складочка на лбу обнаружила неудовольствие Инны Николаевны, когда ее муж подошел к ней и, целуя ее руку, проговорил:

— Не думал, что ты в карты… А я от Иртенье-

вых… Не пускали…

— Мой муж! — проговорила она, обращаясь к Никодимцеву. — Никодимцев… Григорий Александрович.

Травинский поклонился особенно почтительно. Никодимцев привстал, подавая ему руку, и едва скрыл изумление при виде этого молодого человека — до того ничтожен казался он перед своей женой.

«Как могла она выйти за такого замуж?» — невольно пронеслось у него в голове.

— А ты давно здесь, Инна?..

— Из театра прямо!

— Я думал, ты каталась… Погода такая хорошая.

— Ты нам мешаешь! — мягко проговорила Инна Николаевна.

— Мужья всегда мешают женам! — смеясь, проговорил муж.

Партнеры переглянулись. Никодимцев опустил глаза.

— Особенно когда жены играют в карты, — шутливо заметила Инна Николаевна.

— Виноват… Я не буду мешать.

Травинский ушел.

Никодимцев взглянул на Инну Николаевну. Ни

черточки неудовольствия в ее лице.

«Неужели она любит мужа?» — подумал Никодимцев.

Подобный вопрос невольно задавали себе все, видевшие Инну Николаевну и ее мужа.

Во втором часу позвали ужинать. Перед тем что садиться, Козельский сказал дочери:

— Я посажу около тебя Никодимцева.

Инна охотно согласилась и спросила:

— Кто он такой?

— Ты разве не знаешь? Директор департамента. Человек с блестящей будущностью. Говорят, его скоро назначат товарищем министра… Не дай ему скучать… Он застенчив, особенно в дамском обществе, и, кажется, избегает женщин…

— Будто?

— Говорят, живет схимником…

— Это интересно! — усмехнулась Инна Николаевна.

Она действительно не дала скучать своему застенчивому соседу. Он оживился, слушая ее остроумный пересказ новой пьесы, которую она видела в этот вечер, и почти не дотрогивался до форели, лежавшей у него на тарелке.

— А вы любите театр? — спросила она.

— Люблю, но редко бываю…

— Отчего?

— Во-первых, нечего смотреть.

— А во-вторых?

— Некогда. Я очень занят, Инна Николаевна.

— И вам не скучно все время проводить в работе?

— Работа, я думаю, и спасает от скуки… Чем наполнить иначе жизнь?

— А личное счастье?

— Оно трудно достижимо, Инна Николаевна, особенно теперь, в мои годы.

— Да разве вы старик?

— Сорок два года… Настоящий старый холостяк.

— Жениться еще не поздно…

— Поздно, Инна Николаевна… На такую глупость я не согласен.

— Отчего глупость?

— Я смотрю на брак очень серьезно… Потому-то и счел бы глупостью думать о нем теперь… Жениться, конечно, не трудно, но каково жить потом…

— А как же вы смотрите на брак, Григорий Александрович?

— Я думаю, что жениться можно только тогда, когда действительно любишь и когда уважа-

ешь того, кого любишь… Когда оба правдивы настолько, чтобы могли честно расстаться, если, на несчастье, перестанут любить и уважать друг друга… Иначе это… это…

— Договаривайте…

— Безнравственный компромисс…

— Вы правы! — проговорила Инна Николаевна, и что-то скорбное мелькнуло в ее глазах.

Никодимцев заметил эту внезапную перемену. И с сердечною ноткой в голосе прибавил:

— Разумеется, во всех таких браках виноваты почти всегда мужчины, а не женщины. Для них часто нет выхода…

— И женщины виноваты! — сказала Инна Николаевна.

— Григорий Александрович! Шабли перед вами! — обратился хозяин к Никодимцеву.

— Благодарю вас.

Но он не налил себе вина.

— Что ж вы? Налейте мне и себе! — сказала Инна Николаевна.

— Я вообще не пью, но с удовольствием выпью за ваше здоровье и… счастье! — промолвил Никодимцев.

И, наполнив две рюмки, чокнулся с соседкой.

— А я пью за то, чтобы вы нашли тот идеал, о

котором говорили… Ведь и одиночество тоскливо… Или честолюбие для вас выше всего?..

Никодимцев покраснел.

— Да, я честолюбив. А об идеале можно только мечтать…

— И стараться осуществить мечты… Полюбить…

— Чтоб нарушить тот покой, которым я теперь пользуюсь?.. Это недоброе пожелание, Инна Николаевна.

— Вы, верно, никогда не любили, если так заботитесь о своем покое… Верно, некогда было?..

— Почти что так…

К концу ужина между Никодимцевым и Инной Николаевной как-то сам собой установился задушевный тон, Никодимцев говорил с ней о своих путешествиях за границу, о своих литературных вкусах и ни разу не обмолвился ни одним комплиментом, которые обыкновенно говорят красивым женщинам. И это очень понравилось Инне Николаевне, до сих пор не встречавшей ни одного мужчины, который говорил бы с ней, как равный с равным, без тех игривых, более или менее остроумных любезностей, за которыми скрывается легкое отношение к женщине. Это было в диковинку молодой женщине и льстило

ее самолюбию. И когда в три часа встали из-за стола, Никодимцев еще несколько времени разговаривал с Инной Николаевной.

Наконец он поднялся с дивана и, низко кланяясь, проговорил:

— Позвольте сердечно поблагодарить вас, Инна Николаевна. Я давно не проводил так приятно вечера, как сегодня.

— Надеюсь, мы видимся не последний раз?

— Я был бы несказанно рад.

— Быть может, вы когда-нибудь заглянете ко мне, если не боитесь разочароваться в моей способности беседовать с таким умным человеком. От трех я почти всегда дома. Моховая, десять.

Никодимцев вспыхнул от радости. Он горячо благодарил за приглашение и сказал, что сочтет за счастие воспользоваться им.

— И чем скорее, тем лучше. Не правда ли? — промолвила Инна Николаевна, протягивая свою красивую руку и ласково улыбаясь.

— Если позволите, я на днях буду у вас…

И, почтительно пожав руку, он пошел прощаться с хозяйкой и хозяином.

Козельский проводил гостя и в передней, поблагодарив за посещение, сказал:

— Не забывайте наших скромных вторников,

Григорий Александрович, если сегодня не очень проскучали. Партия всегда будет.

Никодимцев обещал не забывать.

Когда все гости разъехались и Инна Николаевна собиралась уезжать с мужем, Козельский позвал ее на два слова в кабинет.

Инна Николаевна пошла за отцом, несколько смущенная, думая, что отец будет говорить с ней о недавней встрече.

— Я к тебе с большой просьбой, Инна.

— В чем дело, папа?

— Затевается одно большое коммерческое предприятие, и я в нем негласным участником. Если это предприятие осуществится, я могу иметь большие деньги… А они мне нужны, ох, как нужны. Долгов много, и вы не обеспечены… Так вот, видишь ли, голубушка, надо провести устав, а для этого нужно хлопотать… Мне самому неудобно, а если б ты поехала в департамент к Никодимцеву…

— Мне не надо и ездить в департамент… Никодимцев будет у меня на днях.

— Значит, еще лучше. Ты сделаешь большое одолжение, если попросишь об уставе… Он будет польщен твоей просьбой и не откажет такой хорошенькой женщине…

— Но, папа… Разве это возможно?.. Разве ты не понимаешь, о чем просишь?.. Нет, ты, верно, хуже обо мне думаешь, чем я на самом деле… Я не буду говорить с Никодимцевым, папа… И мне больно, что отец…

Слезы вдруг брызнули из глаз Инны. Николай Иванович растерялся и, полный стыда, виновато проговорил, целуя дочь:

— Инночка! Ты не так меня поняла… Я… я ничего дурного не имел в виду… И, наконец, Никодимцев порядочный человек… Он не обидел бы тебя оскорбительными подозрениями… Не надо… не надо… Не говори ничего… Я сам с ним поговорю… Не надо… Утри глаза, а то мама… увидит и будет тревожиться… Если спросит, то скажи, что я говорил с тобой о… твоих семейных делах. Ведь я вижу, ты несчастлива с твоим мужем.

Инне Николаевне стоило большого труда, чтобы не разрыдаться…

— Если хочешь, я переговорю с твоим мужем.

— Не нужно… К чему?

— Инночка!.. Но если в самом деле тебе невмоготу, то… можно наконец и развестись с ним… Конечно, это крайняя мера… Но знай, что ты всегда желанная гостья у нас в доме… Знай это! — проговорил отец, вытирая слезу.

Инна вытерла слезы и холодно простилась с отцом.

Антонина Сергеевна, обнимая дочь, спросила:

— О чем отец говорил?

— О моих семейных делах, мама… Он с чего-то взял, что я несчастлива…

— А разве нет?..

— В другой раз поговорим… А теперь перекрести меня, дорогая…

Антонина Сергеевна перекрестила дочь, и Инна Николаевна уехала.

III

— Ну, что, подковали Никодимцева, а? — спрашивал на извозчике муж.

— Что это значит?

— А значит, что твой фатер[10] имеет нужду в Никодимцеве и хочет при твоей помощи околпачить его… Порадей и для меня, Инна…

— Молчи… Не смей так говорить.

— Чего ты сердишься… Это самое обыкновенное дело…

— Для тебя, может быть.

— А ты что ж? Недосягаемая добродетель, что

---

[10] Примечания: 10
Отец (от нем. der Vater).

ли?..

Инна Николаевна молчала.

Когда она приехала домой и, быстро раздевшись, расчесывала волосы в своем будуаре, у дверей раздался голос мужа:

— Инна! Позволь войти…

— Я раздета.

— Тем лучше. Пусти меня… Я, кажется, не чужой, Я твой муж и, смею думать, очень снисходительный муж…

— Уходи…

— Инна… Милая… Я больше не могу терпеть этой муки… Я люблю тебя, и если ты не хочешь быть моей женой, а…

За дверьми слышны были всхлипыванья…

Инна Николаевна равнодушно стояла у туалета, машинально продолжая расчесывать свои длинные красивые волосы.

— Инна… Пусти же меня!..

Он стал ломиться в дверь.

— Вон! — крикнула жена.

— Подлая!.. Развратная!.. Я заставлю быть женой! — крикнул муж и ушел.

Ее не оскорбляли эти выходки мужа. Она знала, что скажи она слово, и этот самый человек, поносивший ее, будет валяться в ногах, вымаливая

у нее прощение. И не о нем задумалась она в настоящую минуту.

Она думала о своей жизни. И она чувствовала презрение не только к мужу, но и к себе, и сознавала, что, безвольная и бессильная, не может изменить жизнь и что нет на свете человека, который вырвал бы ее из болота.

Глава пятая

I

Когда Ордынцеву бывало особенно жутко после семейных сцен, он обыкновенно отправлялся к своей старой знакомой, Вере Александровне Леонтьевой, дружба с которой вызывала в его жене оскорбительные предположения и насмешки, или к своему приятелю Верховцеву, одному из тех немногих стойких и убежденных литераторов, которые остались разборчивы и брезгливы и не шли работать в журналы маломальски нечистоплотные. Он был из «стариков», не умевший утешать себя компромиссами. Хотя жизнь его шла далеко не на розах, особенно с тех пор, как прекратилось издание журнала, в котором Верховцев был постоянным сотрудником, и ему нередко приходилось бедовать с женою и двумя детьми, он не бросал любимого дела. Всю жизнь проработавший пером, он отказывался от предложений поступить на службу в одно из министерств, в которое охотно брали смирившихся литераторов, и не соблазнялся утешительной мыслью проводить свои идеи

в записках и исследованиях, одобренных канцелярией, предпочитая делать это в статьях, печатаемых в журналах.

Все это хорошо знал Ордынцев и еще более уважал старого приятеля и вчуже завидовал ему. То ли дело его положение! Работа по душе. Свободен и независим. Не знает никаких Гобзиных!

Ордынцев любил отвести душу с Верховцевым за бутылкой-другой дешевого красного вина и хотел было ехать с Офицерской на Пески. Но, вспомнив, что у него в кармане всего два рубля и что у приятеля до выхода книжки тоже едва ли есть капиталы, отложил посещение Верховцева до двадцатого числа, когда можно будет распить вместе несколько бутылок, и поехал в Ковенский переулок, к Вере Александровне Леонтьевой.

Его отвлекали от тяжелых дум эти визиты к женщине, к которой он раньше питал не одни только дружеские чувства, а нечто гораздо большее, что он тщательно скрывал, хотя, разумеется, не скрыл. И тогда его частые посещения далеко не были такими спокойными для него. Но со временем это чувство улеглось, чему немало помог и отъезд Ордынцева на юг, где получил место, и когда он вернулся, отношения их приняли совершенно другой характер. Они искренне были

привязаны друг к другу, полные взаимного уважения. В ней он вспоминал свою бескорыстную любовь. Леонтьева видела в нем истинного друга и благодарно помнила о самоотверженном влюбленном поклоннике, сумевшем не испортить отношений и не внести смуты в дружную семью. Этого она никогда не забывала, сознаваясь себе самой, что была такая полоса, когда и она могла увлечься им — не держи он себя с такою рыцарской сдержанностью.

Когда Ордынцев вошел в небольшую квартиру на дворе, в которой Леонтьевы жили лет десять, и очутился в хорошо знакомой ему гостиной в три окна, с простенькой зеленой мебелью, с большим шкафом с книгами и множеством цветов, освещенной мягким светом лампы под красным абажуром, на него так и повеяло уютом и тем впечатлением порядочности и внутреннего тепла, которое чувствуется не только в людях, но и в комнатах. И ему сделалось легче на душе, когда он присел в кресло и в ожидании хозяев взял со стола последний номер одного из лучших толстых журналов.

Ему не удалось даже прочесть оглавление, как из соседней комнаты вышла небольшого роста женщина в черном шерстяном платье, немоло-

дая, худощавая, но крепкая и сильная, с темными живыми глазами. Ее лицо с крупными чертами, еще моложавое и пригожее, светилось одухотворенной красотой чистой натуры, умом и чем-то открытым, внушающим доверие.

— И как же не стыдно так пропадать! — ласково проговорила Вера Александровна. — Отчего не были долго? Что с вами? — участливо спрашивала она, пожимая Ордынцеву руку и пытливо заглядывая ему в глаза. — Садитесь и рассказывайте, и будем чай пить… Нам Ариша сюда подаст…

Ордынцев никогда никому не жаловался на свою семейную жизнь, и Вера Александровна никогда не спрашивала его об этом. Она, разумеется, понимала, что Ордынцев несчастлив, но не представляла себе той каторги, которую он переносил. Она давно уже не бывала у Ордынцевой. Они с первой же встречи не понравились друг другу, и Вера Александровна удивлялась, как Ордынцев мог жениться на такой женщине. Удивлялась и жалела Ордынцева, считая виноватой в его несчастии не его, а жену.

— Занят, Вера Александровна, от этого и не был давно… Вот сегодня выпал свободный вечер, и собрался…

— А здоровье как? А живется как?

— Здоровье ничего… Скриплю… А живется…

Ордынцев попробовал было улыбнуться, но вместо улыбки на его худом, болезненном лице появилась страдальческая гримаса.

— Не особенно хорошо живется, Вера Александровна! — уныло произнес он.

— Отчего нехорошо? — спросила Леонтьева, и в голосе ее звучала тревога.

— Вообще… Да и редко кому хорошо живется.

И, словно бы спохватившись, прибавил:

— На службе неприятности. Гобзин сегодня меня раздражил… Великолепный образчик самодовольного животного в современном вкусе.

— Что такое? Расскажите.

— Обыкновенная история по нынешним временам.

И Ордынцев стал рассказывать свою «историю» с Гобзиным. Рассказывая, он снова волновался.

Возмущенная, слушала Вера Александровна и, когда Ордынцев окончил, воскликнула, вся раскрасневшаяся от негодования:

— Какая гадость!

И, взглядывая с уважением на Ордынцева, прибавила:

— И как вы хорошо его осадили, Василий Ни-

колаевич.

— Одобряете? — радостно промолвил Ордынцев, вспоминая, как дома отнеслись к его поступку и какую нотацию прочел ему сын.

— Что за вопрос? Вы иначе не могли поступить!

— О, я знаю, для вас непонятно, как иначе поступить, но для других…

Леонтьева догадалась, кто эти «другие», и ничего не сказала.

— И знаете ли что, Вера Александровна?

— Что?

— Вы не поверите, как мне хотелось плюнуть в эту самодовольную физиономию моего принципала… Но не посмел. Струсил. Пять тысяч, жена и дети… Это, я вам скажу, большая гарантия для Гобзиных… Ну, а вы как живете? Аркадий Дмитриевич где? Дети здоровы? — круто переменил Ордынцев разговор.

— Аркадий только что ушел. Сегодня интересный доклад в Вольно-Экономическом обществе. Детвора учится. А я за переводом сидела.

— Значит, все благополучно?

— Благополучно.

— И вы, по обыкновению, за кого-нибудь хлопочете, устраиваете беспризорных детей и даете

уроки?

— Все, как было, по-прежнему… Помогаю немножко Аркадию.

— Да… вы не меняетесь! — горячо промолвил Ордынцев.

— В мои годы поздно меняться, Василий Николаевич.

Оба примолкли.

Пожилая горничная Ариша, давно жившая у Леонтьевых, принесла чай и варенье.

И то и другое показалось Ордынцеву необыкновенно вкусным.

«Вот это семья! — думал Ордынцев не без завистливого чувства. — Жена любит и уважает мужа. Он души не чает в жене и благодаря ей легче несет тяготу жизни. Она не упрекнет его за то, что он порядочный человек. И за прежние его увлечения, благодаря которым они прокатились в Иркутскую губернию и бедовали три года, она еще более ценит и бережет его. И дети у них славные».

— Коля небось хорошо учится? — спросил он.

— Ничего себе…

— И Варя по-прежнему? Из первых?

— Да…

— Это что… А главное… славные они оба у

вас... добрые... Из них современные бездушные эгоисты не выйдут... Много теперь таких, Вера Александровна.

— Да... Жаловаться на детей не смею... Добрые они и необыкновенно деликатные... Надеюсь, что будут верными нашими друзьями и не заставят краснеть за себя ни отца, ни мать! — с горделивым материнским чувством проговорила Вера Александровна.

Ей тотчас же стало совестно, что она так хвалила детей Ордынцеву. Он говорил с ней только об одной Шуре, о других молчал. И Леонтьева понимала почему. Она как-то встретила у одних общих знакомых Алексея и Ольгу и говорила с ними.

И Вере Александровне стало бесконечно жаль Ордынцева. Ей хотелось как-нибудь утешить его, выразить участие, но она была не из тех друзей, которые ради участия бесцеремонно бередят раны, и притихла.

Но ее беспокоила история с Гобзиным, и через несколько минут она спросила:

— А Гобзин не захочет отметить вам за свое унижение?

— Вероятно, захочет.

— И вам придется тогда искать другого места?

— Не в первый раз... Одна надежда на то, что

мной дорожат в правлении и что Гобзин побоится отца… Тот умный мужик…

— Ну, слава богу! — вырвалось радостное восклицание у Веры Александровны.

Ордынцев благодарно взглянул на нее… Она встретила его взгляд взглядом участия.

«Вот с такой женщиной можно быть счастливым», — невольно пронеслось у него в голове.

Вера Александровна заговорила о своих делах. Она рассказывала, что Аркадий утомляется от своей статистики и знакомый доктор советует ему отдохнуть. Летом они думают поехать куда-нибудь в деревню, подальше от Петербурга, если муж получит отпуск на два месяца. Должны дать. Он три года не брал отпуска. И жалованье должны бы прибавить. Но Аркадий, конечно, не пойдет выпрашивать. Сами должны догадаться. Рассказывала Вера Александровна и о маленьком приюте, который она устроила при помощи добрых людей, о своих уроках, о переводе большого романа, который она получила благодаря Верховцеву, о том, как неделю тому назад напугал ее Коля своим горлом.

Обо всем она рассказывала просто, скромно, стушевывая себя, точно все то, что она делала, было самым легким и обыкновенным делом, а

не большим и неустанным трудом, отнимавшим все ее время.

— Вот так за своими маленькими делами и не видать, — как бежит время! — заключила Вера Александровна, словно бы оправдываясь в чем-то. — И не замечаешь, как старишься и как быстро растут дети. Иногда не верится, что Коля на будущий год будет студент, а Варя окончит гимназию.

— А Варя куда потом?

— Собирается в медицинский институт… Иногда и читать как следует не успеваешь, а хочется духовной пищи… Вот недавно вышла книжка журнала, а еще ничего не читала. А там интересная, должно быть, статья нашего общего знакомого Верховцева. Читали?

— Нет…

— И он пропал что-то… Вы давно его видали?

— Давно… Не соберешься… День в правлении, вечера дома работаешь… А в праздники почитываю…

Ордынцев взял со стола книгу и сказал:

— Хотите, прочту статью Сергея Павловича?

— Очень буду рада…

И, помолчав, прибавила:

— Помните, вы, бывало, часто мне читали?

— Еще бы не помнить! — задушевно промолвил Ордынцев.

— А теперь… никому не читаете?

— Некому! — грустно ответил Ордынцев.

Вера Александровна вышла и через минуту вернулась с работой.

— Одеяло вяжу Коле урывками. Вы читайте, а я буду слушать и вязать.

Ордынцев вздохнул и принялся читать статью Верховцева по поводу самоубийств молодых людей от безнадежной любви и безнадежного пессимизма.

Эта живая, талантливая статья, объясняющая причины самоубийств отсутствием серьезных интересов, дряблостью характеров и печальными условиями жизни, произвела на Веру Александровну сильное впечатление.

— Верховцев прав… Вот тоже мой брат, влюбился и… сходит с ума… Точно весь смысл жизни для него в предмете его любви! — проговорила она.

— Несчастная любовь, что ли? — осведомился Ордынцев.

— Право, и не разберешь, какая это любовь, но во всяком случае нехорошая. То он придет ко мне возбужденный и восторженный, то угнетенный и какой-то потерянный и говорит, что не стоит

жить… Это в двадцать пять лет!.. Признавался, что до сих пор не знает: любит его или нет эта странная девушка… А без нее он, видите ли, жить не может…

— А она может, конечно?

— Она не отпускает его от себя, а выйти замуж за него не хочет. И эти странные отношения продолжаются у них полгода. Совсем извела бедного… Играет чужой привязанностью и…

— И занимается со своим поклонником флиртом?.. Это нынче, говорят, в моде! — вставил Ордынцев с раздражением в голосе.

— Бог их знает, но только брат тревожит меня. Он, как вы знаете, добрый, привязчивый человек, но неуравновешенный, слабовольный, не имеет никакой цели в жизни и ничем не интересуется, кроме своей мучительницы, и, конечно, считает ее необыкновенной… И она действительно необыкновенная…

— Чем?

— Тем, что проповедует смелую этику, — этику приятных впечатлений. Что приятно, то и пусть делает всякий… Свобода наслаждений и никаких обязательств… Что-то декадентское. Брат приводил ее к нам, и она поучала нас с Аркадием в этом направлении… Говорит бойко, самоуверенно…

И при этом умна и хороша собой… Признаюсь, я считала бы несчастием для брата, если б она вышла за него замуж… Я первый раз встречаю такую девушку… И это у ней не напускное… вот что ужасно!..

— Действительно ужасно! — проговорил Ордынцев и вспомнил дочь.

— Вы, верно, видели эту барышню?.. Ваши знакомы с ней… Это барышня Козельская…

— Как же, имел честь видеть, — с иронией отвечал он. — Она бывает у нас и вместе с дочерью распевает цыганские романсы… И отец ее бывает у жены… И наши посещают их вторники… Боже избави Бориса Александровича жениться на ней… Остановите его… Посоветуйте уехать… Что может быть ужаснее несчастного супружества… А с такой… Впрочем, она, к счастью вашего брата, не пойдет за него замуж… Для чего ей бедный артиллерийский офицер?.. Ей нужен муж с состоянием… А потом для приятных впечатлений любовники.

— Однако брат говорил, что она отказывала богатым женихам…

— Верно, недостаточно богаты…

— Нет, это не то, Василий Николаевич… Это что-то другое, нечто возмутительно эгоистичное

и распущенное, возведенное в теорию…

— Да… теперь молодые люди имеют теории… довольно пакостные теории! — со злобой проговорил Ордынцев. — Нет, вы спасите брата… Спасите… Он вас послушает… Спасите, пока не поздно! — взволнованно прибавил Ордынцев и закашлялся.

Леонтьева с участием смотрела на него.

В эту минуту в передней затрещал электрический звонок.

— Вот и Аркадий! — промолвила она.

В гостиную вошел не один Леонтьев, высокий, худощавый брюнет в очках, с утомленным лицом. За ним появилась и приземистая, крепкая фигура Верховцева, человека лет за сорок, с большой заседевшей бородой и белокурыми волнистыми волосами, зачесанными назад. Его лицо, с большим облысевшим лбом, было довольно красиво. Прищуренные близорукие глаза светились умом. Одет он был в поношенный черный сюртук.

Оба обрадовались Ордынцеву и расцеловались с ним.

— Вот что называется, не было ни гроша, и вдруг алтын! Не правда ли, Вера? И Василий Николаевич пришел, и Сергея Павловича я затащил с заседания! — весело говорил Леонтьев.

— А реферат интересный был?

— Ничего себе… А ведь мы, Вера, есть хотим. Не найдется ли чего-нибудь?

— Найдется. Сейчас я вас позову, господа! — проговорила, выходя из комнаты, Вера Александровна.

— А я красненького принес, Вера! — крикнул ей вдогонку Леонтьев.

II

Через несколько минут хозяйка позвала мужчин в столовую.

На столе шумел самовар, и на тарелках были разложены закуски, ветчина, колбаса и холодное мясо. Несколько бутылок дешевого красного вина и графинчик с водкой приятно ласкали взоры Ордынцева и Верховцева. И все глядело аппетитно на белоснежной скатерти.

Ордынцев опять невольно подумал о доме.

— А Коля и Варя? — спросил Леонтьев.

— Они не хотели ужинать и спать легли.

— Ну, господа, приступим!

Леонтьев налил водки в три рюмки. Приятели чокнулись и закусили селедкой.

— Отлично у вас приготовляют селедку, Вера Александровна! — похвалил Ордынцев.

— И я присоединюсь к мнению Василия Николаевича, хотя должен заметить, что в чужом доме все всегда кажется вкуснее, чем в своем, — пошутил Верховцев.

— Аркадию Дмитриевичу этого не кажется, я думаю! — заметил Ордынцев.

— Ты прав… не кажется… Вера избаловала своими кулинарными талантами.

— И какое множество у вас талантов, Вера Александровна!.. Аркадий! Налей еще — мы выпьем за таланты Веры Александровны! — сказал Верховцев.

Выпили еще. Потом Верховцев и Ордынцев выпили по третьей рюмке — уже без Леонтьева.

Ордынцев незаметно выпил и четвертую.

Верховцев оживленно рассказывал о заседании, высмеял нескольких ораторов и одного молодого профессора, изнемогающего под бременем популярности («Так ведь и объявил мне. И действительно имел изнемогающий вид от жары!» — вставил Верховцев), и потягивал красное вино.

Не отставал от него и Ордынцев, и чем больше пил, тем становился мрачнее.

— Что ты это, Василий Николаевич, приуныл?.. Или твое правление доняло тебя… Заработал-

ся? — участливо спросил Верховцев.

— У Василия Николаича сегодня была неприятная история с Гобзиным! — вставила Леонтьева.

— Опять?.. Расскажи, брат, в чем дело?

Ордынцев снова рассказал и прибавил:

— Ведь этакое животное!

— Ты не кипятись. Нынче спрос на животных не в одной твоей лавочке. Вот спроси Аркадия Дмитриевича. И у них в статистике даже не без этого… Жаль, что они не ведут статистики всех животных в образе человеческом, населяющих Российскую империю… Статистика вышла бы поучительная…

— Ведь университетский и… молодой! Вот в чем дело… Молодые-то люди… Понимаешь ли… молодость! О, если б вы только знали, Вера Александровна, какие есть молодые люди! — с каким-то страстным возбуждением и со скорбью воскликнул Ордынцев и хлебнул из стакана.

Под влиянием водки и вина его так и подмывало обнажить свою душу и сказать, какая у него жена и что за сынок и дочка, но стыдливое чувство остановило его. Но он все-таки не мог молчать и продолжал:

— На днях еще я видел одного студента… племянника.

— Хорош? — проговорил, усмехнувшись, Верховцев, не догадываясь, о ком идет дело.

Одна только Вера Александровна догадалась и с тревогой ждала, что скажет про сына этот несчастный муж и отец.

— Великолепен! О боже, какая скотина! И с какою основательностью говорил он, что главный принцип — собственная его натура. И во-первых, и во-вторых, и в-третьих… Все выходило так, что самоотвержение, долг, любовь к ближнему — все это пустые слова, а что есть только законы физиологии и ничего более… Этот экземпляр получше той барышни будет, Вера Александровна!

Все молчали.

А Ордынцев неожиданно спросил, обращаясь к Верховцеву:

— Что, если бы у тебя да такой сынок?

— Это несчастие.

— То-то и есть… Именно несчастие. И в этом виноваты отцы… Да, отцы… А ведь таких молодых стариков, как мой племянник, много.

— Всякие есть!..

— Нет, ты возьми средний тип.

— Положим, средний тип не из блестящих. Но большинство всегда и везде приспособляется к данным условиям… Есть и теперь, брат Василий

Николаевич, славная, честная, работящая молодежь, и напрасно мы, как старики, брюзжим на нее… Есть она и ищет правды… Жадно ищет…

— Не видал я что-то таких! — проговорил Ордынцев, вспоминая приятелей сына.

— А я знаю. Да иначе и быть не может… Иначе скотство давно бы заело нас… Кто ездил на холеру? Кто ездил на голод? Кто сегодня вот толпился на заседании? Кто посещает литературные вечера, на которых участвуют любимые писатели?.. Все молодежь… И если, быть может, она слишком на веру принимает всякие новые слова только потому, что они кажутся ей новыми, то и в этом разве не видно стремление найти правду… найти исход неразрешимым загадкам жизни, как-нибудь согласовать идеалы с житейской этикой… Вот только правда-то эта самая кусается… Не всякую можно говорить… Ну, да не всегда же литература будет бесшабашной… Очнется и она!..

Речь Верховцева звучала бодростью и верой.

— Твоими устами да мед бы пить, Сергей Павлович… И счастливый ты, что веришь и что можешь пером бороться за правду и бодрить людей.

— Ну, голубчик, какие мы борцы! — горько усмехнулся Верховцев. — Иной раз пишешь, и стыд берет… Эзопствуй, изворачивайся для того

лишь, чтобы сказать элементарные истины… А ты думал: «куда влечет свободный гений»?

— Знаю. И вы под началом… Пиши, да оглядывайся…

— То-то оглядывайся… Да еще бойся, как бы без работы не остаться.

— Но по крайней мере ты от животных, вроде Гобзина, не зависишь. У тебя имя… Не смеют.

— Да ты из Аркадии, что, ли, приехал?.. Да нынче в литературе похуже твоего Гобзина завелись антрепренеры. Теперь их праздник. Откроет какой-нибудь непомнящий родства литературное заведение, пригласит повадливых господ, да и начнет тебя же, старого литератора, исправлять да сокращать. Он не понимает, скотина, что в душу твою так с сапогами и лезет. А тебе каково? Ну, отплюйся и беги вон. А куда убежишь? Два-три журнала, и шабаш. А то не угодно ли в какую-нибудь литературную помойную яму. Молодые литераторы не брезгливы. Куда угодно «поставят» и роман, и повесть, и статью… Получил гонорар — и прав. Ну, а мы, старики, еще конфузимся… А ты говоришь: «Имя. Не смеют!..» Святилище в конюшню обратили… Вот оно что! Выпьем-ка лучше, Василий Николаевич!

— Василию Николаевичу вредно пить! — заме-

тила Вера Александровна.

— Я, Вера Александровна, редко позволяю себе… И мало ли что вредно… Я еще последний стакан, с вашего позволения.

И, чокаясь с Верховцевым, Ордынцев воскликнул:

— И все-таки я завидую твоему положению.

— Нашел чему завидовать!

— Завидую! — с каким-то ожесточением воскликнул Ордынцев. — И ты не спорь. Как подчас ни тяжело, а не уйдешь ты из литературы… Я знаю, тебе предлагали обрабатывать материалы в одном министерстве, но ты сказал: «Очень благодарен. Я обработаю их, если захочу, и сам…» Ведь верно?

— Положим, не уйду и обрабатывать материалов не стану…

— Вот видишь.

— Привык… Давно бумагу извожу… Не уйду, хоть иногда и жутко… Ох, как жутко российскому писателю, если он не переметная сума и уважает свое дело. Ведь мы живем вечно в воздушном пространстве. Несвоевременна статья, и… зубы на полку.

— Все это отлично…

— Ну, брат, отличного мало! — засмеялся Вер-

ховцев.

— Отлично… Понимаю. Превосходно… И времена, и ваших мерзавцев, и все такое… все понимаю… И все-таки ты счастливый человек… И Аркадий Дмитриевич счастливый человек… И оба вы превосходные люди… И Вера Александровна святая женщина… И вы умели выбрать себе жен… А то другие женятся… Подруга жизни… Благодарю! Очень благодарен! А тянут каторгу. Нынче семейная-то жизнь, а?.. Вы, Вера Александровна, брата-то вашего остановите!

— Д-да… Надо подумать с семейной-то жизнью! — согласился и Верховцев. — Всяко бывает…

— Тут не «Крейцерова соната»… Нет, не то… Понимаешь? Сошлись мужчина и женщина… видят, духовный разлад. Расходись, пока молоды, а то друг друга съешь. А то как люди женятся? Ты как женился, Сергей Павлович?

— Да как все. Влюбился в Вареньку, ну и «так и так» по форме.

— А ведь Варенька могла оказаться и не Варенькой.

— То есть как?

— А например, с позволения сказать, Хавроньей.

— Случается.

— И надо бежать?

— Обязательно…

— А вы как думаете, Вера Александровна?..

— И я думаю, что бежать обязательно…

— То-то… обязательно? Но ты влюблен, то есть не любишь как следует, а только физически… Вот и не обязательно! А потом — поздно. И выходит: оба виноваты. Нет! Мужчина более виноват. Он… он. Она барышня глупая, жизни не понимает, убеждений не полагается. Но влюбилась и думает, что ты за ее любовь должен сделаться форменным подлецом, то есть, по ее мнению, хорошим мужем. Ей-то простительно, а мужчина чего смотрит? Чего он смотрит, влюбленная каналья? Ведь жизнь не прогулка по апельсинной роще… Нет, тут не «Соната». Вздор… Ты женщину поставь в уровень с мужчиной… Тогда…

Ордынцев смолк и увидел, что все опустили глаза… Наступило неловкое молчание. Верховцев пробовал было что-то рассказывать, но рассказ не вышел. Скоро он поднялся и стал прощаться.

Встал и Ордынцев, и когда Леонтьев и Верховцев прошли в переднюю, он подошел к Вере Александровне и, крепко пожимая ей руку, проговорил:

— О, если б вы знали, что у меня за жизнь… Если б вы знали!..

— Я знаю теперь…

— Нет, вы не знаете… Но больше я не могу… Нет сил. Я разведусь, а если бы она не захотела, я во всяком случае не буду жить вместе с ними… Одной только Шуры жаль… Ну, прощайте… и простите, что я выпил лишнее…

— Бедный! — промолвила Вера Александровна.

Когда Ордынцев вернулся домой, он несколько времени еще просидел в своем кабинете. Он о чем-то шептал, о чем-то вспоминал, слышал, как жена и дочь вернулись, слышал, как Ольга говорила матери, что Козельский дал слово, что она будет учиться нению, слышал, как мать назвала дочь наглой девчонкой, и, заткнув уши, бросился на оттоманку и заснул тяжелым сном несколько захмелевшего человека.

Глава шестая

I

После «вторника» у Козельских Никодимцев находился в каком-то странном, непривычном для него и в то же время приятном настроении серьезного человека, — неожиданно выбитого из колеи, которая до сих пор была для него единственным и главным смыслом жизни и из которой, казалось ему, он никогда не выйдет.

Колея эта — служебная карьера способного, умного и даровитого чиновника, знающего себе цену, достигшего сравнительно блестящего положения без связей, без протекции, поскольку возможно, избегавшего компромиссов и сумевшего сохранить независимость в среде, где она не только не ценится, а, напротив, считается недостатком.

И в департаменте, где Никодимцев проводил большую часть дня, и дома, в своей маленькой холостой квартире, где он просиживал долгие вечера за работой или за чтением, он часто думал об Инне Николаевне. Эти думы, тревожные и мечтательные, как-то незаметно подкрадывались

в его голову нераздельно с лицом и стройной, красивой фигурой молодой женщины и мешали Никодимцеву заниматься с усидчивостью и с упорством неутомимого работника, на которого наваливали, разумеется, много работы, зная, что Никодимцев с ней справится и сделает ее превосходно.

И что было еще удивительнее, и самая работа теряла в его глазах важность, которую он ей придавал, и все то, чем он жил до сих пор, из-за чего волновался и мучился, казалось ему теперь таким серым, бледным и незначительным без личного счастья, жажду которого в нем пробудила эта очаровательная женщина. Она ему казалась именно той, о которой он мечтал в молодости и вдруг встретил. И, мечтая об Инне Николаевне, Никодимцев впервые почувствовал свою сиротливость и тоску одиночества.

Он не раз отрывался от работы и думал о прошлой жизни. Теперь она ему казалась неполной и скучной. В постоянной работе он точно проглядел молодость, не зная жизни сердца, не испытав ни разу любви к женщине. Когда-то давно было что-то похожее на это, но он заглушил в себе чувство практическими соображениями о невозможности жениться и с тех пор довольствовался

суррогатом любви, покупая ее.

«А теперь поздно… поздно!» — мысленно повторял Никодимцев, сознавая нелепость своих мечтаний о женщине, которую он раз видел, и все-таки мечтал о ней, испытывая неодолимую потребность видеть ее.

«Зачем?» — спрашивал он себя, не смея и думать, что Инна Николаевна может обратить внимание на такого некрасивого и немолодого человека, как он.

И Никодимцев решил не ехать к ней с визитом — и в первое же воскресенье, тщательно занявшись своим туалетом и побывав у парикмахера, поехал на Моховую.

Никодимцев еще из передней услышал шумные голоса и смех и в гостиной увидал несколько молодых людей и какую-то молодую даму, крикливо одетую, довольно вульгарного вида.

Инна Николаевна весело смеялась чему-то, красивая и очаровательная в своем темно-зеленом, отлично сидевшем на ней платье.

Никодимцев подошел к ней, несколько смущенный от сознания, что появление его едва ли приятно, и от неожиданности несколько пестрого общества молодых людей.

Чуть-чуть смутилась и Инна Николаевна при

появлении Никодимцева.

— Вот это мило, что не забыли обещания, Григорий Александрович. Очень рада вас видеть!

И молодая женщина указала на кресло около себя, у которого стоял один из молодых людей, и торопливо и несколько сконфуженно назвала фамилии своих гостей и фамилию Никодимцева.

Тотчас же смолкли шумные разговоры и смех. Все с особенной почтительностью пожимали руку известного в Петербурге чиновника. Молодая дама вульгарного вида не без завистливого чувства взглянула на хозяйку.

Никодимцев присел и, вообще застенчивый, в первую минуту не находил слов.

— Были на итальянской выставке, Григорий Александрович? — спросила Инна Николаевна.

— Нет еще… Говорят, интересная…

— Собираетесь?

— Надо сходить. А вы были?

— Нет еще… Пойду завтра… Около часа, верно, попаду…

— Позволю вам дать совет: идти пораньше, пока еще свет есть в Петербурге.

— Вы что называете пораньше?

— Часов в одиннадцать, в двенадцать!

— Увы!.. Я в эти часы только что встаю…

— Так поздно?..

— Жизнь так нелепо складывается.

— А разве она не зависит немножко от нас самих, Инна Николаевна?

— Не всегда… Если бы все зависело от нас, то…

Инна Николаевна остановилась.

— То что?

— То каждый устраивал бы себе жизнь по своему желанию. И все были бы счастливы!

— Мне кажется, есть люди, которые сами виноваты в своем несчастии…

— Вы не из таких, конечно? Вы, как я слышала, один из тех редких людей, которые выше разных слабостей человеческих. Вы весь в работе и живете одной работой. Это правда, Григорий Александрович?

Никодимцев покраснел.

— Я много работаю, это правда…

— И ничего другого вам не надо? Счастливец!

— Разве потому только, что о другом поздно думать…

— Не поздно, а просто час ваш не пришел…

— А разве придет? — серьезно спросил Никодимцев.

— Придет! — смеясь, проговорила молодая женщина.

«Пришел!» — подумал Никодимцев.

В эту минуту двое молодых людей стали прощаться. Никодимцеву показалось, что Инна Николаевна была довольна, что они уходят.

Оба поцеловали ее руку. Один из них, с грубоватым, пошлым лицом, одетый с крикливым щегольством дурного тона, с крупным брильянтом на мизинце, довольно фамильярна проговорил:

— Так, значит, едем сегодня на тройке, Инна Николаевна?

Этот тон резанул Никодимцева. Покраснела внезапно и молодая женщина.

— Нет, не едем! — ответила она.

— Но ведь только что было решено. Вы хотели?

— А теперь не хочу!

— Инна Николаевна! Сжальтесь! Вы расстраиваете компанию.

— Не просите. Не поеду!

— Инночка, поедемте! Без вас и я не поеду! — воскликнула молодая гостья.

— И никто не поедет! — сказал кто-то.

— Никто, никто! — повторили другие.

— Мне очень жаль, что я лишаю всех удовольствия покататься, но я все-таки не поеду.

— Что это: каприз? — насмешливо сказала молоденькая дама.

— Каприз, если хотите! — ответила Инна Николаевна.

Молодые люди ушли, видимо недовольные и изумленные.

Скоро поднялся и Никодимцев.

— Уже? Так скоро? — кинула любезно хозяйка.

— Пора… Мне нужно еще сделать один визит! — солгал Никодимцев, краснея от этой лжи.

Никуда ему не нужно было. Ему просто тяжело было видеть Инну Николаевну в такой атмосфере и среди таких незначительных и, казалось ему, пошлых лиц.

— И такой же короткий?

— Вероятно.

— И отложить его нельзя?

— Неудобно.

Инна Николаевна пытливо взглянула на Никодимцева и, протягивая ему руку, промолвила:

— И больше вас уже не скоро дождешься. Не правда ли, Григорий Александрович?

В тоне ее шутливого голоса Никодимцев уловил тоскливую нотку.

— Я очень занят, Инна Николаевна… Но…

— Без «но», — перебила молодая женщина. — Если счастливый ветер занесет вас ко мне, я, право, буду рада.

И, поднявшись с дивана, Инна Николаевна любезно проводила гостя до дверей гостиной.

— Мне очень жаль, что сегодня не удалось поговорить с вами, как во вторник… Ведь такая редкость встретить умных людей… Я ими не избалована. Так увидимся… не правда ли? И вам сегодня никакого визита не нужно делать… Вы просто поторопились осудить меня! — неожиданно прибавила она.

Никодимцев смущенно глядел на молодую женщину.

— Разве не правда? — продолжала она.

— Я не осудил, а…

— Что же…

— Удивился, — тихо сказал Никодимцев и вышел.

Он шел по улице, влюбленный в Инну Николаевну и в то же время полный недоумения и жалости. И ему хотелось быть ее другом, бескорыстным и верным, перед которым она открыла бы свою душу. Для него не было сомнения, что она несчастна. И этот ничтожный муж, и эти ничтожные молодые люди, которых он только что видел, и эта фамильярность, с которою обращались с ней, подтверждали его заключение. Он испытывал чувство ревнивого негодования,

и перед ним, совсем не знавшим женщин, Инна Николаевна являлась в образе какой-то богини, попавшей в среду пошлости и не знающей, как из нее выбраться. О, с каким восторгом сделался бы он ее рыцарем!

Так мечтал Никодимцев, и когда у Донона встретился с одним своим коллегой, который конфиденциально повел речь о том, что Григория Александровича на днях назначат товарищем министра, Никодимцев так равнодушно отнесся к этому сообщению, что коллега удивленно на него взглянул и решил, что Никодимцев необыкновенно лукавый и скрытный человек.

А будущий товарищ министра, вернувшись домой, вместо того чтобы приняться за дела, ходил взад и вперед по кабинету, думая об Инне Николаевне и о завтрашней встрече с ней и припоминал ее слова, взгляды, лицо, голос и ни о чем другом не мог и не хотел думать.

Только поздно вечером он сел за свой большой письменный стол, заваленный книгами, брошюрами и делами в папках, достал из туго набитого портфеля кипу бумаг и принялся за работу, прихлебывая по временам чай.

В числе бумаг, которые рассматривал сегодня Никодимцев, была и объемистая объяснительная

записка об учреждении акционерного общества для эксплуатации на особых монопольных условиях казенных лесов. В этом деле негласное участие принимал Козельский. Он написал записку и возлагал на это дело большие надежды, тем более что в числе участников были два лица, хотя и не денежные, но очень влиятельные, заручившиеся уже обещаниями и, казалось, весьма ценными, о том, что дело это пройдет.

Никодимцев прочел на записке надпись, сделанную карандашом: «Прошу скорее рассмотреть и дать заключение», и стал читать записку, делая на полях ее отметки красным карандашом; чем дальше он ее читал, тем красный карандаш энергичнее и чаще гулял по полям, лицо Никодимцева делалось серьезнее и строже, и в темных острых глазах появлялось по временам негодующее выражение. И когда наконец он окончил чтение и увидел между подписями нескольких известных коммерческих тузов две титулованные фамилии, его губы сложились в насмешливо-презрительную улыбку.

— Хороши эти Рюриковичи! — произнес он.

И вслед за тем написал на записочке своим твердым и четким почерком длинное заключение, в котором на основании данных и цифр

вполне доказывал, что устройство акционерного общества на особых условиях вредно для казны, грозит полным истреблением лесов и имеет целью не государственные интересы, «как часто упоминается в записке», а исключительно личные интересы господ учредителей, «беззастенчивость которых в этом деле воистину изумительна».

И с удовлетворенным чувством порядочного человека, сознающего, что помешал дурному делу, Никодимцев подписал свою фамилию, положил записку в портфель и принялся за другие бумаги.

Старый слуга Егор Иванович, живший со своей женой, кухаркой, у Никодимцева десять лет, поставил на стол уж четвертый стакан чая и спросил:

— Будете еще пить, Григорий Александрович?

— Не буду, Егор Иваныч.

— Так я спать пошел.

— Идите.

— А вы не очень-то занимайтесь. Нездорово! — по, обыкновению, сказал Егор Иванович. — Дел-то всех не переделаешь! — прибавил он и остановился у дверей.

— Я лягу сегодня пораньше.

— Вы только обещаете, а смотришь, до утра

сидите, а в десять часов уже на службу. Так и не досыпаете, Это какая же жизнь?

— Жизнь невеселая, Егор Иваныч.

— Сами такую себе устроили. И все одни да одни.

— Да… Один! — уныло протянул Никодимцев, и перед ним мелькнул образ Инны Николаевны.

— А вы бы женились. Вот и не одни были бы.

Никодимцев усмехнулся.

— Поздно, Егор Иваныч.

— И вовсе не поздно… Вы очень скромно о себе понимаете… Да за вас лучшая невеста пойдет. Слава богу, место какое… и генералы.

— Так, значит, не за меня, а за генерала пойдет…

— Вот вы всегда что-нибудь такое скажете подозрительное… Покойной ночи, Григорий Александрович!

— Покойной ночи.

— В котором завтра будить?

— В девять.

— Слушаю-с.

Слуга вышел, но тотчас вернулся.

— Виноват. Забыл карточки подать, что оставили сегодня гости! — сказал Егор Иванович. И, положив на стол несколько карточек, прибавил:

— А граф Изнарский все дознавались, когда вас можно застать дома по делу.

Никодимцев не знал графа Изнарского и понял, что это был один из учредителей, подписавший только что рассмотренную записку.

— Что ж вы ему сказали? — спросил он.

— Обыкновенно, что. Генерал, мол, по делам дома у себя не принимает. Пожалуйте в департамент. Однако граф настаивали и десять рублей предлагали. Ну, я вежливо отклонил и сказал, что мы этим не занимаемся.

— А он?

— Завтра хотели приехать. Как прикажете?

— Конечно, не принимать!

Егор Иванович ушел.

Никодимцев просмотрел с десяток карточек, в числе которых была и карточка Козельского, и погрузился в бумаги.

II

На другой день, в час без четверти, Никодимцев обходил залы выставки, но на картины не смотрел, а искал среди посетителей Инну Николаевну. Он поднялся наверх — нет ее и там. Тогда Никодимцев спустился в первую залу и присел на скамейке около входных дверей, взглядывая

на приходящих посетителей.

Он взглянул на часы. Было четверть второго, а Инна Николаевна не появлялась.

«Верно, не приедет!» — подумал он.

И при этой мысли сердце его сжалось тоской, и его оживленное ожиданием лицо омрачилось. И светлая зала показалась ему вдруг мрачною. И публика — тоскливою. И картины точно подернулись флером.

А он-то, дурак, спешил! Даже из департамента уехал в первом часу, не дослушав, к изумлению вице-директора, его доклада и поручив ему председательствовать за себя в одной из комиссий, заседание которой назначено в два часа. И, заметив почтительно-изумленный взгляд вице-директора, не без досады подумал:

«Изумляется… Точно я не могу уехать… Точно у меня не может быть своих дел! И как бы он ошалел, если б узнал, какие эго дела».

И, принимая серьезный вид, торопливо проговорил:

— Быть может, я попозже приеду… Тогда вы окончите доклад. Надеюсь, ничего экстренного?

— Ничего, ваше превосходительство.

— А если министр потребует меня — скажите, что в пять часов буду. И если спросит о записке, в

которой хотят истребить казенный лес, — подайте ее министру. Там написано мое заключение… До свидания.

И директор департамента, словно школьник, вырвавшийся на свободу, торопливо вышел из своего внушительного кабинета, почти бегом спустился с лестницы, встретил такой же изумленный взгляд и в глазах швейцара и, выйдя на подъезд, кликнул извозчика и велел как можно скорее ехать домой. Там он тоже поразил Егора Ивановича и своим появлением, и приказом скорее подать черный сюртук, и торопливостью, с которой он одевался, и заботливостью, с которой он расчесывал свою черную бороду и приглаживал усы…

— Уж не предложенье ли делать собрались, Григорий Александрович? — заметил, улыбаясь, Егор Иванович.

Никодимцев весело рассмеялся, и, приказав подать шубу, почти бегом пустился с лестницы, и всю дорогу до выставки торопил извозчика, и по приезде дал ему целый рубль.

* * *

«Не приедет, не приедет!» — грустно повторил про себя Никодимцев и направился к выходу на

площадку, где расставлены были скульптурные произведения.

Несколько минут он смотрел на лестницу. Инны Николаевны не было.

Никодимцев потерял всякую надежду и, грустный, стал рассматривать скульптурные произведения. «Спящий ребенок» заинтересовал его, и он засмотрелся на изящную художественную работу.

И как раз в ту минуту, когда Никодимцев не думал об Инне Николаевне, около него раздались тихие шаги по мраморному полу и потянуло ароматом духов.

Никодимцев повернул голову и увидал ту, которую ждал.

Он вспыхнул от радостного волнения и низко поклонился. Она протянула ему руку, веселая, улыбающаяся и очаровательная в своей изящной шляпке.

— И вы соблазнились выставкой. Давно здесь?

— Около получаса.

— И все еще скульптуру смотрите? До картин еще не дошли? — с едва уловимой насмешливой ноткой в голосе спрашивала Инна Николаевна.

— Не дошел.

— Так, быть может, посмотрим картины вме-

сте? Вы, конечно, знаток в живописи, а я мало в ней понимаю.

Никодимцев снова покраснел, когда выразил свое согласие. Но он скромно прибавил, что далеко не знаток, хотя и любит живопись, и предложил Инне Николаевне начать осмотр с мрамора.

— А вам разве не надоест еще раз смотреть?

— Нисколько!

Его просветлевшее радостное лицо и без слов говорило Инне Николаевне о том, как рад он быть вместе с нею. И эта новая победа доставляла ей не одно только тщеславное удовольствие женщины, избалованной поклонниками. Она чувствовала, что Никодимцев серьезно ею увлечен, и это сознание было ей приятно.

И Инна Николаевна сказала ему:

— А ведь я очень рада, что встретила вас здесь так неожиданно! — с лукавым кокетством прибавила она.

— А как я рад, если б вы знали! — горячо воскликнул Никодимцев. — Ведь я пришел на выставку, чтоб вас увидать! — неожиданно прибавил он и смутился, сам удивленный тому, что сказал.

— И вас не остановил вчерашний визит?..

— Напротив…

— Ну, вот мы и обменялись признаниями в симпатии друг к другу… Теперь показывайте мне выставку, Григорий Александрович!

Они начали осмотр. Никодимцев, счастливый и радостный, забывший про свой департамент, обращал внимание своей спутницы на то, что казалось ему хорошим, и объяснял, почему это хорошо. У некоторых картин они стояли подолгу, и Никодимцев с удовольствием заметил, что у Инны Николаевны есть художественный вкус и понимание красоты.

Одна небольшая, хорошо написанная картина, представлявшая собой молодую, красивую женщину и молодого мужчину, сидящих на террасе, видимо чужих друг другу и скучающих, обратила особенное внимание Инны Николаевны. Она спросила своего спутника, как называется эта картина.

— «Супруги»! — отвечал Никодимцев, заглянув в каталог.

— Я так и думала!.. Взгляните, как обоим им скучно, а они все-таки сидят вдвоем… Зачем?

И Никодимцев заметил, как омрачилось лицо молодой женщины и какое грустное выражение было в ее глазах.

— Зачем? — повторила она. — Как вы думаете, Григорий Александрович? А впрочем, что ж я вас спрашиваю? Вы, вероятно, не могли бы быть в положении этого мужа… У вас ведь взгляд на брак другой… Я помню, что вы говорили…

— Но одинаково можно спросить: зачем и она сидит? — взволнованно сказал Никодимцев.

— Уйти? Как это легко говорится и пишется в романах. А может быть, ей нельзя уйти.

— Почему?

— А потому, что некуда уйти… Быть может, отец и мать этой итальянки обвинили бы дочь, что она ушла из такой виллы… И они правы, с своей буржуазной точки зрения.

— Но разве…

— Знаю, что вы хотите сказать! — перебила Инна Николаевна. — Вы хотите сказать, что лучше идти в продавщицы, чем жить с нелюбимым человеком… Не правда ли?

— Правда.

— А может быть, она уж так испорчена жизнью…

— Не может этого быть! — в свою очередь порывисто перебил Никодимцев. — Вы клевещете на эту женщину… Посмотрите: какие у нее глаза…

Инна Николаевна горько усмехнулась. Между

бровями появилась морщинка.

— А посмотрите, какой у ней бесхарактерный рот… какая ленивая поза!.. Она, наверное, безвольная женщина, готовая от скуки не быть особенно разборчивой в погоне за впечатлениями… А эта терраса с вьющимся виноградом и морем под ногами так хороша! Быть может, эта женщина ни на что не способна, изверилась в себя и так привыкла к удобствам и блеску жизни, что никуда не уйдет и все более и более будет вязнуть в болоте… И, пожалуй, уйти ей — значит совсем погибнуть… Кто знает? А может быть, у нее есть дети, которые мешают уйти, если муж не отдаст детей… И все это вместе… И мало ли что может быть! Это канва, по которой можно вышивать какие угодно— узоры…

Никодимцев слушал, затаив дыхание.

— И знаете ли, какой я вопрос себе задаю, глядя на эту картину? — продолжала она возбужденным прерывистым шепотом.

— Какой?

— Зачем эта женщина вышла замуж за человека, с которым, вероятно, стала скучать тотчас же после замужества… Да, верно, и невестой скучала…

— Вы думаете? — почему-то радостно спросил

Никодимцев.

— Уверена… По крайней мере так должно быть, судя по лицам этих супругов… У нее все-таки неглупое и не пошлое лицо… Есть что-то в нем такое, напоминающее об образе божием… Она, быть может, и смутно, но задумывается иногда не об одних только шляпках… А он? Что за красивое и в то же время пошло-самодовольное и грубое лицо… Я не выношу таких лиц!

«И, однако, вчера только такие и были!» — невольно вспомнилось Никодимцеву.

— Так почему же, по вашему мнению, она вышла за такого человека замуж?

— А как выходят часто замуж! Немножко иллюзии, немножко жалости к влюбленному человеку, немножко желания быть дамой и много… много легкомыслия. И вдобавок полное непонимание изнанки брака… Однако… мы зафилософствовались… Если у каждой картины мы так долго будем болтать, то не скоро осмотрим выставку…

Они пошли дальше…

— Вы не устали ли? — заботливо спросил Никодимцев после того, как были осмотрены все нижние залы.

— Ужасно!

— Так что ж вы не сказали? Присядемте ско-

рее…

— Но я боюсь вас задержать… И то я вас задержала, а вам, верно, нужно на службу… Вы, говорят, образцовый служака…

— Да, говорят… Но… Вот диван свободный… Садитесь, Инна Николаевна.

Они сели.

— Так какое «но»? — спросила Инна Николаевна.

— Мне хоть и надо на службу, а я сегодня не поеду.

— И не будете раскаиваться потом?

— Я раскаивался бы, если б не был сегодня на выставке…

— И вы мастер говорить любезности, Григорий Александрович?.. Это нехорошо. Я в самом деле возгоржусь и подумаю, что вам со мною не скучно болтать.

— Я очень редко лгу, Инна Николаевна! — серьезно промолвил Никодимцев.

Несколько минут оба молчали. Инна Николаевна с любопытством взглядывала на Никодимцева и не раз перехватывала его восторженные взгляды.

— Я отдохнула. Идемте! — наконец сказала она.

Они осматривали залы верхнего этажа и, останавливаясь у картин, обменивались впечатлениями. Инна Николаевна не раз удивляла Никодимцева своими тонкими замечаниями, и он снова подумал, как такая умная женщина могла принимать таких молодых людей, каких он видел у нее.

И он спросил:

— А вы вчера так и не поехали на тройке?

— Нет! — слегка краснея, отвечала молодая женщина. — Надоели эти компании… И публика, которую вы вчера видели, не особенно интересна… Это все товарищи мужа. Но, знаете ли, нельзя быть очень разборчивой в знакомствах… Иначе останешься совсем без людей! — словно бы оправдывалась молодая женщина. — А вы, говорят, совсем отшельником живете?

— Почти.

— И не скучаете?

— Не скучал.

— А теперь?

— Иногда чувствую свое одиночество…

— Так, значит, я ошибаюсь, считая вас счастливым человеком?

— Счастливых людей вообще мало, Инна Николаевна!

— Быть может, вы очень требовательны… Все или ничего?

— Пожалуй, что так. А вернее, что я проглядел жизнь…

— Лучше проглядеть, чем испортить и себе и другим! — раздумчиво проговорила Инна Николаевна.

Было около пяти, когда они уходили с выставки.

— Спасибо вам, Григорий Александрович! — горячо проговорила Инна Николаевна.

— За что? — смущенно спросил Никодимцев.

— А за то, что я видела выставку… Прежде я бывала на выставках и не видала их. Вы научили меня смотреть картины.

Сияющий от радости, Никодимцев проговорил, подавая Инне Николаевне ротонду:

— Благодарить должен я, а не вы, Инна Николаевна… Я обрел понимающего товарища.

Они вышли на подъезд. Никодимцев кликнул извозчика.

— Надеюсь, до свидания и до скорого? — сказала молодая женщина, протягивая ему руку.

— Если позволите…

— Охотно позволю! — просто и без всякого кокетства говорила Инна Николаевна. — И когда

соскучитесь в своем одиночестве и захотите поболтать — приезжайте. Около восьми вечера вы застанете меня всегда дома… Быть может, и завтра увидимся… На «вторнике» у папы?

Никодимцев сказал, что непременно будет. Он усадил Инну Николаевну в сани и еще раз низко поклонился.

Ехал он в департамент, чувствуя себя счастливым при мысли, что Инна Николаевна отнеслась к нему дружелюбно и что он завтра ее увидит.

И солидный департаментский курьер и солидный вице-директор были несколько удивлены, когда увидали обыкновенно сдержанного и серьезного директора оживленным, веселым и словно бы помолодевшим, и решили, что его превосходительство получил новое блестящее назначение.

— А министр требовал лесную записку, Григорий Александрович! — доложил вице-директор.

— Требовал? И что же? Согласился с моим заключением?

— Просил вас завтра быть у него и записку оставил у себя.

— Верно, дополнительные сведения нужны, — с едва заметной улыбкой заметил Никодимцев и стал слушать неоконченный доклад вице-дирек-

тора несколько рассеянно.

III

На следующий вечер Никодимцев был на «фиксе» у Козельских, и снова Инна Николаевна играла в винт и за ужином Никодимцев сидел около нее и оживленно беседовал. А через несколько дней поехал к ней вечером, просидел с ней вдвоем до первого часа и, вернулся совсем очарованный ею и еще более убежденный, что она глубоко несчастный человек. Хотя она ни единым словом не обмолвилась об этом, но это чувствовалось, и аллегорический разговор на выставке многое уяснял.

С этого вечера Никодимцев влюблялся все больше и больше. Это была его первая любовь, и он отдался весь ее власти, хорошо сознавая, что любовь его безнадежна, и даже в мечтах не осмеливался надеяться на взаимность. Он любил, любил со всей силой поздней страсти и, разумеется, идеализировал любимое существо, представляя себе его далеко не тем, чем оно было в действительности.

И Никодимцев, доселе живший схимником, стал выезжать, ища встречи с Инной Николаевной. Раз в неделю он бывал у нее и посещал

театры и концерты, если только надеялся ее встретить.

Он держал себя с рыцарской корректностью, тщательно скрывая под видом исключительно дружеского расположения свою любовь, но для Инны Николаевны она, разумеется, не была секретом. Она чувствовала эту любовь, почтительно-сдержанную, благоговейную, и ее грело это чувство, грело и словно бы возвышало ее в собственных глазах, которые привыкли видеть раньше совсем иную любовь. В то же время молодая женщина сознавала себя словно бы виноватой, понимая, что он любит ее не такую, какая она есть и которую он не знает, а другую, выдуманную и взлелеянную его чувством. Она перехватывала порой жгучие взгляды Никодимцева, видела, как он бледнел от ревности, и удивлялась упорству его молчаливой, застенчивой привязанности.

Мужа Никодимцев почти никогда не видал. Тот обыкновенно исчезал куда-то при появлении Никодимцева, ревнуя его и в то же время имея расчеты воспользоваться им при случае. «А жена все-таки будет иметь друзей, — так уж лучше Никодимцев, чем кто-нибудь другой».

И муж сам везде рассказывал, что Никодимцев

часто у них бывает, очень дружен с ним и ухаживает за женой.

Не прошло и месяца после знакомства Никодимцева, как уж многие считали его любовником Инны Николаевны. Муж не раз об этом намекал жене и выходил из себя на то, что она не понимала этих намеков и относилась к нему с нескрываемым презрением.

Не сомневался в близости Никодимцева с дочерью и отец и тоже надеялся «учесть» эти отношения на каком-нибудь новом деле после того, как «лесное» провалилось и кредиторы стали осаждать Козельского.

Глава седьмая

I

Ордынцева вернулась домой после интимного свидания с Козельским около пяти часов.

Анна Павловна была не по-дамски аккуратна и деловита и никогда не опаздывала. Ровно в три часа, нарядно одетая, подъехала она к небольшому дому на Выборгской стороне и под густой вуалью поднялась на третий этаж и открыла своим ключом двери роскошно отделанной маленькой квартирки, состоящей из спальни, уборной и кухни. В последней жила старая немка, на имя которой была нанята квартира. На ее обязанности была уборка комнат и исчезновение в те дни, когда ее извещали о приезде.

Связь Анны Павловны с Козельским продолжалась уже два года и сохранялась в тайне. Виделись они аккуратно два раза в неделю и не надоедали друг другу ни сценами ревности, ни разговорами о чувствах. Они не обманывали себя и за эти два года привыкли один к другому. Ордынцева видела в своем любовнике главным образом подспорье, благодаря которому можно

было хорошо одеваться и бывать в театрах, и, чужая мужу, охотно отдавалась ласкам все еще красивого и бодрого Николая Ивановича, всегда внимательного, милого, любезного и изящного, владеющего каким-то особенным даром нравиться женщинам.

И Ордынцева была ему верна, как прежде была верна и мужу, слишком благоразумная, чтобы рисковать подспорьем, и слишком дорожившая семьей, чтоб увлечься по-настоящему или чтобы роскошью афишировать свои авантюры. Поэтому она не искала богатых любовников, боясь скандала и огласки. А этого она боялась больше всего, так как очень дорожила своей репутацией безупречной жены, отличной матери и в некотором роде страдалицы, с достоинством несущей крест свой.

И до связи с Козельским, начавшейся после далеко не долгих ухаживаний, у Анны Павловны была еще такая же «деловитая» авантюра, вызванная скорее влиянием темперамента и практическими соображениями, чем потребностями сердца и духовного общения. И тогда Ордынцева сумела сохранить свою дружбу с одним из сослуживцев мужа втайне и объяснить изящество своих туалетов уменьем дешево оде-

ваться у какой-то особенной портнихи и вообще жить экономно.

В свою очередь и такой женолюб, как Козельский, очень дорожил дружбою с Анной Павловной.

Она была красива, роскошно сложена, довольно свежа для своих сорока лет. И, главное, она не играла в любовь, хорошо понимая сущность их отношений, не делала трагических сцен ревности, не требовала клятв и уверений, а приезжала два раза в неделю на Выборгскую сторону, поила своего приятеля чаем, рассказывала сплетни и через два часа торопилась домой к обеду. Вдобавок она стоила Козельскому относительно недорого и с деликатною редкостью предупреждала о том, что ей нужно «поговорить», то есть попросить экстренно денег. Всегда ровная, всегда умелая очаровательница, никогда не показывавшая на людях своей дружбы с Козельским и даже умевшая быть в хороших отношениях с его женой, — Анна Павловна была не в духе и даже начинала придираться к своему другу только в тех случаях, когда Николай Иванович забывал двадцатого числа привозить пакет с двумястами пятьюдесятью рублями. И, зная эту привычку Анны Павловны к аккуратности, Козельский,

несмотря на все свое легкомыслие, очень редко запаздывал.

Ордынцева вернулась домой после свидания несколько тревожная, несмотря на то, что Козельский не только любезно предложил ей сто рублей, о которых она хотела поговорить, но, кроме того, еще дал двадцать пять рублей на уроки пения, обещая давать эти деньги ежемесячно, чтобы культивировать талант Ольги. Встревожило Анну Павловну сообщение Козельского о том, что Ольга догадывается об их отношениях.

Ордынцева тотчас же переоделась и, несколько утомленная, прилегла на оттоманке в спальной.

Но Ольга словно нарочно влетела к матери и, пытливо всматриваясь в ее блестящие глаза, повела речь об уроках пения и о том, что ей нужно новое платье, нужны новые ботинки и необходимо починить шубку.

— Ты попроси папу, чтоб он дал денег! — настойчиво говорила Ольга. — Попросишь?

— Попрошу.

— И платье мне сделаешь?

— Сделаю.

— И ботинки купишь?

— Куплю.

Анна Павловна чувствовала, что краснеет.

— Ну, вот за это спасибо, мамочка!

Ольга поцеловала мать и воскликнула:

— И как же ты надушена, мама… И лицо и шея… И какие чудные духи! Ты, верно, с визитами была?

— Да, с визитами, — ответила Ордынцева.

И заискивающим тоном прибавила:

— И в оперу на днях поедем, Оля.

— Кто даст ложу?.. Николай Иванович?

— С какой стати ему давать!.. С чего это пришло тебе в голову? — с раздражением воскликнула Анна Павловна.

— Да ты что сердишься, мамочка?.. Николай Иванович так расположен к нашей семье… Отчего ему и не дать ложи! — с невинным видом проговорила Ольга.

И, помолчав, сказала:

— Перчатки надо мне, мамочка… Ты купи…

— Хорошо.

— А ложа в каком ярусе будет?

— Мы в кресла пойдем…

Ольга выпорхнула из спальной веселая и довольная, что будет учиться петь, что у нее будет новое платье, и уверенная в том, что мать только что виделась с Козельским.

Анна Павловна в свою очередь не сомнева-

лась больше, что Ольга обо всем догадывается, и думала, что хорошо было бы ей скорее выйти замуж. Чего она, в самом деле, не женит на себе Уздечкина. Не на Гобзина же ей рассчитывать!

Пробило пять часов. Горничная вошла и спросила, можно ли подавать обед?

— Подождите барина.

Через пять минут раздался звонок, но вместо барина явился посыльный и передал карточку Ордынцева, на которой было написано: «Обедать не буду».

Анна Павловна велела подавать и, выйдя в столовую, где уже собрались все дети, объявила о записке отца и села на свое место, принимая серьезный и несколько обиженный вид…

Все отнеслись равнодушно к тому, что отца нет. Только Шурочка грустно и словно бы недоумевая посмотрела на мать.

II

Ордынцев и не ночевал дома.

«Верно, где-нибудь пьянствовал с литераторами!» — решила Анна Павловна, презрительно скашивая губы, когда на другой день утром горничная, на вопрос барыни: «Ушел ли барин?» — ответила, что барин не возвращался.

Ордынцева сидела в столовой свежая, холеная, благоухающая и красивая в своем синем фланелевом капоте и аппетитно отхлебывала из хорошенькой чашки кофе, заедая его поджаренным в масле ломтем белого хлеба. В столовой никого не было. Старший сын ушел в университет. Младшие дети — в гимназию. Ольга, по обыкновению, еще спала.

Ордынцева не без злорадного удовольствия подумала о том «виноватом» виде, какой будет у мужа за обедом, когда она при детях выразит удивление, что он не ночевал дома.

«Нечего сказать, хороший пример детям!» Она не забыла вчерашней сцены, и сердце ее было полно злобного чувства к мужу, который смел так оскорблять ее, вместо того чтобы чувствовать свою вину перед ней и загладить ее хоть приличным обращением. Он уж давно не скрывает своего равнодушия и пренебрежительно относится к ней, думала со злостью Ордынцева и уже заранее приискивала язвительные слова, которые она скажет ему за обедом, довольная, что есть такой благодарный предлог…

И с таким эгоистом прошла ее молодость. И такому неблагодарному человеку она отдала свою красоту!

И она злобно жалела, что не жила так, как могла бы жить, если б раньше оставила мужа и вышла бы замуж за более порядочного человека, который умел бы добывать средства для такой красавицы, как она. Если и теперь, когда красота увядает, она еще очень нравится мужчинам, то что было бы раньше?

И Анна Павловна не без горделивого чувства вспомнила, как восхищались ею мужчины и как еще и теперь Козельский приходит от нее в восторг.

Эти воспоминания о своих чарах несколько отвлекли Ордынцеву от злобных мыслей о муже, и она выпила вторую чашку кофе в более приятном настроении и затем, сделав хозяйственные распоряжения, в двенадцатом часу пошла будить Ольгу, чтобы обрадовать ее предложением — ехать в Гостиный двор.

И мать при этом с осторожной предусмотрительностью объясняла дочери, что деньги на покупку платья, ботинок и перчаток она возьмет из «хозяйственных», а когда отец даст, она пополнит.

— Мне хочется поскорее сделать тебе платье! — прибавила она, желая задобрить дочь и придумав эту комбинацию о деньгах для того, чтобы Ольга

не могла и подумать, что мать дарит свою любовь не совсем бескорыстно.

Но Ольга, которой было решительно все равно, какими деньгами будет удовлетворено ее желание, благодаря этим объяснениям именно и подумала о том, чего так боялась мать, и не нашла в этом ничего предосудительного.

«Отчего не взять от того, кто любит!» — пробежало в ее легкомысленной головке.

После завтрака они уехали, и когда в пятом часу вернулись, в передней их встретила Шурочка в слезах и гимназист Сережа, растерянный и недоумевающий.

— Что еще случилось? — спросила Анна Павловна у горничной.

— Барин…

— Что барин?

— Папа… папа… — хотела было рассказать девочка и… зарыдала.

— Вот… глупая… Да что же наконец случилось?.. Говорите!..

Голос ее звучал тревогой.

— Барин были во втором часу и увезли все свои вещи из кабинета! — доложила горничная.

— Что-о-о?

— Вот так новость! Папа бросил тебя и нас,

мама! — воскликнула Ольга. — Как же мы будем жить?!

Анна Павловна, казалось, не верила своим ушам.

Наконец она бросилась в кабинет.

Там было пусто.

Ольга почувствовала себя несчастной и заплакала. Шурочка убежала, рыдая. Гимназист глядел на мать злыми и любопытными глазами.

Побледневшая, с выражением тупого испуга в глазах, глядела она на пустые стены, и в голове ее пробегала мысль, что муж узнал об ее связи с Козельским и воспользовался этим предлогом, чтобы бросить ее.

«Скандал!» — мысленно повторяла она страшное ей слово и вздрагивала, точно ей было холодно.

— Барин записку оставили! — доложила горничная. — В спальной.

Гимназист полетел стремглав за запиской.

Ордынцева нетерпеливо вырвала из рук сына письмо и прошла в спальную.

— Оставьте меня одну! — трагическим тоном произнесла она. — Оля, Сережа, уйдите!

Сережа вышел, а Ольга, сгоравшая любопытством, проговорила сквозь слезы:

— Но, мамочка… Я не чужая… Я хочу знать, отчего папа нас бросил…

И она подозрительно взглянула на мать.

— Уйди вон! — внезапно разразилась мать. — Уйди, злая девчонка!

Анна Павловна заперла двери на ключ.

Записка Ордынцева была следующего содержания:

«И вам и мне удобнее жить врозь, чтобы не могли повторяться постыдные сцены, подобные вчерашней. Мы слишком ожесточены друг против друга, и, разумеется, я виноват, что раньше не сделал того, что делаю теперь. Виноват и в том, что бывал несдержан и резок. Но к чему объясняться, почему мы оба были не особенно счастливы! Поздно! Нечего и говорить, что я охотно соглашусь на развод и, разумеется, вину приму на себя. На содержание ваше и семьи вы будете получать то же, что и получали, то есть триста рублей в месяц. Кроме того, я буду давать Алексею и Ольге по двадцати пяти рублей в месяц на их личные расходы. Деньги будете получать двадцатого числа. На дачу я буду давать двести пятьдесят рублей. В случае прибавки жалованья увеличится и сумма на содержание семьи. Надеюсь, что вы не будете препятствовать Шуре

и другим моим детям навещать меня, если они захотят. Бессрочный вид на жительство доставлю на днях. Об адресе своем сообщу, как найму комнату, а пока я живу у Верховцева».

У Анны Павловны отлегло от сердца. Страх исчез с ее лица. Оно теперь дышало ненавистью.

Так поступить с ней, так отплатить ей, которая всем для него пожертвовала, бросить ее и семью, устроить скандал… Как осмелился он это сделать?!

— О, подлец! — воскликнула она.

И, полная чувства унижения, оскорбленного самолюбия и злобы, заплакала.

Через несколько минут она вышла в столовую с видом невинно оскорбленной страдалицы.

Алексей, только что вернувшийся домой, и Ольга вопросительно взглянули на мать.

— Бедные! Вас бросил отец! — трагически произнесла Анна Павловна.

И, передавая первенцу письмо, проговорила:

— Прочти!

Алексей внимательно прочел записку. Потом прочла и Ольга, и лицо ее просветлело.

Анна Павловна ждала, что скажет ее любимец. Но он молчал, по-видимому вполне равнодушный. Это ее обидело, и она проговорила:

— Ты что же, Леша… одобряешь поступок отца? Ведь это ужасно… не правда ли?

Молодой студент снисходительно улыбнулся и медленно проговорил:

— Что же, собственно говоря, тут ужасного, мама?.. Теперь по крайней мере за обедом не будет сцен… Ты позволишь подавать обед? Ужасно есть хочется…

Анна Павловна заплакала.

— И больше ты ничего не скажешь?.. Ничего не посоветуешь? Отец бросил семью, предлагает развод… По твоему мнению, согласиться и на это?..

— Об этом мы, мама, поговорим после обеда… И ты напрасно волнуешься!

— И папа поступил благородно, — заметила Ольга. — Он тебе будет давать столько же, сколько и давал… И, конечно, ты исполнишь свое обещание насчет уроков пения… Из этих денег можно отделить рублей двадцать пять… Правда, мама?..

Пришли Сережа и Шура, и разговор прекратился.

Обед прошел в молчании.

После обеда Алексей и Ольга пошли вслед за матерью в спальню на семейное совещание. И, когда все уселись, Алексей сказал:

— Папа поступил вполне корректно.

— Корректно… бросить семью? — негодующим тоном спросила Ордынцева.

— Позволь мне договорить, мама, и не волнуйся… Я не хочу обвинять ни тебя, ни отца, но ведь не можешь же ты не согласиться, что жизнь твоя с отцом далеко не походила на семейное счастие… Вы при встречах только упрекали друг друга, полные взаимного раздражения. Не особенно теплые отношения к отцу были и с нашей стороны. Он не видел в нас того, что хотел видеть, — повторения себя, забывая, что каждому времени соответствуют свои задачи и свои люди и что я не могу ни думать, как он, ни верить в то, во что верил он. Ты ведь знаешь, мы с отцом не сходились во взглядах. И я знаю, что он за это нехорошо относился ко мне и, вместо того чтобы убеждать меня, только бранился. Согласись, что такие отношения не могли способствовать взаимной приязни. Ольга тоже не была ласкова с отцом, отчасти благодаря твоему влиянию и твоим вечным спорам с ним, и разумеется, и она не оправдала его ожиданий. Ольга ищет в жизни наслаждений, и ничего другого ни по складу своего ума, ни по темпераменту искать не может и не будет. Отец в качестве идеалиста считает

это безнравственным, не принимая в расчет условий, при которых образуется тот или другой тип, и забывая, что невозможно требовать, чтобы люди добровольно отрешались от тех благ жизни, которые доставляют им наибольшую сумму удовольствий… Сережа совсем не знает отца… Одна только Шура любит его… Так отчего же, после этого, папе не оставить нас и жить по крайней мере спокойнее, не имея перед глазами лиц, которые ему кажутся несимпатичными?.. И всем нам, исключая Шуры, будет удобнее жить без отца… И ничего тут нет обидного ни для кого, и я не могу не уважать его… Он поступил и разумно и корректно! — заключил Алексей, взглядывая на своих слушательниц с некоторым высокомерным сомнением в способности их хорошо понять то, что он им объяснял, и притом так красиво.

Действительно, Анна Павловна обиделась. Ей хотелось, чтобы сын вместе с нею признал, что отец поступил подло, а любимец ее говорит о разумности и корректности.

— И ты, Леша, против матери?.. И ты обвиняешь меня? — упрекнула она.

— И не думал, мама… Я никого никогда не обвиняю. Заметь это раз навсегда.

— Но ты находишь, что так подло поступить,

как поступил отец… бросить семью… разумно и корректно?.. Не ожидала я этого от тебя..

И Анна Павловна вместо дальнейших доводов поступила так, как обыкновенно поступают женщины, то есть заплакала.

Сын снисходительно пожал плечами, словно бы говоря: «Так я и знал!»

Обиделась и Ольга и объявила, что она не безнравственная и не ищет только наслаждений. Она поступит на сцену и будет певицей… Она не боится работать.

— Вот ты так безнравственный… Влюбил в себя Женю Борскую. Проповедовал ей разные свои теории, представлялся влюбленным и, когда она влюбилась в тебя… отвернулся… Вот это безнравственно.

— Ты, Ольга, настолько несообразительна, что не понимаешь то, о чем берешься судить.

— Ты воображаешь, что очень умен… Разве я неправду говорю о Жене? Как ты с ней поступил?

— Я не прикидывался влюбленным и вообще не умею влюбляться… Пусть влюбляются разные идиоты и идиотки, которым нечего делать… Твоя дура Женя должна была бы понять, что если я имел глупость говорить с ней о серьезных предметах, то из этого не следует, что я, как ты го-

воришь, влюблял ее в себя… И что за выражение: «влюбил в себя»?

Молодой человек презрительно перекосил губы и, не удостоивая больше Ольгу своим разговором, обратился к матери и произнес:

— Теперь, мама, поговорим о практических последствиях свершившегося факта… Ты, конечно, развода не дашь? Замуж выйти еще раз не собираешься?

— Ты глупости спрашиваешь, Леша! — ответила, краснея, Анна Павловна.

— Отчего глупости?.. Ты хорошо сохранилась и еще нравишься, — продолжал Алексей деловитым тоном. — Так если не собираешься, то нет никакого резона разводиться, чтобы и отец не сделал глупости ради каких-нибудь альтруистических побуждений и таким образом не имел бы возможности исполнить свои обязательства относительно тебя и семьи.

Анна Павловна уже не плакала и с жадным вниманием слушала сына.

— Конечно, конечно… Никогда я не дам ему развода… А то в самом деле какая-нибудь смазливая женщина женит его на себе…

— Но папа и так, без брака, может сойтись с кем-нибудь, и тогда выйдет то самое, о чем гово-

рит Леша! — заметила Ольга.

Брат не без удивления взглянул на сестру и на этот раз с видимым одобрением к ее сообразительности.

— Вот насчет этого я и хотел дать тебе, мама, совет, если ты хочешь его выслушать? — с обычной своей корректностью спросил сын.

— Говори… говори, голубчик… С кем же мне и посоветоваться, как не с тобой.

Ольга едва заметно усмехнулась и вспомнила о Козельском.

И Алексей продолжал:

— Конечно, это одни только предположения и, по правде сказать, мало обоснованные. Нет ни малейшего сомнения в том, что отец исполнит все, о чем сообщает в своей записке (ты во всяком случае как-нибудь не потеряй ее, мама! — вставил Алексей). Он слишком порядочный человек, чтоб не сдержать своего слова… Но случается, что и самый порядочный человек делается невольным рабом обстоятельств, если нет предохраняющих элементов…

Анна Павловна насторожила уши… «Предохраняющие элементы» встревожили ее.

— Вот почему ты хорошо сделала бы, мама, если б попросила у отца более оформленный

документ, чем это письмо… Он, разумеется, не откажется выдать его, и ты будешь гораздо покойнее за себя и за семью… И отцу будет лучше. Он не станет рисковать местом, и, следовательно, ему не придется испытывать мук от несдержанного слова… И ни с кем не сойдется, зная, что у тебя есть обязательство.

Выходило как будто очень даже хорошо для самого же отца, оберечь которого «предохраняющим элементом» предложил сын. И ни один мускул не дрогнул на красивом лице Алексея, когда он советовал матери эту комбинацию.

— Какой же документ надо взять, Алеша?

— Насчет этого я посоветуюсь с адвокатом… Он пусть и переговорит с отцом…

— Лучше я сама напишу.

— Нет, мама, не делай этого… Ты напишешь что-нибудь резкое и только раздражишь отца, и он может не согласиться. И ты не волнуйся, мама… С тем, что будет давать отец, можно жить…

— А скандал?.. А разве мне не больно, не обидно?.. Так отблагодарить!..

И Анна Павловна достала носовой платок.

Алексей поцеловал руку матери и ушел к себе заниматься. Ольга убежала к Козельским рассказать новость Тине и вместе с тем узнать,

намерена ли она влюбить в себя Гобзина.

К вечеру Ордынцева несколько успокоилась и уже составила себе в уме конспект будущих речей о семейном скандале. Разумеется, муж будет изображен в надлежащем виде, и, разумеется, она просила его оставить ее в виду неприличия его поведения и чуть ли не открытой связи бог знает с кем. Анна Павловна не сомневалась, что знакомые поверят всему, что она ни наговори об этом «подлом» человеке, тем более что он держал себя далеко от знакомых ее и дочери и иногда даже не выходил к ним и сидел в кабинете или исчезал из дома.

После чая, перед тем как ложиться спать, Шура осторожно вошла в спальню, чтоб проститься с матерью.

Девочка поцеловала белую душистую руку матери без обычной ласковости и еле прикоснулась губами к ее губам. Анна Павловна, напротив, сегодня с особенной порывистой нежностью несколько раз поцеловала Шуру и с торжественно-грустным видом перекрестила ее.

Шура подняла свои большие, красные от слез глаза на мать и спросила:

— Папа больше не будет жить с нами?

— Нет, Шура.

— И приходить к нам не будет?

— Не будет.

Шура мгновение помолчала и, удерживаясь от слез, задала вопрос:

— А я буду ходить к нему?

— Если захочешь…

— Конечно, захочу! — взволнованно проговорила девочка, перебивая мать.

— По праздникам можешь навещать.

— А в будни?

— В будни нельзя. Утром — гимназия, а потом тебе надо готовить уроки.

Шура примолкла, но не уходила.

— А если бы… если бы…

Она не решилась докончить.

— Что ты хочешь сказать? Говори, Шурочка.

— Если бы жить с папой…

Анну Павловну словно кольнуло в сердце от этих слов.

И Алексей, ее любимец, отнесся к ней не особенно сочувственно, про Ольгу и говорить нечего, — эта девчонка положительно стала дерзка в последнее время, — и вот эта маленькая девочка хочет жить с отцом.

А она ли не отдала всю жизнь детям?!

— Так ты хочешь оставить свою маму, Шура?

Тебе не жалко меня? — вырвался грустный крик из ее груди.

Шура заплакала.

— Мне вас обоих жаль! — наконец сказала она. — Но папа один…

— Он сам захотел быть один, Шура… Он и с тобой не хочет жить.

— Не хочет? Он писал об этом в письме? — недоверчиво спросила Шура, не спуская глаз с матери.

— Он ничего не писал…

— Так почему же ты говоришь, что папа не хочет?

— Если б хотел, то написал… Ну, иди, деточка, спать, иди…

И, снова поцеловав Шуру, Ордынцева прибавила:

— Папа всех нас бросил, Шура… Папа никого из нас не любит…

— О нет, нет… Это неправда… Он меня любит, и я его ужасно люблю! — почти крикнула Шура.

И, рыдая, выбежала из комнаты.

Долго еще не могла успокоиться нервная и болезненная девочка и тихо-тихо плакала, чувствуя себя обиженной и несчастной.

Она так любит папу, а он не написал, что хочет

с ней жить.

Нехорошо спалось в эту ночь и Ордынцевой. Она почувствовала, что дети безучастны к ней, и не могла понять от чего.

Глава восьмая

I

На следующий день, когда Шура, после классов, грустная спускалась в шумной компании гимназисток в швейцарскую, она с лестницы увидала отца.

— Папочка! Милый!

Счастливая, она горячо целовала его.

— Одевайся, Шурочка… На улице поговорим! — радостно говорил Ордынцев.

И, когда они вышли из подъезда, он сказал:

— И как же я соскучился по тебе, Шурочка! И вчера не простился… И сегодня утром не видел… Ну, и уехал со службы, чтобы взглянуть на свою девочку.

Шура крепко сжимала отцовскую руку и повторяла:

— Милый… голубчик… родной мой… А я думала…

— Что ты думала?

— Что ты… не хочешь взять меня к себе… Мама вчера говорила, что ты об этом не писал ей… А ведь ты возьмешь меня… Не правда ли?

— Я не писал потому, что прежде хотел спросить тебя… хочешь ли ты жить со мной. Не будет ли тебе скучно?..

— Хочу, хочу, хочу… И мне не будет скучно. И как хорошо мы с тобой будем жить, папочка! Я за тобой ходить буду… стол твой убирать… чай разливать! — радостно говорила Шура.

Эти слова наполнили Ордынцева счастьем. Он будет не один, а с любимой девочкой, которая одна из всей семьи была с ним ласкова. И он избавит ее от дурного влияния матери и вообще от всей этой скверной атмосферы. Ордынцев об этом думал, когда решил оставить семью, но рассчитывал взять дочь попозже, когда получит обещанную стариком Гобзиным прибавку жалованья к Новому году, так как без этой прибавки у него оставалось всего пятьдесят рублей. Остальное содержание он обещал отдавать семье.

Но теперь он дожидаться не будет. Он займет денег, чтоб нанять маленькую квартирку, купить мебель и завести хозяйство.

— Я сегодня же напишу, чтоб тебя отдали мне, моя радость. Без тебя мне было бы тоскливо жить, мое солнышко.

— И мне без тебя, папочка, было бы скучно.

— И как только я найму квартиру, ты приедешь

ко мне. Ведь ты хочешь ко мне, девочка? — снова радостно спрашивал Ордынцев, желая услыхать еще раз, что она хочет.

— О, папа! И как тебе не стыдно спрашивать!.. Только знаешь ли что?..

— Что, милая?

— Согласится ли мама меня отпустить?

— Согласится! — отвечал отец.

Но тон его был неуверенный.

— А если нет?..

— Я заставлю согласиться… Ты во всяком случае будешь у меня! — воскликнул отец.

— Но ведь и маме будет тяжело! — раздумчиво проговорила Шура. И тотчас же прибавила: — Но мама не одна, а ты — один. Тебе тяжелее. Ты можешь заболеть, и кто будет за тобой ходить?

— О, моя ласковая умница! — умиленно проговорил Ордынцев.

— А я буду маму навещать. Правда, папочка?

— Конечно… Когда захочешь, тогда и пойдешь…

— И Сережа будет заходить ко мне?

— И Сережа…

Они уже были у дома, из которого бежал Ордынцев. Обоим им не хотелось расставаться. День выдался славный, солнечный, при небольшом

морозе.

— Погуляем еще, Шура. Хочешь?

— Конечно, хочу. Еще когда я тебя увижу.

— Скоро…

— А как скоро?

— Я опять приеду в гимназию… послезавтра.

— А гадкий Гобзин не рассердится на тебя?

— Нет, голубка… И я его не боюсь! — весело говорил Ордынцев. — А ты не голодна ли?

— Нет, папочка.

— А eclair съела бы? — смеясь, спросил Ордынцев, знавший, как любит Шура это пирожное, и часто им угощавший свою любимицу.

— Съела бы.

Они были недалеко от кондитерской Иванова и зашли туда.

Шура съела два eclair'а, и отец с дочерью пошли на Офицерскую.

— До свиданья, Шура!..

— До свиданья, папочка!

— Скоро вместе будем… Вместе! — радостно проговорил Ордынцев, целуя дочь.

Она вошла в подъезд и смотрела через стекло двери, как отец сел на извозчика и послал ей поцелуй.

Дома она никому не сказала, что видела отца.

Все были дома, но никто не обращал на нее внимания, занятые совещанием о том, кому отдать кабинет. Мать великодушно отказалась от будуара и отдала кабинет Ольге, пообещав купить маленький диван и два кресла.

Шуре показалось, что мать совсем успокоилась, и это больно кольнуло девочку.

Вечером явился посыльный с новым письмом от Ордынцева.

— Чего еще ему надо! — внезапно раздражаясь, проговорила Анна Павловна, вскрывая конверт.

Письмо, в котором Ордынцев просил отдать ему Шуру, вызвало в Анне Павловне негодование и злость.

Ни за что она не отдаст ему дочь. Ни за что! Он бросил всех, так пусть и остается один. В мотивах этого решения было немало желания отплатить мужу за свое унижение и вообще причинить ему зло. Она знала, как любит отец Шуру, и в значительной степени именно потому и думать не хотела о том, чтобы исполнить просьбу мужа.

И Ордынцева собиралась отвечать решительным отказом. Но прежде она позвала к себе сына.

— Прочти, что он еще выдумал! — взволнованно сказала она.

Алексей прочел и, возвращая матери письмо, спросил:

— Ты что намерена ответить?

— И ты еще спрашиваешь? — воскликнула Ордынцева. — Конечно, я напишу, что не отдам ему Шуры!

— Напрасно.

— Что?! Ты хочешь, чтоб я лишилась дочери, чтоб я отдала Шуру человеку, который так поступил с семьей… Ты хочешь, чтоб она жила по меблированным комнатам, без надзора, без уюта?..

На красивом лице Алексея появилось скучающее выражение человека, принужденного выслушивать глупые речи и доказывать их глупость.

«А ведь, казалось, мать неглупая женщина!» — подумал он.

— Я, мама, хочу избавить тебя и всех нас от неприятностей… вот чего я хочу… Отказом ты раздражишь отца, и он не только не выдаст тебе обязательства, но может уменьшить обещанное содержание…

— Как он смеет? Я могу жаловаться в суд.

— Суд не заставит его отдавать семье все содержание. А ведь отец отдает нам почти все…

оставляя себе только пятьдесят рублей в месяц. И наконец он может и судом получить Шуру или подав жалобу в комиссию прошений.

— Но ведь это жестоко… Отнять у матери дочь… И ты хочешь, чтоб я добровольно отказалась от нее?..

— Я представляю тебе доводы, мама. Твое дело принять или не принять их…

Этот спокойный, уверенный, слегка докторальный тон сына невольно импонировал на Ордынцеву, и мысль, что муж может выдавать на содержание семьи меньше того, что обещал, значительно поколебала ее решимость. Алексей отлично это видел и продолжал:

— Я, конечно, понимаю, что тебе тяжело расстаться с Шурой, но она будет навещать тебя. Отец об этом пишет. И присутствие Шуры при отце более гарантирует его от возможности альтруистического увлечения, которого ты боишься… И если ты согласишься отдать Шуру, то и выдача формального обязательства обеспечена. Ты можешь поставить исполнение желания отца в зависимость от этого обязательства.

— Но каков отец… Пользоваться нашей беспомощностью, чтобы отнять дочь! Это… это…

Ордынцева заплакала.

Но Алексей отлично знал физиологическое происхождение слез и знал, что мать немножко рисуется своей печалью расстаться с Шурой. Вот почему он не обратил на слезы матери большого внимания и только из любезности проговорил:

— Ты не волнуйся, мама... И посыльный ждет ответа.

— Что ж отвечать? — покорно спросила Анна Павловна, вздохнув с видом несчастной страдалицы, обреченной нести тяжкий крест.

— Напиши, что обо всем переговорит адвокат, который будет у отца на днях. И больше ни одного слова, мама!

Алексей подождал, пока мать писала письмо, прочел его, одобрил и, когда письмо было вложено в конверт, проговорил, целуя у матери руку:

— Ты очень умно поступила, мама. Очень умно! — повторил он и вышел отдать письмо посыльному.

У посыльного Алексей справился, уплачены ли ему за ответ деньги.

Анна Павловна решила посоветоваться еще с Козельским. Быть может, он придумает такую комбинацию, при которой можно было бы получить от мужа обязательство и оставить у себя Шуру. Вместе с тем у Ордынцевой была и задняя

мысль воспользоваться, если представится возможность, новым своим положением брошенной жены.

И она тотчас же написала Козельскому письмо, в котором звала «Нику» по весьма важному семейному делу на свидание в «Анютино» (как они звали приют на Выборгской) на завтра, в два часа. По обыкновению, она адресовала письмо не на квартиру Козельского, который предусмотрительно просил своего друга никогда этого не делать, наученный прежним опытом, какие неприятные инциденты могут от этого произойти, — и, по обыкновению, вышла сама на улицу, чтобы опустить письмо в почтовый ящик, объявив Ольге, что хочет пройтись и кстати взять к чаю кекс.

— Ты ведь любишь кексы, Ольга?

Ольга, тронутая обещанием новой мебели и радостно мечтавшая о гнездышке, которое она устроит из кабинета, горячо обняла мать и с искренним чувством проговорила:

— А ты не сердись на меня, мамочка, за то, что я была резка с тобой. Прости. Не сердишься? Скажи?

— Разве я на вас могу сердиться?.. Только люби меня побольше, Оля… Теперь мне одно утешение

в любви детей. И будем дружны. Ведь мы… брошенные, — прибавила Анна Павловна и ласково потрепала Ольгу по ее хорошенькой щеке.

II

Не до свидания было Козельскому.

Накануне он целый день рыскал по городу, чтобы найти денег. На днях был срок банковскому векселю в три тысячи рублей, и надо было во что бы ни стало заплатить, чтобы благодаря протесту не лишиться кредита. Вчера он не достал, и приходилось искать денег сегодня. Долгов у него было по горло, и доставать деньги все было труднее и труднее. Он уже узнал от одного чиновника в министерстве, сообщавшего ему сведения, что «лесное» дело провалилось благодаря Никодимцеву, и, несмотря на свое ликование, серьезно призадумался, когда подвел цифру долгов. Сумма была внушительная.

И вдобавок из-за этой записки Анны Павловны чуть было не вышло неприятности дома. Дурак курьер поторопился ее доставить, и, как нарочно, горничная подала на подносе письмо в то время, когда Николай Иванович пил кофе в столовой вблизи от Антонины Сергеевны, Она с обычной подозрительностью взглянула на маленький

конвертик, конечно увидала женский почерк и тотчас же изменилась в лице.

Его превосходительство с большим мастерством разыграл роль удивленного человека и даже пожал плечами, взглянув на конверт. Он не спеша вскрыл конверт, предусмотрительно отложил его подальше от глаз жены и, отлично зная, что ее взгляд изучает малейшие движения его лица с упорным вниманием следователя по важнейшим делам, — еще равнодушнее прочитывал о том, что «Нику» зовут в два часа на свидание по важному семейному делу.

И его превосходительство был до некоторой степени искренен, когда, прочитав записку и написав на ней несколько слов карандашом, не без досады воскликнул, обращаясь к жене:

— Ведь этакая дура! Третий раз просит…

— Кто?.. О чем?

— Да эта… княгиня Туманская… Сын ее у меня служит. Балбес балбесом! Так не угодно ли мне дать ему повышение. Его бы выгнать надо, а не то что повышение…

И с этими словами Козельский сунул и конверт и записку в боковой карман, мысленно похвалил себя за то, что так блистательно обманул святую женщину и так вдохновенно оклеветал неизвест-

ных ему княгиню Туманскую и ее сына.

Жена и верила и не верила.

Ее обожаемый Коля так часто бессовестно лгал, что подверг ее веру большим испытаниям.

Но почерк на конверте, и формат, и бумага показались ей похожими на почерк и конверты Ордынцевой, от которой прежде Антонина Сергеевна нередко получала дружеские записочки.

И Антонина Сергеевна, добросовестно желая сделать последнюю попытку к раскрытию истины, совершенно неожиданно проговорила:

— А мне показался почерк знакомым, Коля…

— А что ж… возможно… Почерки часто бывают очень похожие…

И, желая показать, что нисколько не интересуется этим, его превосходительство рассказал забавный анекдот по поводу сходства почерков.

— На почерк Ордынцевой похож… И конверт такой же! — проговорила Антонина Сергеевна, внимательно выслушав анекдот и взглянув в глаза мужа.

Но он их не опустил…

— В самом деле, кажется, похож… Но, слава богу, Ордынцева не имеет дел в министерстве, а сын ее далеко не балбес, а, напротив… очень основательный человек… Ну, до свиданья, Тоня…

Пора и в хомут!

И он поцеловал руку жены и ушел в кабинет и струсил уже там, оставшись один.

— Этакий идиот этот швейцар в министерстве! — проговорил он.

Его превосходительство до часу просидел в своем министерстве. Оттуда в вицмундире и со звездой поехал к Кюба, наскоро позавтракал и в половине второго ехал на Выборгскую, рассчитывая, что свидание не продлится более получаса и он к трем часам поспеет на заседание комиссии, в которую он был назначен от своего министерства как человек основательно знакомый с финансовыми вопросами.

Ровно в два часа он отворил своим ключом двери «приюта». Анна Павловна была уже там, торжественно-печальная, хотя и одетая с тем особенным щегольством и с тою рассчитанною на любительский вкус Козельского привлекательностью, которые она считала при посещении «Анютина» такой же необходимой принадлежностью свиданий, какою офицер считает полную парадную форму при представлении по начальству. В этом отношении Анна Павловна с щепетильной добросовестностью исполняла свой «долг» очаровательницы «Никса», и хотя

знала, что— сегодня не их определенные два дня в неделю свиданий, — все-таки, на всякий случай, явилась во всем своем великолепии: благоухающая, с подведенными бровями и в кольцах.

— Прости, Ника, что потревожила тебя…

И Анна Павловна подставила свои губы и так прильнула к губам его превосходительства, что тот сперва осовел и затем почему-то взглянул на часы.

— Что такое случилось, Нита?.. Рассказывай!.. У меня только полчаса в распоряжении, и я об этом очень жалею! — подчеркнул Козельский, значительно взглядывая на свою приятельницу. — Ты видишь… я в параде. В три часа я должен быть в комиссии.

— Этот подлец бросил нас!

И Анна Павловна, усевшись на тахту, передала в более или менее извращенном виде о «подлости» мужа, причем уменьшила цифру содержания, обещанного в письме мужа, на пятьдесят рублей.

— Но главное… Он требует дочь… Грозит скандалом… Я не хочу отдавать дочь… Посоветуй, что мне делать, как удержать Шуру… Как заставить его выдать какую-нибудь бумагу…

Эта новость, признаться, не очень понравилась

его превосходительству, особенно в виду его далеко не блестящих финансов. И, разумеется, он тем искреннее дал совет не раздражать мужа и постараться войти с ним в соглашение относительно прибавки содержания.

— Твой муж все-таки настолько порядочный человек, что не заставит семью нуждаться.

— А дочь?..

— Лучше отдай ему… Не заводи истории, Нита…

— И Леша то же говорит… И никто за меня не заступится…

Анна Павловна заплакала, и его превосходительство в качестве человека старого воспитания, конечно, счел своим долгом подсесть к ней и постараться успокоить ее горячими поцелуями, прерывая, однако, их, чтобы взглянуть на часы.

Едва ли к счастью для Козельского, времени оказалось еще достаточно, чтобы слезы Анны Павловны успели тронуть мягкое сердце его превосходительства и заставили его хоть несколько успокоить ее легкомысленным обещанием добавлять пятьдесят рублей, если муж откажется их давать.

Спохватился Козельский, что сделал глупость, обязуясь давать своей любовнице, хотя она об

этом его и не просила, кроме прежних двухсот семидесяти пяти рублей, еще пятьдесят, только тогда, когда ехал в свою комиссию.

Но там зато он произнес такую блестящую речь о значении и благотворности для страны возможно дешевого кредита, что сам председатель, считавшийся финансовым светилом, после заседания наговорил Козельскому комплиментов и просил побывать на днях.

Через неделю молодой присяжный поверенный привез Анне Павловне форменное обязательство.

— Ваш супруг без всяких разговоров подписал. Просил только, чтобы к завтрашнему дню малолетняя дочь была доставлена к нему! — объявил он.

Из деликатности адвокат не сказал, что Ордынцев, прочитав документ, с брезгливой усмешкой сказал:

— Это, верно, идея сынка… это предусмотрительное обязательство?

Глава девятая

I

По-видимому, Травинский примирился со своим положением.

По крайней мере после сцены, бывшей вслед за возвращением супругов с журфикса Козельских, он не предъявлял никаких прав, не плакал и не бранился и окончательно переселился в кабинет, не теряя надежды, что Инна одумается и, тронутая его привязанностью, по-прежнему будет если и не верной, то во всяком случае благосклонной женой и не оставит его, не разрушит семьи.

Не в первый раз жена бросала ему в глаза, что не любит его, что он ей противен, не в первый раз сцены, бывшие между ними, оканчивались ссылкой в кабинет. Но ссылки эти были непродолжительны. Он вымаливал прощение истериками и слезами, он так жалобно говорил о своей любви, валяясь в ногах, и так решительно обещал покончить с собой, что возбуждал жалость в безвольной, бесхарактерной Инне Николаевне, и она снова терпела мужа, ничтожество которого сознавала, сознавая в то же время и вину свою

перед этим человеком и презирая по временам и себя.

Но теперь Инна Николаевна, казалось, задыхалась в той атмосфере, в какой жила, и муж, глупый, пошлый, неразборчивый на средства, возбуждал в ней отвращение. Не раз она собиралась разводиться с ним, но каждый раз жалела мужа и останавливалась перед вопросом, на что она будет жить с девочкой пяти лет, единственным ребенком, который был у нее? И наконец отдаст ли он дочь?

Эта перемена в молодой женщине была до известной степени результатом встречи с Никодимцевым. Его трогательная почтительная любовь положительно изумляла, и его речи, совсем не похожие на те, которые она слышала у себя в доме, невольно пробуждали что-то хорошее, что-то светлое, дремавшее в ее душе.

И за последнее время она все чаще и чаще думала: как могла она так жить, как жила?

Думала и решительно не могла объяснить себе, почему она вышла замуж за человека ничтожного, которого к тому же не любила и тогда, когда дала ему слово, как она постепенно дошла до настоящего положения, она, неглупая и умевшая, казалось, отличить добро от зла?

Бесхарактерность, которую она в себе сознавала, была, конечно, одной из причин, но не все же бесхарактерные женщины идут на такие компромиссы? Значит, было еще что-то другое, и вот это-то другое и было непонятно молодой женщине. Непонятно и в то же время вселяло в ней ужас чего-то рокового, безнадежного, от которого избавиться нельзя. Она обречена на гибель, и нет ей выхода.

И в такие минуты Инну Николаевну охватывало отчаяние.

Муж заметил перемену в настроении жены и в образе ее жизни. Прежнего кабака в доме не было. Обычные посетители стали бывать реже. Обеды и ужины в ресторанах прекратились. Инна Николаевна нередко сидела за книгой и не скучала, как прежде, когда никого не было. Уменьшились и траты на туалеты.

Муж не сомневался, что Никодимцев — любовник его жены, и в то же время недоумевал, что жена нередко бывает мрачна и даже после посещений Никодимцева, которые все учащались.

Все это не нравилось мужу, тем более что Инна Николаевна относилась к нему с презрительным равнодушием и почти не разговаривала с ним. Терпение его истощалось, и он решил показать,

что он не тряпка, как она воображает, а мужчина, и серьезно поговорить с женой.

К этому еще подбил его один приятель и сослуживец, господин Привольский.

Давно влюбленный в жену своего друга, слишком невзрачный и ничтожный, чтобы надеяться добиться ее благосклонности, он совершенно неожиданно для самого себя сделался близок с Инной Николаевной в одну из минут мрачного отчаяния молодой женщины. Он подвернулся в эту минуту, и она готова была забыться, слушая его влюбленные речи и мольбы… Эта близость продолжалась два месяца, окончившись так же неожиданно, как и началась.

Инна Николаевна объявила ему, что между ними все кончено и чтобы он не ходил больше к ним.

И Привольский, решивший, что Инна Николаевна порвала с ним из-за Никодимцева, не прочь был ей отомстить, натравив на нее мужа.

Он пригласил друга завтракать. После нескольких рюмок водки и вина Травинский раскис и впал в излияния перед человеком, прежние отношения которого к его жене были, конечно, ему известны. Тогда он терпел их, делая вид, что ничего не замечает, а в эту минуту он точно со-

жалел, что эти отношения окончены. При них и он пользовался долей счастья и не боялся драмы, а теперь…

И, жалуясь на то, что Инна его заставила переселиться в кабинет и обращается с ним черт знает как, он со слезами на глазах говорил:

— Ты знаешь… я ее люблю… Она легкомысленная и увлекающаяся, но я все-таки ее люблю. Она умнее меня, тоньше, но все-таки она моя жена… Не правда ли? И должна ею быть? За что же я трачу на нее деньги… хлопочу, чтобы ей было хорошо?..

— Будь мужчиной, Лева!.. Покажи свою твердость, Лева!..

— Но что ж мне сделать?

— Выгони Никодимцева. Разве ты не видишь, зачем он так часто бывает? Его посещения компрометируют тебя… О них говорят…

— Но как же это сделать?

— Скажи жене.

— Точно ты не знаешь Инну? Она рассердится.

— Посердится и перестанет. Надо быть мужчиной, Лева!

— Но Инна может оставить меня.

— Не оставила до сих пор и не оставит… Твоя жена бесхарактерная женщина. И она не бросит

Леночку.

Травинский согласился с этим и даже пустился в интимные излияния по поводу бесхарактерности своей жены и ее легкомыслия и прибавил:

— А если увезет и Леночку? Что тогда делать?

— Тогда подними скандал. Ты отец, имеешь права. Ты только покажи характер, Лева! Теперь же припугни жену, чтоб она и не думала, что так легко отделаться от мужа, хотя бы и с помощью Никодимцева.

— Чем припугнуть?

— Скажи, что будешь требовать дочь через суд, мотивируя это требование невозможностью поручить воспитание ребенка такой… такой увлекающейся женщине, как твоя жена. Понял? Этого она испугается и согласится на все твои требования. И не соглашайся на развод ни в каком случае. Будь мужчиной, Лева! — повторял друг, готовый присоветовать какую угодно пакость, чтобы только причинить зло отвергнувшей его женщине, имевшей несчастье считать его за сколько-нибудь порядочного человека.

К концу завтрака Травинский был «взвинчен» и ехал домой, полный решимости показать жене, что он мужчина.

II

— Барыня дома? — спросил он у швейцара.

— Дома.

— Был кто?

— Никого не было!

Он особенно сильно подавил пуговку электрического звонка и, сбросив шубу на руки горничной, прошел прямо в комнату жены.

Та лениво подняла глаза от книги и несколько удивилась решительному виду мужа.

О, как противен показался ей этот маленький тщедушный человечек со своим самодовольно-пошлым, торжественным, прыщеватым лицом, покрытым красными пятнами, какие выступали у него всегда после вина. Все в нем казалось отвратительным теперь Инне Николаевне: и этот длинный и красный «глупый» нос, и блестевшие пьяным блеском рачьи темные глаза, и бачки, и взъерошенные усы, и руки с короткими пальцами, и чуть-чуть съехавший набок галстук, и форменный фрак…

Она с брезгливой гримасой опустила глаза на книгу, и в голове ее пронесся вопрос:

«И почему он смеет без спроса входить ко мне?»

И тотчас же появился ответ:

«Потому, что он муж и имеет право на меня!»

Вслед за тем Инна Николаевна почему-то вспомнила чьи-то слова: «Женщина принадлежит тому, кто ее содержит».

Несколько минут муж ходил взад и вперед по кабинету жены, изящно убранной, покрытой ковром комнате с множеством красивых вещей на этажерках и на письменном столе, с цветами и уютным уголком, в котором на маленькой тахте полулежала Инна Николаевна.

Это мелькание начинало раздражать ее.

— Мне нужно объясниться с тобой, Инна! — наконец проговорил муж, останавливаясь около жены.

Она подняла глаза.

— Больше я терпеть не могу…

— Наконец-то! И я не могу… Ты, кажется, это видишь!

— Я все вижу, будь спокойна, и объявляю тебе, что посещения твоего Никодимцева мне не нравятся… Они слишком часты…

— А когда твои приятели посещали меня часто, ты этого не находил?..

— Этого больше не будет… Я не желаю компрометировать свое имя… И ты скажи своему другу

Никодимцеву…

— Это еще что за тон? — перебила Инна Николаевна. — Ты, видно, завтракал… Так уходи лучше в кабинет и проспись! — прибавила жена, взглядывая на мужа с нескрываемым отвращением.

— Я не пьян и знаю, каким тоном говорить с такими женщинами, как ты.

— Не довольно ли? — еще раз попробовала она остановить мужа.

— Нет, не довольно! Я покажу тебе, что я мужчина, а не тряпка. Слышишь? Довольно ты подло оскорбляла меня… Довольно ты лгала и меняла любовников… Я больше этого не хочу.

— Я не лгала… Ты давно знаешь, что я не люблю тебя и что ты мне противен… Да, я имела любовников! — вызывающе кинула Инна Николаевна. — И ты это знал и молчал!..

Она присела на тахту и глядела в упор на мужа.

— Однако ты жила и, кажется, недурно жила на мои денежки… И даже удостаивала своими милостями и меня, противного? — злобно воскликнул муж.

— И за это я презираю себя… Ты, впрочем, этого не поймешь… Но теперь мы договорились, и ты, конечно, дашь мне развод.

— Развод? — переспросил Травинский и, нагло взглянув на жену, засмеялся, показывая гнилые черные зубы. — Ты воображаешь, что после всего, что ты мне сделала, я тебе дам развод?.. Я не дам тебе развода… И ты никуда не уйдешь от меня… А если осмелишься увезти Леночку — и твой любовник Никодимцев не поможет тебе… Нет! Я знаю, что я сделаю. Я покажу, что я мужчина! — яростно взвизгивал муж, торопливо бросая слова и возбуждаясь ими. — Я не позволю, чтобы Леночка была у тебя. Я судом вытребую ее… и объясню в прошении, что доверить воспитание дочери такой даме, как ты, нельзя… Ты ее развратишь… И в доказательство я назову по фамилиям всех твоих любовников… Пусть их допросят… И Никодимцева тоже… Ты думаешь, я их не знаю?.. Я всех знаю… У меня и письма твои к одному из них есть… Слышишь?.. А ты вообразила, что я тряпка… Ты думала, что я дурак? Ты думала, что за все свои унижения я так тебе все прощу?.. Слышишь ли?.. Ты никуда не уйдешь и… будешь моей женой… Что ж ты молчишь? Струсила? Поняла, что я не хочу быть больше твоим рабом?..

Действительно Инна Николаевна замерла в каком-то ужасе.

Она всего ждала от мужа, но только не этой

низости, которою он угрожал.

Она призвала на помощь все свое самообладание, чтобы не обнаружить ужаса, охватившего ее перед этой угрозой. Какою виноватою ни считала себя Инна Николаевна перед мужем, но эта подлая угроза словно бы освобождала ее от всяких обязательств. А она еще считала его добрым. Она жалела прежде его. Верила, что он любит. Хороша любовь!

И, полная омерзения к мужу, она поднялась с тахты и холодно произнесла:

— Я думала, что вы только глупы. Теперь вижу, что вы еще и подлец.

Муж не ожидал этого. Он увидел побледневшее, презрительное и в то же время красивое лицо жены и струсил. Струсил и почувствовал, что сделал непоправимую ошибку, что теперь все кончено…

И мысль, что он потеряет жену, привела его в отчаяние.

Весь запас решимости исчез в нем. Забыв, что хотел показать себя мужчиной, он вдруг бросился к ногам жены и, плача, говорил:

— Инна… прости… Живи, как хочешь… Пусть Никодимцев ходит… но не оставляй меня… Я все перенесу… я люблю тебя… Инна… Я не поступил

бы так… И то, что я говорил… это… Привольский посоветовал…

И он коснулся губами одетой в туфлю ноги жены.

Инна Николаевна брезгливо отдернула ногу и властно и повелительно сказала:

— Вон отсюда!

Травинский поднялся и вышел.

Инна Николаевна заперла двери на ключ. Нервы ее больше не выдержали. Она бросилась на тахту и зарыдала.

«Вот она, расплата!» — думала она, вздрагивая при мысли, что муж не отдаст ей дочери и что ей грозит позор судбища.

Глава десятая

I

По воскресеньям и по праздникам Никодимцев обыкновенно давал отдых прислуге и отпускал ее со двора и сам уходил обедать к Донону, где ему нравилась тишина, царившая в обеденной зале, обстановка, менее напоминающая модные кабаки, и отсутствие тех кутящих посетителей, один подвыпивший вид которых раздражал Григория Александровича.

И в это воскресенье, на другой день после супружеской сцены у Травинских, Никодимцев в седьмом часу пошел пешком в ресторан, рассчитывая после обеда поехать к Инне Николаевне и просидеть у нее вечер. Эти вечера были теперь для него радостью жизни, и он всегда ожидал их с нетерпением влюбленного юнца…

Сегодня ему особенно хотелось видеть Инну Николаевну. В последнее его посещение она была грустна, и когда он спросил, что с ней, она отвечала: «После, после когда-нибудь расскажу и даже попрошу у вас совета».

Быть может, сегодня она расскажет о том, что

заставляет ее страдать, и окажет ему величайшую милость своим доверием.

Никодимцев сел на свое обычное место у маленького стола в углу комнаты, и толстый, солидный татарин Магомет, всегда подававший Никодимцеву, подал ему карточку и проговорил:

— Вместо крема биск[11] прикажете, ваше превосходительство?

— Биск!

Никодимцев обедал в приятном настроении, то и дело поглядывая на часы, как за соседним столом село двое молодых людей. Они шумно и громко потребовали закусок и водки и велели заморозить бутылку мума.

Обед Никодимцева подходил к концу, как вдруг до его слуха донеслось имя Инны Николаевны, и вслед за тем раздался смех.

Никодимцева кольнуло в сердце. Смех этот казался ему оскорбительным.

Но то, что он услыхал затем, было еще ужаснее.

Один из молодых людей, белобрысый господин в смокинге, громко говорил:

— Очаровательная женщина. Муж болван, и

---

[11] Примечания: 11

Крем — суп-пюре из дичи, Биск — раковый суп.

она широко пользуется его глупостью…

— Флиртует? — спросил другой.

— Она не прочь и более флирта. Надо только уловить психологический момент… Ха-ха-ха! Теперь только она что-то монашествует… Нигде ее не видно… И последний министр в отставке. Говорят, барынька связалась с Никодимцевым… Впрочем, она любит менять министров… Они у нее…

Молодой человек не докончил.

Перед ним бледный как полотно стоял Никодимцев и, едва владея собой, задыхаясь от гнева, тихо и отчетливо проговорил:

— Ни слова больше, или я задушу вас!..

Молодой человек с видом испуганного животного глядел на искаженное гневом лицо Никодимцева.

— Вы подло лжете… слышите ли?.. Я уже не говорю, что так говорить о женщине, как говорили вы, может только большой негодяй.

— Но… послушайте, милостивый государь, — вызывающе начал товарищ белобрысого господина, — по какому праву вы вмешиваетесь? Мы не имеем чести вас знать.

— По праву порядочного человека, возмущенного вашим разговором… Поняли? Вот вам моя

карточка. Я к вашим услугам, если только господа, подобные вам, способны оскорбляться!

И Никодимцев вздрагивавшей рукой достал из бумажника визитную карточку и бросил ее на стол.

Полный негодования, сел он к своему столу, и когда испуганный татарин, видевший эту сцену, подал Никодимцеву мороженое, он спросил, кивнув головой на соседний стол:

— Вы не знаете, кто эти мерзавцы?

— Не могу знать, ваше превосходительство! Они у нас не бывают. Сегодня в первый раз.

Прочитав карточку, молодые люди, оба чиновника, знавшие хорошо, кто такой Никодимцев, ахнули и испуганно переглянулись.

И вслед за тем решили, что надо извиниться.

Они подошли к Никодимцеву и, почтительно поклонившись, по очереди стали говорить, что они под влиянием вина позволили себе неприличную выходку…

— Неприличную? — перебил Никодимцев. — Подобные выходки не находят достаточно презрительного названия… И ведь вы все лгали… Ведь лгали? — с каким-то возбуждением проговорил Никодимцев.

И, не ожидая ответа, брезгливо отвернулся.

Молодые люди отошли.

Разумеется, Никодимцев не поверил ни одному слову из того, что говорил об Инне Николаевне белобрысый молодой человек. Да и возможно ли поверить? Если его называли ее любовником, то с такою же достоверностью называли и других. И это соображение несколько успокоило Никодимцева.

Но то, что его имя связывалось с именем любимой женщины, глубоко взволновало его.

Как ни тяжело было Никодимцеву, но он решил реже бывать у Инны Николаевны. По крайней мере он не даст повода клеветать на любимую женщину. Не он, конечно, скомпрометирует ее. Бедная! Она и не знает, какие гадости говорят про нее…

И Никодимцев не поехал в этот вечер к Инне Николаевне, а просидел дома грустный и задумчивый.

Прошло еще три дня. Никодимцев не ехал к Травинской и не был даже на вторнике у Козельских. Все эти дни он не находил себе места. Наконец он не выдержал и решил в воскресенье поехать днем с коротеньким визитом…

«По крайней мере увижу ее!»

И при этой мысли он обрадовался.

Но счастью его не было границ, когда в четверг ему подали маленький конверт и он прочитал записочку следующего содержания:

«Что же вы забыли совсем меня, многоуважаемый Григорий Александрович?»

Он благоговейно прикоснулся губами к этим строчкам, вдыхая аромат душистой бумаги, снова прочитал записку и спрятал ее в бумажник, просветлевший, полный счастья, что Инна Николаевна его вспомнила, зовет его…

И какой же он жизнерадостный и веселый был в этот день в департаменте и делал доклад министру!

В тот же вечер, несмотря на спешные дела, он ехал на Моховую.

Черт с ними, с делами! Он за ними просидит ночь! А сейчас он увидит ее, эту женщину, благодаря которой он понял, что значит любовь.

На лестнице Никодимцев встретил Травинского.

Смешанное чувство ревности, смущения и невольной брезгливости охватило Григория Александровича при виде мужа Инны Николаевны.

Никодимцев очень редко его видал и держал себя с ним с холодной сдержанностью, не допуская

никакой короткости, на которую, видимо, напрашивался Травинский, и словно бы не скрывая, что ездит исключительно к Инне Николаевне.

И теперь Травинский с обычной льстивой любезностью приветствовал Никодимцева.

— Инна дома и очень будет рада вам, Григорий Александрович! — весело воскликнул Травинский, почтительно пожимая протянутую Никодимцевым руку. — Совсем вы нас забыли, Григорий Александрович, давно не были…

— Некогда было! — суховато сказал Никодимцев.

— А Инна одна и хандрит… Нервничает и никуда не выходит… Я предлагал ей прокатиться за границу — не хочет. И лечиться не хочет… Уговорите ее уехать из Петербурга… Она вас послушает… право. Чужого человека всегда больше слушают, чем близкого… Не правда ли? А меня извините, Григорий Александрович, что ухожу… Спешное дело… должен ехать…

Травинский снова горячо потряс руку Никодимцева и проговорил:

— Предложили бы Инне прокатиться на острова… Вечер отличный, и ей полезно… А я, Григорий Александрович, буду благодарен, если вы развлечете жену… Она очень ценит ваши посещения и

симпатизирует вам… Поверьте, Григорий Александрович, я очень, очень рад, когда вы бываете у Инны. Инна тогда оживает. Она любит поговорить с умными людьми о разных возвышенных предметах. Она ведь сама умная… Значит, и вам, Григорий Александрович, не скучно с Инной? Не правда ли?

— Совершеннейшая правда! — серьезно отвечал Никодимцев, краснея и испытывая желание сбросить с лестницы этого болтливого пошляка.

— Ну, вот видите… Я так и говорил жене, а она… думает, что вам скучно с ней, оттого вы давно не были… Уверьте ее, что я прав, и навещайте ее почаще… Вы удивляетесь, что я вас об этом прошу?.. Но я не ревнивый муж… Совсем не ревнивый! — неожиданно прибавил Травинский и захихикал.

И с этими словами он почтительно приподнял цилиндр и стал спускаться с лестницы.

«И она живет с этой гадиной? Она его жена?!» — подумал Никодимцев с тоской и подавил пуговку электрического звонка, чувствуя, как сильно колотится в груди его сердце.

II

Никодимцев вошел в гостиную и радостно бросился навстречу показавшейся в дверях своего

кабинета Инне Николаевне.

Но когда он увидал ее осунувшееся и побледневшее лицо, когда увидал, каким отчаянием дышало оно, когда увидал слезы на ее глазах, сердце его упало. И он, крепко пожимая маленькую ручку Инны Николаевны, спросил дрогнувшим, тревожным голосом:

— Инна Николаевна! Да что с вами?

И он глядел на нее с выражением такой восторженной любви и такой тревоги, что молодая женщина благодарно и ласково улыбнулась ему глазами, и лицо его просветлело, когда она сказала:

— А я было думала, что вы совсем меня забыли и наша дружба окончена…

Никодимцев смутился и, краснея, произнес:

— Как могли вы это думать?

— Я мнительна, Григорий Александрович!

— Вы? — обронил изумленно Никодимцев.

— Да… И имею основания быть мнительной…

Инна Николаевна опустилась на диван. Никодимцев сел на обычное свое место — на кресло с левой стороны.

— Вы бывали часто и вдруг перестали… Мне хотелось узнать, что это значит, и я написала вам… Спасибо, что приехали и, кажется, не очень

недовольны, что я вам напомнила о себе? В самом деле, отчего вы не были в воскресенье?.. Я вас ждала.

— Ах, Инна Николаевна, не всегда можно делать то, что хочешь…

— Значит, хотели приехать?

— Еще бы.

— Так отчего же не приехали?

— Отчего?.. Да просто потому, что слишком часто бывать у вас… неудобно… И как мне ни приятно навещать вас, я все-таки решил… сократить свои посещения.

— Вам писал что-нибудь муж?

— Нет. Разве он недоволен моими посещениями? Сейчас я его встретил, и он просил меня чаще навещать вас. Говорил, что вы хандрите… Что не хотите ехать за границу… Просил как-нибудь развлечь вас… предложить вам ехать на острова…

Инна Николаевна презрительно усмехнулась.

— Так отчего вы решили сократить посещения? И муж и жена вас зовут, а вы…

— Люди злы и глупы, Инна Николаевна.

— И вы их боитесь?

— Я не боюсь их, но с ними надо считаться, чтоб не подать повода к нелепым толкам…

— Понимаю. Вы боитесь скомпрометировать

меня? — горько усмехнувшись, сказала Инна Николаевна. — Спасибо вам за это, Григорий Александрович, но не бойтесь этого… Про меня и так говорят, путая правду с клеветой… Я это знаю… И скажите, ради чего вы будете лишать меня и, быть может, себя удовольствия коротать вместе иногда вечера… Из-за того только, что скажут люди? И еще какие люди? Такие, которые не прощают другим то, что делают сами? Ужели стоит, Григорий Александрович? — прибавила молодая женщина с грустною улыбкой.

Никодимцев восторженно глядел на молодую женщину.

— Право, не стоит! Так будем видеться и болтать, пока нам не скучно. Хотите?

— Разумеется, хочу.

— И будем добрыми друзьями, пока кому-нибудь из нас не надоест дружба. Хотите?

Инна Николаевна протянула руку. Никодимцев крепко пожал ее и с какою-то особенною серьезностью проговорил:

— Спасибо за доверие. Я буду верным другом.

— Вам я верю.

— И если б я мог чем-нибудь доказать эту дружбу, я был бы счастлив, Инна Николаевна.

— О, я сейчас же воспользуюсь ей…

— Приказывайте.

Инна Николаевна на минуту примолкла.

— Вы помните наш разговор на выставке, Григорий Александрович, по поводу картины «Супруги»? — наконец спросила она.

— Помню.

— Я тогда защищала жену, которая не оставляет нелюбимого и неуважаемого мужа… Теперь я не защищала бы ее.

Лицо Никодимцева просветлело при этих словах.

— Вы, как вошли, спросили: что со мной?

— Да. Вы так похудели, такая грустная…

— Со мной, Григорий Александрович, то, что бывает со многими женщинами, которые вдруг сознали весь ужас своего положения, почувствовали отвращение к прежней жизни… и видят, что выхода нет… Нет его! — с отчаянием проговорила молодая женщина.

— Инна Николаевна! К чему отчаиваться? Поищем выхода, может быть, и найдем.

— О, если бы найти!.. Если бы вы помогли мне найти его! Я, право, стою этого, хотя во всем сама виновата. Как это случилось, как могла я жить с человеком, которого не любила и тогда, когда шла за него замуж, — не стану теперь говорить. Мне

мучительно… мне противно вспоминать весь этот ужас… Но потом, не сегодня, я все расскажу вам… всю правду, хотя бы из-за нее я и потеряла вашу дружбу… Я не хочу, чтобы вы заблуждались на мой счет, так как слишком уважаю вас и ценю вашу дружбу. Я далеко не такая, какою вы представляете себе… Слышите? — строго, почти что с угрозой прибавила она.

Никакое самое лукавое кокетство не могло бы так подействовать на порядочного человека, как этот искренний порыв любимой женщины.

И Никодимцев, полный восторженной любви, взволнованно проговорил:

— Что бы вы ни сказали о себе, я не переменю о вас мнения, Инна Николаевна!

— Не говорите заранее, чтобы после не раскаяться в своих словах… Не надо, не надо… А теперь слушайте и помогите советом.

И Инна Николаевна, волнуясь и спеша, проговорила:

— Жить больше с мужем я не могу.

— Еще бы! — чуть слышно и радостно проронил Никодимцев.

— И я хотела бы развестись с ним.

В голове Никодимцева появилась внезапно мысль, что Инна Николаевна, вероятно, кого-ни-

будь любит и собирается выйти замуж.

И в голосе его прозвучала едва уловимая грустная нотка, когда он сказал:

— Чтобы найти счастие в другом замужестве?

Инна Николаевна удивленно взглянула на Никодимцева.

— Почему вы думаете, что я желаю развода ради другого замужества?

— Вы так молоды… И я думал…

— Довольно одного урока. Довольно…

— Но вы могли полюбить кого-нибудь достойного вашей привязанности, и тогда отчего же не выйти замуж?

— Полюбить?

Инна Николаевна вспомнила, как и кого она любила, и дрожь пробежала по ее телу. И она проронила с горькой усмешкой:

— Не так легко полюбить, Григорий Александрович, как следует любить… И надо заслужить право любить… А я… Я не имею права после позорного своего замужества… Не утешайте… Не говорите ничего…

Наступило молчание.

— Нет, не ради какого-нибудь рыцаря хочу я развода. Я просто желаю быть свободной… Избавиться от этого кошмара.

Никодимцев облегченно вздохнул.

Все эти быстрые перемены настроения, отражавшиеся в выражении его лица, глаз, Инна Николаевна заметила, и ей это было приятно. Ее трогала эта привязанность. Трогала и удивляла деликатностью проявления и тем действительным уважением, которого она до сих пор не видала ни в одном из своих многочисленных обожателей.

— Я не обвиняю этого человека… Я виновата. Зачем выходила замуж… Зачем раньше не ушла от него… И вот теперь… расплата. Он не дает развода. Он грозит судом отнять дочь, если бы я уехала от него… Но зато он предоставляет мне полную свободу жить, как я хочу, только бы я осталась с ним… Вы понимаете, какой ужас он предлагает мне?.. Вы понимаете, какое презрение возбуждает этот человек?..

Никодимцев вспомнил только что бывший на лестнице разговор с Травинским и, полный негодования, промолвил:

— Это что-то чудовищно омерзительное.

И затем с трогательным участием прибавил:

— Как вы должны были страдать, Инна Николаевна… Но больше страдать вы не будете. Не падайте духом и завтра же уезжайте со своей

дочкой из этой квартиры… Вы где думаете пока жить?.. У своих?

— Да.

— Завтра я добуду вам и отдельный вид на жительство.

— А муж не отнимет ребенка?.. Не подаст жалобы в суд?

— Ничего он не сделает. Будьте покойны. Он только застращивал вас! — успокаивал Никодимцев молодую женщину, хотя сам и не уверен был в том, что говорил.

Разумеется, он мог устроить так, чтобы этот «негодяй», как мысленно назвал Никодимцев мужа Инны Николаевны, не смел больше ее беспокоить. Стоило ему только поехать к градоначальнику и попросить, чтобы он «посоветовал» Травинскому оставить в покое свою жену, но Никодимцев решительно отогнал эту мысль, когда она пришла ему в голову, считая такой образ действий предосудительным.

Более всего возлагал он надежд на знакомого своего приятеля, известного присяжного поверенного, который не откажется помочь в этом вопиющем деле, и на подлость мужа Инны Николаевны, который, вероятно, не откажется дать и развод, если ему предложить денег.

И Никодимцев решил отдать на это дело все свои сбережения — тысяч пятнадцать, — которые он скопил, живя очень скромно и не проживая всего своего довольно значительного жалованья. Разумеется, он сделает это от имени Козельского.

— И о разводе похлопочем, Инна Николаевна, и разведем вас… только вы-то не волнуйтесь и не терзайте себя злыми мыслями… Кто не делал ошибок?.. Вы вот свою теперь поправите, и делу конец…

— Спасибо вам, Григорий Александрович. За все, за все спасибо… не только за участие и помощь. Вы сделали для меня нечто большее. Вы вернули мне веру в порядочных людей, уважающих в женщине человека, и заставили меня очнуться и прийти в ужас… Надолго ли меня хватит — не знаю, боюсь говорить… Но никогда я этого не забуду! — горячо и взволнованно проговорила Инна Николаевна.

В первое мгновение Никодимцев не находил слов.

Полный необыкновенного счастья, стараясь скрыть его, он наконец проговорил:

— Вы слишком добры, Инна Николаевна, и слишком мало цените себя… Уж если считаться, то я должен благодарить вас за доверие и друж-

бу… Мне, одинокому старику, она так дорога и так красит жизнь…

Он готов был сказать, что только теперь понял прелесть жизни, потому что любит Инну Николаевну и будет любить, и не может не любить ее, что она одна теперь владеет его мыслями, но вовремя остановился, считая такое признание прямо-таки святотатственной дерзостью и подлостью именно теперь, когда Инна Николаевна так дружески и доверчиво отнеслась к нему. Она никогда не должна знать про его любовь. И на что она ей?.. Разве возможно, чтобы Инна Николаевна могла отнестись иначе как с негодованием или с обидным сожалением к влюбленному пожилому человеку, да еще такому некрасивому, как он?

Такие мысли не раз приходили в голову мнительно-самолюбивого Никодимцева, и он даже в мечтах не допускал возможности быть любимым, да еще такой молодой, такой красивой, такой умной и отзывчивой женщиной, как Инна Николаевна.

— И, значит, мы во всяком случае квиты, Инна Николаевна! — прибавил весело Никодимцев.

Скоро подали чай, и они пошли в столовую.

И чай, и хлеб, и масло — все казалось необыкновенно вкусным Никодимцеву.

В двенадцатом часу он стал прощаться и снова повторил Инне Николаевне, чтобы она не беспокоилась и завтра переезжала к своим.

— А паспорт я завтра вечером сам привезу, если позволите…

— Конечно…

— А вещи ваши…

— Я ничего не хочу брать…

— Вот вы какая…

Никодимцев хотел сказать: хорошая, но вместо этого покраснел от удовольствия.

— А затем, Инна Николаевна, когда вы отдохнете, можно будет приискать вам какие-нибудь занятия, если они вам нужны и если вы соскучитесь без дела. Хотите?

— Еще как хочу… Но только боюсь, Григорий Александрович…

— Чего?

— Что я после праздной жизни ни к чему не способна.

— Я вам отвечу, как ответил во «Власти тьмы» отставной солдат: «А вы не бойтесь, и не будет страшно». Попробуйте… Ну, да об этом еще поговорим… Спокойной ночи, дай вам бог хороших снов, Инна Николаевна!.. А мне еще надобно с своими бумагами повозиться…

— И долго будете работать?

— Часа два-три… Да я привык к работе… Всю жизнь за ней просидел и не заметил, как старость подошла…

— Ну, уж и старость. Вы просто кокетничаете своею старостью, Григорий Александрович.

— Нет, Инна Николаевна, нет… Старик, старик! И не утешайте меня из любезности. Я знаю себе цену! — почти строго произнес Никодимцев.

Прощаясь, он опять-таки не поцеловал руки Инны Николаевны, как делал это прежде, а только крепко ее пожал.

И Инна Николаевна поняла и оценила эту тонкую деликатность.

«Зачем я его раньше не встретила?» — подумала она, направляясь в свою комнату.

На следующий день, во втором часу, Инна Николаевна, Леночка и фрейлейн Шарлотта уехали в карете к Козельским.

Инна Николаевна сочла возможным взять с собою только свое приданое белье, несколько своих вещиц, книг и детское белье и платье. Все хозяйственные деньги, бывшие у нее, все драгоценные вещи: браслеты и кольца, в том числе и обручальное, она положила в небольшую шкатулку и поставила на письменном столе в ка-

бинете мужа вместе с коротенькой записочкой, в которой извещала, что оставляет его навсегда.

Прислуга, разумеется, догадалась, в чем дело, и с молчаливым сочувствием проводила барыню.

Инна Николаевна была в большой тревоге, несколько раз высовывалась из окна, чтобы просить кучера ехать скорее. Она боялась погони. Ей казалось, что вот-вот муж остановит карету и отнимет ребенка. И вместе с мужем в ее воображении являлся образ Привольского, и она вздрагивала с чувством отвращения.

Успокоилась она только тогда, когда вошла в квартиру отца.

Глава одиннадцатая

I

Дома была одна Антонина Сергеевна. Она торопливо вышла в прихожую, когда горничная сказала, что приехала молодая барыня.

— А мы к вам совсем, мама. Позволишь?

В голосе Инны Николаевны звучала детская жалобная нотка.

И она с какою-то особенной порывистостью и лаской, словно бы и радуясь и в то же время прося за что-то прощения, стала целовать лицо и руки матери.

— Больше нет сил, мамочка! — шепнула она.

И слезы покатились из глаз Инны Николаевны.

Антонина Сергеевна прижала голову дочери к своей груди и тихо гладила ее голову своей вздрагивающей рукой, как, бывало, гладила, когда Инночка была маленькой девочкой.

Увидав, что лакей Иван и швейцар не знают, куда нести большую корзину, привезенную Инной Николаевной, Козельская приказала нести ее в свою комнату. И, расцеловав затем внучку,

сказала дочери, когда все вошли в гостиную:

— Ты будешь с Леночкой жить в моей комнате, Инночка, а фрейлейн будет спать в столовой, а я возьму себе комнату, где стоят шкапы… Их оттуда вынесут, и мне будет отлично…

— Что ты, мама… Я в той комнате помещусь…

Но Антонина Сергеевна и слышать не хотела.

— Завтракали ли вы? — спохватилась она.

— Я не хочу, мама… А Леночке вели сделать котлетку.

Как ни приятно было Инне Николаевне сознание, что она уехала от мужа, но в то же время она чувствовала, что переселение ее стеснит всех и главным образом мать, и это несколько отравляло ее удовольствие.

Антонина Сергеевна сделала распоряжение, чтобы Леночке была котлета и молоко и чтобы очищена была маленькая комната, и, вернувшись в гостиную к дочери, снова горячо обняла ее, всплакнула и затем спросила:

— А он что? Он знает?

— Нет, мамочка. Я оставила записку.

— Бедная ты моя деточка!.. Я догадывалась, что ты несчастлива… Недаром я была против этого брака! — говорила Антонина Сергеевна, забывая, что она ни одним словом не выразила своей

дочери протеста против ее брака с Травинским и вообще не считала нужным в чем-нибудь стеснять своих дочерей.

Она принадлежала к типу тех матерей, которые слепо любят своих детей. Антонина Сергеевна обожала мужа, обожала дочерей и, полная этого обожания, создавшая из него культ, заботилась, чтобы все их желания были удовлетворены, баловала их и вполне была уверена, что, отдав им всю свою жизнь, безупречную и светлую, она добросовестно исполнила свои обязанности и воспитала превосходных женщин — таких же преданных долгу и таких же «однолюбок», какою была сама, и что ставила себе в особую заслугу и чем особенно гордилась.

Несмотря на страстную и готовую на всякие жертвы любовь Антонины Сергеевны к дочерям, между ними и ею не было духовной близости. Мать совсем не знала внутреннего мира дочерей и, влюбленная в них, не замечала того, что легко бросалось в глаза посторонним. Неглупая, видевшая недостатки в чужих людях, она была совсем слепою и, казалось, наивною в оценке своих дочерей, и чем старше они становились, тем более хроническою становилась эта слепота безграничной веры.

Так Антонина Сергеевна и продолжала жить в каком-то сентиментальном мираже, в культе обожания, ласк, поцелуев и забот о дочерях и в лелеянии ревнивых подозрений, и в мучительных розысках любовниц мужа, когда она сделалась несчастной женой все еще любимого человека.

И муж и дети сохраняли этот мираж, чтобы не причинить страданий женщине, которую считали безупречною и святою.

Обманывал ее более или менее умело муж. Скрывали от нее все, что могло огорчить ее, обе дочери. Инна, не обращавшая внимания, что про нее говорят, боялась недоверчивого взгляда матери и находила мучительное утешение в том, что мать, одна только мать, считает ее чистою и непорочною и не поверит ничему дурному, если бы до нее и дошли какие-нибудь слухи. Даже Тина, проповедовавшая в последнее время теорию приятных ощущений со смелостью самолюбивой барышни, желавшей удивить всех оригинальностью мнений и самостоятельностью поступков, непохожих па поступки других, — и та, несмотря на свою резкость и равнодушие к чужим мнениям, стеснялась высказывать свои взгляды при матери, чтобы не огорчить ее и не обнажить, так сказать, себя перед любимой, почитаемой и

потому всегда обманываемой матерью.

— Как это все вышло? Из-за чего у вас дело дошло до разрыва? Было объяснение?.. Ведь он все-таки любит тебя, Инночка? Не правда ли?.. И очень любит? — спрашивала мать, любовно и грустно взглядывая на дочь и плотнее усаживаясь на диван, чтобы выслушать подробный рассказ дочери о том, как все это вышло.

Эти вопросы кольнули Инну Николаевну. О, как далека мать от понимания всего ужаса ее брачной жизни и ее душевного настроения. А ведь сама несчастлива с отцом!

— Я не любила его, мама… И вообще мы с ним не сходились… И вышло это просто, как видишь… Я приехала к вам и не вернусь более к нему… Положим, я во многом виновата перед ним, но…

— Что ты, что ты, Инночка! В чем ты могла быть виновата перед ним?.. Если немножко кокетничала, так что ж тут дурного? Он все-таки не имеет права ни в чем тебя упрекнуть… Ты была честной и верной женой… Точно я тебя не знаю.

«Если б мама знала!» — пронеслось в голове Инны Николаевны.

И она прижалась головой к матери, словно ребенок, ищущий защиты, и сказала:

— Не будем пока об этом говорить, мама… Я

виновата уж тем, что была женой человека, которого не любила…

И мать и дочь несколько минут сидели молча.

Наконец Инна Николаевна спросила:

— А папа не будет недоволен, что я приехала?.. Мне все кажется, что я стесню вас…

— Как тебе не стыдно, Инночка!..

И Антонина Сергеевна стала говорить, как она рада, что Инночка и Леночка будут около нее и что, конечно, отец тоже будет рад. Он ведь так любит и ее и Тину. И, разумеется, никакого стеснения и быть не может. Напротив, в доме станет веселее от присутствия внучки.

В это время в гостиную вошел лакей и доложил Инне Николаевне, что кучер просит деньги.

— Я и забыла… Заплати, мамочка! — попросила она и по-французски прибавила: — Ведь я ничего оттуда не взяла… Одно белье и платье, которое на мне…

— Милая! Это благородно! — воскликнула мать и, отпустив лакея, снова обняла Инну Николаевну и сказала, что она поговорит с отцом, и, конечно, он с удовольствием даст денег, и у Инночки будет все, что нужно. — И у меня есть свои триста рублей. Возьми их, голубка!

Хотя Инна Николаевна не сомневалась, что

отец не откажет, все-таки сознание материальной зависимости от него несколько отравляло радость нового ее положения, и она подумала, что непременно попросит Никодимцева приискать ей какие-нибудь занятия.

За четверть часа до обеда пришла Тина, закрасневшаяся, свежая, оживленная.

По обыкновению, она не сказала матери, где была, и, здороваясь с сестрой, проговорила:

— Цвет лица у тебя нехороший. Видно, мало ходишь. Надо ходить, ходить.

И, когда мать сказала, что Инна будет жить теперь с ними, молодая девушка радостно проговорила:

— Наконец-то ты рассталась со своим идиотом. Надеюсь, примирения больше не будет?

— Надеюсь…

— Ты не раскисай, Инна. Не вздумай его пожалеть.

— Теперь уж не пожалею! — значительно проговорила Инна Николаевна.

— Конечно, разведешься?

— Он не хочет давать развода.

— Не хочет? Какой негодяй!.. Видно, надеется, что ты вернешься? Вот и выходи после этого замуж! — смеясь, проговорила молодая девушка.

— Не все же такие, Тина! — заметила Антонина Сергеевна.

— Все, мама! — категорически заявила Тина, точно она отлично знала мужчин. — Пока женщина, которую они любят, как говорят, при них, они готовы ползать на четвереньках, а уйди она… А ты, Инна, попросила бы Никодимцева.

Инна Николаевна слегка покраснела.

— О чем?

— Чтобы он тебе помог, если твой идиот в самом деле будет упрямиться…

— Но что же Никодимцев может?

— Он может поехать к начальнику твоего мужа и попросить…

— Это лучше папе сделать! — заметила Антонина Сергеевна.

— Для папы не сделают того, что сделают для Никодимцева. А он порядочный человек и, конечно, с удовольствием исполнит просьбу Инны! — сказала молодая девушка, не сомневавшаяся, как и многие, что Никодимцев близок с Инной Николаевной.

— Он и так был настолько добр, что обещал выхлопотать мне отдельный вид на жительство…

Антонина Сергеевна вышла из гостиной. Сестры пошли в комнату Татьяны Николаевны.

— Он тебе и развод выхлопочет. Это в его интересах! — заговорила Тина.

— Это почему?

— Да потому, что он влюблен в тебя и…

— И что еще?

— И, разумеется, скоро сделает тебе предложение, Инна… Точно ты сама этого не знаешь… А за него еще можно рискнуть… Он, наверное, в разводе не откажет… Не правда ли, Инна? — с веселым смехом говорила Татьяна Николаевна.

— Не сделает он мне предложения, и не пойду я за него замуж, Тина! — серьезно проговорила старшая сестра.

— Отчего? Разве он тебе не нравится?..

— Тина… Тина… Ты все еще веришь в свою теорию приятных ощущений?

— Верю и живу ими. А ты разве нет?..

— Я пришла в ужас от них, Тина… Нет, Тина, так жить нельзя… Придет час расплаты…

Молодая девушка насмешливо посмотрела на сестру.

— Ты моралисткой стала. С каких это пор?

— С недавних.

— Поздравляю! Это чье же влияние? Никодимцева?

— Отчасти и его. И я хотела бы, чтобы и ты

встретила такого человека, как Никодимцев, Тина. Не шути с жизнью. Дошутишься до того, что станешь презирать себя… Избави тебя бог от этого…

— Слова, слова, слова!..

— Пожалуйте кушать! — доложил вошедший лакей.

II

Новость, сообщенная Антониной Сергеевной мужу, как только он приехал домой, не удивила Николая Ивановича. Он тоже выразил удовольствие, что Инна оставила этого идиота. Она, разумеется, должна развестись с ним и как можно скорее. «Инна молода, хороша собой и может еще выйти замуж», — думал Козельский, решивший, что оставление мужа дочерью явилось не без влияния Никодимцева. Что Никодимцев влюблен в Инну, в том Козельский не сомневался, особенно после джентльменского поступка Никодимцева в ресторане Донона, о котором Николай Иванович узнал на днях, и, разумеется, от Инны зависит женить его на себе. Партия блестящая и родство очень выгодное. Человек он очень умный и во всех отношениях порядочный, и при этом еще не старый, здоровый и крепкий,

и может понравиться женщине. С ним Инна, наверное, перестанет подавать повод к разговорам, подобным тому, из-за которого Никодимцев не испугался риска нарваться на «историю». Только надо ковать железо, пока горячо, и Инна, разумеется, сделается женой Никодимцева, пока он по уши влюблен и, следовательно, не поверит тому, что о ней говорят… Одним словом, Козельский возлагал большие надежды на то, что и он в качестве тестя такого видного человека так или иначе, но поправит свои дела.

Денег на экипировку Козельский обещал дать «сколько нужно», хотя и подумал, что Инна напрасно не взяла свои платья и драгоценные вещи, но просил только повременить несколько дней. У него будут деньги… Он должен получить…

Козельский говорил так небрежно-уверенно, что Антонина Сергеевна, давно уже не посвящаемая в денежные дела мужа, горячо поблагодарила и ушла из кабинета вполне довольная за Инну.

А между тем на сердце у Козельского скребли кошки. Назавтра предстояла новая уплата по векселю, и сегодня он денег не достал и не знает, куда обратиться. Всюду — он должен. Во всех местах, где он получал жалованье, оно уже забрано, и его превосходительство решительно не знал,

как извернуться и что ему делать. Если даже он и заплатит завтра, во всяком случае дела его от этого не поправятся. Ему необходимо где-нибудь достать крупный куш — тысяч десять, чтобы расплатиться с более назойливыми долгами и несколько успокоиться от этой каторги — вечного искания денег.

Он в разных служебных местах нахватывал до двадцати тысяч и всегда был без денег. У него всегда были какие-то старые долги, которые он выплачивал, и всегда ему не хватало денег на тот train жизни[12], какой он вел. И он легкомысленно надеялся на возможность сразу получить крупный куш и сразу поправить дела, выдумывая разные предприятия, вступая в компанию с сомнительными дельцами. Но или предприятия оказывались несбыточными, или у Николая Ивановича не было ни достаточно уменья, ни влиятельных связей, но только ни одно дело его не приносило ему большого куша, а лесное, на которое он так надеялся, принесло ему еще убыток, и весьма порядочный, на так называемые «предварительные расходы», часть которых пала на его долю. А деньги были заняты, и заняты на

---

[12] Примечания: 12
Образ жизни (от франц. le train de vie).

короткий срок.

Сегодня вечером Николай Иванович должен был сделать последнюю попытку: иметь свидание с одним евреем, подставным лицом знакомого тайного советника, который приумножал свое состояние ростовщичеством за чужой спиной. Если эта попытка не удастся…

— Ника! Мы ждем тебя, Ника! — проговорила, входя в кабинет, жена. И, заметив озабоченное лицо мужа, беспокойно прибавила: — Ты чем-то расстроен… Что с тобой?..

— Ничего, право ничего… Просто устал немного, Тоня… Прости, что заставил себя ждать.

И, с изысканной любезностью предложив жене руку, прошел с ней в столовую.

Он с особенною ласковостью поздоровался с Инной Николаевной, расцеловал внучку, протянул руку фрейлейн и сел на свое обычное место около Антонины Сергеевны.

— Теперь мы все в сборе! — значительно проговорил Козельский, взглядывая на Инну Николаевну. — И я очень этому рад.

Он на время позабыл о делах и с обычным легкомыслием почему-то надеялся, что убедит еврея дать ему денег. И, успокоив себя этой надеждой, он за обедом был очень мил: находил

все вкусным, к удовольствию Антонины Сергеевны, не без насмешливой игривости рассказал, что недород официально признан и что о нем можно будет говорить в газетах, весело сказал Инне Николаевне, что «все хорошо, что хорошо кончается», шутил с внучкой и с Тиной и после второго блюда что-то шепнул лакею, сунув ему в руку деньги.

И когда перед жарким розлили по бокалам шампанское, Козельский поднял бокал и предложил выпить за Инночку, вырвавшуюся из вавилонского плена.

— А мы уж тебя больше в обиду не дадим! Разведем с твоим умником! — ласково прибавил отец и, поднявшись с места, подошел к дочери и крепко ее поцеловал.

Инна Николаевна была тронута. Целуясь с отцом, матерью и сестрой, она чувствовала себя в атмосфере нежной ласки, уверенная, что в обиду ее не дадут. Но все-таки вспомнила при этом и Никодимцева…

Не познакомься она с ним?..

После обеда Козельский увел Инну Николаевну в кабинет и, усадив ее на диван, стал закуривать не спеша сигару.

Инна Николаевна не без восхищения глядела

на своего моложавого, красивого, элегантного и порочного отца.

— Ну, поговорим, Инночка, — заговорил он своим мягким, певучим голосом. — Во-первых, выдал он тебе вид на жительство?

— Нет, папа. Он застращивал меня судом. Грозил отнять Леночку.

— Ну, это дудки!.. А паспорт мы и без него добудем.

Инна Николаевна сказала, что паспорт обещал сегодня привезти Никодимцев.

— И отлично. Спасибо Григорию Александровичу, что он принял в тебе участие. Он очень порядочный человек и действительно предан тебе… И я сердечно поблагодарю его сегодня же, если застану у нас… В половине восьмого мне надо ехать по делу… И свою порядочность и уважение к тебе он доказал… Он не нынешним молодым людям чета… Не правда ли… джентльменский поступок?.. Можно сказать, по-рыцарски поступил…

— Ты про что говоришь?.. Про какой рыцарский поступок Никодимцева?

— Да разве ты не знаешь?.. Ничего не слыхала? Твой муж ничего не говорил?

— Я ничего не знаю.

Тогда Козельский рассказал о том, как Никодимцев заставил замолчать одного молодого мерзавца, позволившего себе недостаточно уважительно и слишком громко говорить с товарищем об Инне.

— Ты ведь знаешь, как клевещут на женщин, особенно если они красивы! — успокоительно сказал Козельский.

— Кто были эти господа и что они говорили? — внезапно бледнея, спросила Инна Николаевна.

— Приятели твоего мужа… Служат вместе… Да ты что волнуешься, Инночка?.. Мало ли негодяев… Но только Григорий Александрович поступил как истинный джентльмен… Мне говорил Магомет — татарин, который был свидетелем этой сцены… Григорий Александрович побледнел как полотно, подошел к соседнему столу, за которым сидели эти господа, и сказал, что он задушит, если тот мерзавец скажет слово… Немножко по-мальчишески для будущего товарища министра, но… благородно…

Передавая об этом не без тайного умысла возбудить в Инне Николаевне больший интерес к Никодимцеву, Козельский никак, конечно, не рассчитывал, что дочь примет историю несколько трагически, и был изумлен, когда, вместо

радостного чувства польщенного самолюбия, в ее лице было что-то страдальческое…

— А Никодимцеву эти… господа не ответили дерзостью? — взволнованно спросила она.

— Такие господа трусы… Он бросил им карточку… и они извинялись перед ним…

— Когда это случилось?

— В прошлое воскресенье.

«Так вот отчего он не приезжал и вот отчего не хотел ездить, боясь скомпрометировать меня. Верно, говорили про него!» — подумала Инна Николаевна, тронутая деликатною, самоотверженною любовью Никодимцева.

— Да, Инночка, вот это истинная преданность… Ты, видно, околдовала этого Никодимцева…

— Тут не я, папа… Он, я думаю, вступился бы, если б при нем позорили и совсем незнакомую женщину…

— Положим, но все-таки едва ли бы так горячо…

И Инна подумала, что отец, пожалуй, и прав. И ей было это очень приятно, и в то же время ей хотелось как можно скорее «открыть ему глаза» на себя и сказать, что многое из того, что говорили о ней, — правда.

«А там будь что будет! Довольно лжи!»

Козельский еще раз сказал дочери, что в обиду не даст, и сказал, что надо скорее разводиться. Деньги на развод он, конечно, даст.

— Но муж ни за что не даст развода, папа.

— Он говорил?

— Говорил.

— О, какая скотина!.. Я с ним поговорю… Быть может, удастся убедить его…

— Вряд ли…

— Тогда… тогда знаешь ли что, Инночка?.. Надо будет попросить Никодимцева…

— Он уже предлагал свои услуги! — промолвила Инна Николаевна. — Но только лучше попробуй ты, папа… Поговори с мужем… Быть может… что-нибудь выйдет…

— Во всяком случае, выйдет что-нибудь хорошее! — значительно проговорил Козельский, целуя дочь. — А пока до свидания. Надо ехать. Передай мой привет Григорию Александровичу, если он приедет!

Козельский уехал делать последнюю попытку.

III

Инна Николаевна уложила Леночку спать и в ожидании Никодимцева ходила взад и вперед по комнате, со страхом думая об объяснении, кото-

рое она должна иметь с ним. Его заступничество произвело на нее сильное впечатление и в то же время обязывало ее рассказать про свою жизнь…

«Но только не сегодня и не сказать… лучше написать».

Эта мысль несколько успокоила ее. По крайней мере сегодня он еще будет такой же любящий, добрый.

Пробило девять часов. Никодимцев не ехал, и Инна Николаевна то и дело подходила к окну, из которого был виден подъезд, и всматривалась, не подъедет ли Никодимцев. И в голову ее лезли мрачные мысли. Ей казалось, что Никодимцев более никогда не приедет, что он узнал, какая она, и что она лишится единственного друга, которого так неожиданно послала ей судьба.

— Вам письмо, Инна Николаевна. Курьер привез и спрашивает, будет ли ответ? — доложил лакей, подавая на маленьком серебряном подносе письмо.

«Он не приехал!» — подумала Инна Николаевна.

И сердце ее тревожно забилось, когда она вскрыла большой конверт, в котором находилась зелененькая паспортная книга.

Но лицо ее просветлело, когда она прочитала

маленькую записочку, в которой Никодимцев извещал, что, несмотря на желание узнать лично о здоровье Инны Николаевны, он не решается ее беспокоить в день ее переезда и просит позволения приехать завтра, чтобы лично сообщить приятные известия о возможности развода.

Повеселевшая, она тотчас же написала ему:

«Спасибо, горячее спасибо. Приезжайте завтра. Буду ждать».

— Положительно, мама, Никодимцев образец порядочности! — проговорила Инна Николаевна, входя в столовую.

— А что?..

— Прочитай его записку и оцени деликатность его неприезда…

— Да… вполне приличный господин. И радостную вещь сообщил. Спасибо ему.

— Какую? — спросила Тина.

— Что привезет приятное известие о разводе.

— Гм… Как, однако, твой корректный чиновник торопится с твоим разводом.

Инна Николаевна промолчала.

— Ты что этим хочешь сказать, Тина? — простодушно спросила Антонина Сергеевна.

— Хочу сказать, что он старается для себя…

— То есть как?

— А так… Влюблен в Инну и, наверное, сделает ей на днях предложение…

Мать вопросительно взглянула на Инну. Та полушутя сказала:

— У Тины фантазия большая, мама. Вот и все.

В это время вошел лакей и, обратившись к Тине, сказал:

— Вас, барышня, какой-то студент спрашивает, Скурагин.

— Первый раз слышу фамилию! — удивилась Тина.

— Очень бедно одетый, в летнем пальтеце… Зазябши. Прикажете отказать?

— Просите в гостиную.

— Я ему пришлю чаю, Тиночка! — сказала Антонина Сергеевна.

Тина вышла в гостиную.

Через минуту из-за портьеры показался черноволосый, худощавый студент, в очень потертом форменном сюртуке и в стоптанных сапогах, замечательно красивый, серьезный и несколько взволнованный.

— Скурагин! — произнес он твердым тоном.

И, взглядывая на молодую девушку своими прелестными большими черными глазами строго, почти неприязненно, протянул ей первый

зазябшую красную руку и спросил:

— Вы Татьяна Николаевна Козельская?

— Я! — ответила Тина.

И, пораженная одухотворенною и, казалось, несознаваемою молодым человеком красотою его бледного строгого и мужественного лица и в то же время недовольная, что он, подобно большей части мужчин, не испытывает ни малейшего обаяния ее вызывающего, хорошенького личика, она кокетливо ему улыбнулась, словно бы хотела расположить студента в свою пользу этой улыбкой и сказать: «Погляди, какая я хорошенькая!»

Но студент не только не сделался от этой улыбки приветливее, а еще холоднее и строже произнес:

— Мне надо с вами поговорить. Здесь можно? — нетерпеливо прибавил он, бросая взгляд на полуоткрытую дверь в столовую.

Заинтересованная этой таинственностью, Тина сказала:

— Пойдемте в кабинет отца…

И, когда они вошли туда, села на кресло и, указывая на другое, сухо бросила:

— Присядьте.

Но студент не сел.

— Я к вам по поручению Бориса Александрови-

ча… Он просит…

— Но как он смел обратиться к чужому посредству? — высокомерно перебила молодая девушка, чувствуя, что краска заливает ее лицо.

— Потрудитесь выслушать, и тогда вы поймете, что он смел! Он сегодня в три часа дня пустил себе пулю в грудь и находится теперь в больнице… Написать не мог и потому просил меня передать вам свою просьбу приехать к нему завтра утром, в общину святого Георгия на Выборгской стороне…

Тина ахнула. Еще сегодня она утром была у него.

— Он не смертельно ранил себя? Он будет жить? — испуганно спросила она.

— Доктора подают надежду, но… рана опасная. Что прикажете ему ответить?

— Я буду.

— В котором часу?

— В десять утра. Можно?

— Да. Имею честь кланяться!

Студент поклонился и вышел.

Тина несколько минут сидела неподвижная.

— Какой он, однако, глупый!.. Стреляться! — прошептала она, и вдруг слезы полились из ее глаз.

В кабинет заглянула Инна Николаевна.

— Тина… голубчик… Что с тобой?..

— Борис Александрович стрелялся… Рана опасная… Просит приехать завтра в больницу… Не говори ни слова маме! — вытирая слезы, говорила молодая девушка.

И, несколько успокоившись, прибавила:

— Он настаивал, чтобы я вышла за него замуж, а я… я сегодня была у него и сказала, что замуж не выйду… Довольно с него, что я… целую его, пока мне хочется… А он принял все это трагически…

— Поедем сейчас к нему, Тина… Я скажу маме, что хочу прокатиться…

— И скажи, что студент приходил от… от Ольги Ордынцевой… звать к ним…

Через несколько минут сестры выходили из подъезда. На подъезде их встретил отец.

— Вы, милые, куда? — спросил он.

— Прокатиться немного… У меня голова болит, папа! — сказала Инна Николаевна.

— Так берите моего извозчика… У него хорошая лошадь!

Козельский вошел в квартиру и прошел в кабинет. Деньги он достал, но какою ценою?

И его превосходительство чувствовал какую-то неловкость и что-то похожее на стыд, когда до-

стал из бумажника чек на пять тысяч.

«Но я возвращу их!» — старался успокоить себя Козельский и сознавал, что все-таки он взял взятку.

— И как это все случилось неожиданно! — прошептал он, вспоминая, как это случилось.

Глава двенадцатая

I

Когда в этот вечер Козельский ехал на Васильевский остров к Моисею Лазаревичу Бенштейну, «работавшему» деньгами тайного советника Шпрота, почтенного, убеленного сединами старичка необыкновенно добродушного вида, с которым Козельский изредка встречался в «картофельном» клубе, — он со страхом думал, достанет ли он полторы тысячи, или нет.

Завтра срок векселю, послезавтра надо уплатить до двенадцати часов у нотариуса. Переписать вексель невозможно. Уж он два раза переписывал. Требовали уплаты.

Как обыкновенно бывало в последнее время все более и более трудных поисков денег, его превосходительство находился в тревожно-нервном и мрачном настроении. Встречая на Невском людей в собственных экипажах, едущих в театры, спокойных, довольных и, казалось Козельскому, с туго набитыми бумажниками в карманах, он завидовал этим людям, злился на них и находил даже несправедливым неравномерное распре-

деление богатств. У одних их много, а вот он, умный, порядочный и работающий человек, должен искать какие-либо несчастные полторы тысячи рублей, от которых он так позорно и глупо зависит.

«Даст или нет?»

И его превосходительство, подсмеивавшийся дома над разными предрассудками и приметами, загадал: если он успеет закурить папироску до углового дома, то получит, а не успеет — нет. Ветер поддувал сильный, и, несмотря на то, что Козельский старался как можно быстрее спрятать зажженную спичку в выдвинутую спичечную коробку, с первого раза закурить ему папироски не удалось. И это было ему неприятно, но он успокоил себя тем, что имел намерение (хотя и вовсе сперва не имел) повторить опыт до трех раз, и если с трех раз не закурит, тогда…

И Козельский был очень рад, когда в третий раз закурил папироску, поравнявшись с угловым домом. Рад был, и когда фамилия на первой вывеске имела четное число букв.

Но это довольное чувство быстро исчезало от сознания невыносимости своего финансового положения. И тогда он придумывал средства, как бы выбраться из этой каторги постоянного

искания денег и долгов, останавливаясь на более или менее проблематических комбинациях о каком-нибудь предприятии, провести которое при помощи Никодимцева будет нетрудно. И вообще Никодимцев мог бы помочь ему если не в этом, то в устройстве ему какой-нибудь хорошо оплачиваемой синекуры[13]. Он должен сделать для отца женщины, которую любит.

И в то же мгновение в голове Козельского пронеслась мысль — обратиться к самой последней крайности, к Никодимцеву, если Бенштейн откажет. Конечно, лучше бы, если б не пришлось этого делать, но… бывают такие положения, когда разбирать нечего.

И Козельский думал: как это сделать и в какой форме? Написать ли ему о временном затруднении, или поехать и лично рассказать о тяжелом своем положении… Но это показалось ему отвратительным… Никодимцев может подумать, что он эксплуатирует его отношения к Инне.

— Нельзя, нельзя! — проговорил вслух Козельский и решил, что воспользоваться Никодимцевым можно только тогда, когда Никодимцев женится на Инне и, следовательно, между тестем

---

[13] Примечания: 13
Должности, не требующей труда, но дающей большой доход.

и зятем будут близкие родственные отношения.

Придумывая разные выходы из своего положения, Козельский не остановился на самом простейшем и, казалось бы, самом достижимом — на радикальном изменении образа жизни и сокращении, таким образом, расходов, хотя в минуты острых денежных затруднений такие мысли и мелькали в его голове. Но он отлично сознавал их несбыточность. Все его существо со всеми его привычками инстинктивно протестовало против изменения образа жизни, являвшегося для него потребностью, лишение которой он не мог себе даже и представить. Изменить жизнь так, чтобы откладывать на уплату долгов половину заработка, значило: отказаться от двухтысячной квартиры, от превосходного кабинета, мраморной ванны, отличного повара и умелой прислуги, от платья от Пуля, от хороших сигар, от ложи в опере, от журфиксов и от Ордынцевой. Мало того: пришлось бы прервать знакомство со многими нужными и влиятельными людьми, нельзя было бы нанимать приличной дачи для семьи и самому уезжать за границу на два месяца, чтоб отдыхать и освежаться… одним словом, надо было бы отказаться от всего того, что казалось Козельскому единственным благом

жизни, из-за которого стоит работать и добиваться еще больших благ… Это было невозможным и, как думал Козельский, унизительным и для него самого и для его семьи. И как бы смотрели на него не только знакомые, но даже жена и дочери? Умный, способный человек и не может даже устроиться сколько-нибудь прилично? Не может хорошо одевать жену и дочь? Не может позволить себе маленького комфорта любовной связи? Последнее особенно было дорого его превосходительству, и свидания с красивой и умеющей быть желанной Ордынцевой были для Козельского одним из тех значительных благ, без которых жизнь была бы для него скучной и не к чему было бы ему так тренировать себя воздержанием в пище, массажем и гимнастикой.

«Даст или не даст?»

Этот вопрос все более и более удручал Козельского по мере приближения к Васильевскому острову, и, когда извозчик остановился у подъезда одного из больших домов на Большом проспекте, Козельский чувствовал тот страх, какой испытывает гимназист перед экзаменом у строгого учителя.

У него даже схватывало поясницу, когда он спросил у швейцара: где живет господин Бен-

штейн?

— Здесь. Во втором этаже.

— Дома?

— Должно быть, дома.

В швейцарской было тепло, и Козельский приказал швейцару снять с себя шинель с серебристым бобровым воротником, подбитую ильками.

— Не пропадет здесь?

— Помилуйте… Я не отлучусь.

— Так во втором этаже?

— Точно так-с!

Его превосходительство не спеша, чтобы не было одышки, поднялся во второй этаж и с замиранием сердца подавил пуговку электрического звонка у двери, на которой красовалась медная дощечка с вырезанной на ней фамилией по-русски и по-французски.

«Экая каналья, этот жид. В бельэтаже живет!» — подумал с чувством неодобрения Козельский, приподнимая свою красивую голову в бобровой боярской шапке.

Миловидная, щеголеватая горничная отворила двери.

«И горничная прилична!» — подумал Козельский, оглядывая быстрым опытным взглядом

горничную, и спросил с той обворожительной ласковостью, с какою говорил со всеми хорошенькими женщинами:

— Господин Бенштейн дома?

— Дома-с. Но только сейчас они обедают! — отвечала горничная и вся вспыхнула под мягким и ласкающим взглядом Козельского.

— А вы, моя красавица, все-таки передайте сейчас вот эту карточку… Только прежде покажите, куда у вас тут пройти…

— Пожалуйте в гостиную! — улыбаясь, сказала горничная.

Она распахнула дверь и пошла в столовую докладывать.

Козельский вошел в большую гостиную и снова был удивлен роскошью и вкусом обстановки.

«И даже Клевер!» — мысленно проговорил он, останавливаясь перед большой картиной с зимним пейзажем.

«Со вкусом и недурно живет этот жид!» — подумал, и снова почему-то неодобрительно, его превосходительство, присаживаясь в кресло у стола, на котором стояла высокая лампа с большим красивым шелковым абажуром, убранным кружевами.

И опять одна мысль овладела им: «Даст Бен-

штейн или не даст?»

Вся эта обстановка и то, что «этот жид» заставляет его ждать, казались Козельскому весьма неблагоприятными признаками. Настроение его делалось угнетенным, и он почти был уверен, что попытка его занять у Бенштейна не увенчается успехом.

Прошло минут пять, когда из-за портьеры вышел молодой и красивый брюнет, щегольски одетый, с крупным брильянтом на мизинце маленькой и волосатой руки, и с изысканной любезностью произнес, выговаривая слова почти без акцента:

— Прошу извинить, что заставил ждать, ваше превосходительство!

Его превосходительство поднялся с кресла и, приняв тотчас же свой обычный вид барина, кивнул головой и, протягивая молодому человеку руку, проговорил с тем добродушием, которое вошло у него в привычку при деловых сношениях:

— Я сам виноват, что приехал во время вашего обеда, Моисей Лазаревич.

И, не ожидая приглашения садиться, опустился в кресло.

— Чем могу служить вам? — начал Бенштейн стереотипным вопросом.

И, усевшись на диване и приняв необыкновенно серьезный вид, глядел в упор на Козельского своими черными большими и слегка влажными глазами.

Козельский уже не сомневался, что дело его проиграно. И, вероятно, потому он с напускною небрежностью передал рекомендательное письмо одного своего приятеля и клиента Бенштейна и с такою же напускной шутливостью промолвил:

— В письме все изложено. Я могу только пожелать, чтобы оно было убедительно для вас, Моисей Лазаревич.

Козельский закурил папироску.

Он затягивался и пускал дым с нервной торопливостью, взглядывая на Бенштейна, лицо которого сделалось еще серьезнее, когда он читал, и умышленно долго читал, казалось Козельскому.

Наконец господин Бенштейн положил рекомендательное письмо на стол, оставив на нем свою волосатую, маленькую руку с сверкавшим на мизинце брильянтом, словно бы приглашая Козельского полюбоваться им, и проговорил:

— К сожалению, я не могу быть полезным вашему превосходительству, несмотря на готовность

услужить вам. Капиталист, деньгами которого я оперировал, приканчивает это дело и никаких операций больше не производит! — прибавил молодой человек свою обычную форму отказа, когда не считал просителя благонадежным человеком.

А Бенштейн хорошо знал, что его превосходительство запутан в долгах.

Несмотря на ожидание отказа, Козельский, получив его, невольно изменился в лице. В нем было что-то жалкое и растерянное. И в дрогнувшем его голосе прозвучала просительная до унижения нотка, когда он сказал:

— Но мне нужна небольшая сумма, Моисей Лазаревич.

— Именно?

— Полторы… даже тысячу двести и на короткий срок.

— Полторы тысячи, конечно, небольшая сумма, но когда она нужна, то делается большою, позволю себе заметить, ваше превосходительство! — проговорил уже более фамильярным тоном молодой человек. И не без участия осведомился: — Верно, срочный платеж?

— Да.

— И скоро?

— Завтра.

Бенштейн поморщился с таким видом, будто платеж предстоял не Козельскому, а ему.

У Козельского блеснула надежда, и он сказал:

— Вы сделали бы мне огромное одолжение, если бы уговорили своего капиталиста, Моисей Лазаревич.

— Я сделал бы одолжение не вам, а своему доверителю, так как выгодно поместил бы его капитал! — проговорил Бенштейн, видимо, сам очень довольный сказанной им любезностью. — Но что поделаешь с капиталистом? Он принципиально решил прекратить операции и от своего принципа не отойдет! Я его знаю! — говорил молодой человек, щеголяя выражениями «принципиальный» и «принцип». — Я с удовольствием предложил бы вам свои деньги, но у меня свободных нет…

Козельский не сомневался, что Бенштейн врет относительно прекращения операций, и ясно видел, что дальнейшие разговоры бесполезны.

И, негодующий за свое бесполезное унижение перед этим франтоватым «жидом», готовый теперь перервать ему горло, Козельский хотел было подняться, как Бенштейн вдруг сказал, понижая голос и с некоторою значительностью:

— Извините меня, ваше превосходительство,

если я позволю себе выразить свое мнение относительно денег, которые вам нужны…

— Сделайте одолжение.

— Вы вот беспокоите себя… ищете денег под большие проценты, а между тем…

Бенштейн остановился, словно бы в нерешительности, и пристально взглянул на Козельского.

— …А между тем, — продолжал он, видимо решившись, — вам стоит только пожелать, и у вас сейчас же будут деньги… И без всяких процентов, и без всяких условий…

— Каким образом? Я вас не понимаю, Моисей Лазаревич! — спросил Козельский, изумленный и в то же время обрадованный.

Ему пришла в голову мысль, что Бенштейн затевает какое-нибудь предприятие и ищет его помощи.

— Пять тысяч с большим удовольствием предложит вам хоть сейчас мой тесть, господин Абрамсон. Вы его изволите знать… Он подрядчик в вашем правлении… И на него вам напрасно наговорили… Он добросовестный подрядчик, а между тем с Нового года не хотят возобновить с ним контракт. И если бы его возобновили…

Его превосходительство понял, в чем дело, и

густо покраснел.

До сих пор он еще ни разу не брал взяток, хотя и имел возможность, и с брезгливостью относился к людям, которые их брали. Брать взятки Козельский считал позорным делом, но впутываться в разные дела, хотя бы самые двусмысленные, проводить их и брать за это «комиссию» он не находил предосудительным и считал себя вполне порядочным человеком.

Дошел он до этих взглядов на порядочность постепенно. В молодые годы он громил тех дельцов, которые ловили рыбу в мутной воде. В сорок лет, когда сделался одним из директоров железнодорожного правления и частного банка, он находил, что торговля и промышленность имеют свои законы.

Несколько мгновений Козельский молчал.

— Я возобновлю контракт с вашим тестем! — наконец проговорил он.

Через несколько минут явился и господин Абрамсон, и скоро Козельский уехал с чеком на пять тысяч, написав Абрамсону письмо о том, что контракт с ним будет возобновлен.

Кроме того, он обещал дать места племяннику Абрамсона и сестре Бенштейна.

II

Припоминая свое посещение на Васильевском острове, Козельский сознавал, что поступил скверно, но старался успокоить свою совесть и скоро успокоил ее соображениями о безвыходности положения; в котором он находился, и намерением возвратить пять тысяч Абрамсону и не делать ему никаких поблажек. Напротив, строго требовать точного исполнения контракта. Что же касается обещания дать места двум неизвестным ему лицам, то это нисколько не беспокоило Козельского. Мало ли кому приходится давать места.

Через четверть часа Николай Иванович уже распределял с карандашом в руках, на что пойдут пять тысяч. Тысяча двести рублей назначены были в уплату по векселю. Затем Козельский записал: «На уплату мелких долгов 500 р.».

«Непременно надо заплатить триста рублей курьеру и дать ему двадцать пять рублей», — подумал Козельский и стал припоминать, кому еще он должен по мелочам.

Затем он отделил две тысячи на уплату по векселям, срок которых был через месяц, и записал восемьсот рублей на уплату одного старого долга

на слово, но переделал эту цифру на триста рублей, решив, что довольно и трехсот, так как тому лицу, которому он был должен, деньги не нужны и оно о них не напоминает.

В конце концов по списку выходило, что если уплатить часть более или менее неотложных долгов, то из пяти тысяч не останется ни гроша.

И Козельский стал снова переделывать список и уменьшать цифры и наконец составил такой, что осталось полторы тысячи. И Козельский повеселел, решив от этого остатка дать пятьсот рублей Инне на туалеты, подарить триста жене и двести Тине и купить Ордынцевой рублей в триста брильянтовое кольцо на мизинец. Оно очень пойдет к ее красивой руке.

«Кстати завтра наш день!» — вспомнил Козельский и, поднявшись с кресла, подошел к зеркалу и взглянул на свое моложавое, красивое лицо с удовлетворенным чувством человека, который еще может нравиться женщинам.

«Отлично бы завтра пообедать с Нитой у Донона и потом провести вечер вместе, вместо того чтобы видеться, как обыкновенно, днем. Разнообразие не мешает!» — не без игривости подумал его превосходительство и, возвратившись к столу, написал две записки: одну Ордынцевой,

чтобы была в шесть часов вечера в Гостином, у магазина Вольфа, другую в «приют», чтобы все было готово.

Приказав своему старому Кузьме бросить письма в почтовый ящик, Козельский спрятал долговой список в жилетный карман и пошел в столовую, чтобы попросить чаю, захватив с собою корзину с дюшесами, которые он купил в Милютиных лавках, возвращаясь с Васильевского острова, заплатив за десяток десять рублей.

Антонина Сергеевна удивилась, что муж дома, и распорядилась скорее подавать самовар.

Когда у Козельского бывали в кармане деньги и не наступали сроки платежей, он бывал в хорошем расположении духа, весел и мил дома и особенно любезен с женой.

И теперь, передавая ей корзинку, он ласково проговорил:

— Ты любишь груши, Тоня. Кажется, они недурны.

Эта внимательность всегда трогала Антонину Сергеевну, и она сказала:

— Баловник ты, мой милый, и умеешь бросать деньги..

Козельский просидел вдвоем с женой около часу, и эта редкость была необыкновенно при-

ятна Антонине Сергеевне. Они разговаривали главным образом об Инне. Козельский сообщил, что Никодимцев влюблен в Инну и что было бы большим счастьем, если бы она вышла за него замуж.

Антонина Сергеевна была очень удивлена. Она и не догадывалась. Да и Инна, кажется, не догадывается, говорила она и тревожно спросила:

— А разве Лева даст развод?..

— Мы его заставим дать развод. Заставим этого идиота! — энергично проговорил Козельский, возбуждавшийся при мысли, что идиот может помешать такой блестящей партии.

Говорили и о второй дочери. Отец сказал, что миллионер Гобзин сейчас же женился бы на Тине, если бы только она захотела. Но он ей не нравится… И никто ей не нравится.

— Кажется, Борис Александрович…

— Да разве она пойдет за этого голыша?.. Он милый человек, но надо же содержать жену… Ну, положим, мы помогали бы им… Все-таки это не устраивало бы их… У Тины известные привычки…

— Но когда любишь…

— В том-то и дело, что Тина никого не любит…

— Еще, значит, время не пришло. А полюбит,

так за нищего выйдет. Что у тебя и у меня было, когда мы поженились! Ничего, кроме твоей умной головы на плечах.

И Антонина Сергеевна влюбленными глазами глядела на мужа…

Когда Козельский, уходя в кабинет, простился с женой, по обыкновению целуя ее руку, Антонина Сергеевна благодарила его за то, что он с ней посидел.

— Я еще посидел бы, но надо поработать.

— Иди, иди, милый…

— А завтра не придется дома обедать… Сегодня звал председатель правления… Неловко отказаться…

— И не отказывайся… Поезжай, Ника… Не все же тебе дома сидеть!.. — говорила любящая женщина, словно бы забывая, что «Ника» и без того редко сидит дома.

«Ну как не беречь такую жену!» — не без умиленного чувства мысленно произнес тронутый муж.

В том, что он ее «берег», то есть хорошо скрывал свои связи, он находил оправдание и считал себя хорошим мужем, щадившим самолюбие своей жены и не позволявшим себе давать повод к пересудам о ней, как о несчастной женщине. Другие

мужья — и Николай Иванович вспомнил этих других — не стесняются, чуть не открыто живут со своими любовницами, а он никогда этого не делал и никогда не сделает, оберегая «святую женщину» от напрасных страданий.

Так рассуждал Козельский, только что солгавший о приглашении на обед, и вместо скучных бумаг, лежавших в портфеле уже третий день, он снял свой вестон и принялся за упражнения с гирями.

Довольный, что он свободно поднимает их, не чувствуя усталости, и полный удовлетворенного чувства от сознания своей физической крепости и своего здоровья, он в это время забыл и думать о том, как получил чек в пять тысяч, и, жизнерадостный, думал о завтрашнем дне.

Глава тринадцатая

Сестры всю дорогу молчали.

Когда извозчик переехал Александровский мост и, минуя Медико-хирургическую академию, завернул в плохо освещенную улицу Выборгской стороны, Инна спросила:

— Ты знаешь, где община святого Георгия?

— Должно быть, где-то здесь, недалеко… Найдем!

И извозчик решительно стегнул лошадь.

Действительно, он скоро нашел и остановился у подъезда больницы со стороны набережной. Но двери были заперты.

Стоявший у Сампсониевского моста городовой подошел и объяснил, что если желают попасть в больницу, то надо ехать назад и повернуть в Костромскую улицу, где ворота в больницу.

Извозчик повернул назад и скоро въехал в глухую полутемную улицу.

— Вот она самая! — проговорил он, останавливаясь у запертых ворот.

Калитка была не заперта, и дамы вошли. Сторож указал им на освещенные окна больницы. Они пошли через большой двор и вошли в од-

ну из дверей здания больницы. Ни души. Везде тишина.

Они поднялись по лестнице и отворили дверь. На них сразу пахнуло теплом и светом, когда они очутились в прихожей, в открытые двери которой увидели большую комнату со столом посередине и с большим образом у стены.

Маленького роста моложавая и пригожая сестра милосердия, в белом чепчике и белом переднике, несла кому-то лекарство. Инна Николаевна обратилась к ней.

Оказалось, что раненый в другой палате.

— Я вас сейчас проведу. Только дам больному лекарство.

Сестра говорила как-то особенно, не так, как говорили в том обществе, в котором вращались дочери Козельского, — просто, спокойно и в то же время приветливо, без какой бы то ни было деланности и желания нравиться.

И это тотчас же было замечено Инной.

Через пять минут сестра вернулась из одной из палат, двери которых выходили в столовую, и сказала:

— Пойдемте…

— А как же… мы в шубах…

— Ничего… Там снимете… Он лежит в палате

рядом.

— Скажите, сестра… Он опасен? — спросила Тина.

— Не знаю… Нет, кажется… Его утром привезли к нам. Следовало бы в военный госпиталь, но у нас случилась свободная комната, его и принял Николай Яковлевич, старший доктор.

Когда они проходили через столовую, среди тишины вдруг раздались стоны.

Инна вздрогнула и участила шаги.

Дежурная сестра соседней палаты, высокая молодая брюнетка, манеры которой и некоторое щегольство форменного платья обличали женщину из общества, отнеслась к посетительницам с тою же сдержанно-спокойной приветливостью, как и сестра в первой палате. Но только, как показалось Инне Николаевне, она с большим любопытством оглядела быстрым взглядом своих больших темных и замечательно красивых глаз как самих посетительниц, так и их платья, когда они сняли в прихожей шубы.

В больнице уже почему-то знали, что молодой артиллерист стрелялся из-за любви, и сестра сразу догадалась, что одна из приехавших так поздно была «героиней».

«Но которая?» — не без любопытства думала

сестра.

— Можно видеть Горского, Бориса Александровича? Его сегодня привезли! Вы не откажете… не правда ли? — тихо и смущенно спрашивала Инна, по привычке улыбаясь глазами.

— Видеть можно, но ненадолго…

— Благодарю вас. А как он… опасен? — спросила старшая сестра.

— Он будет, конечно, жив? — спросила почти одновременно и Тина.

«Эта!» — решила сестра, взглядывая пристальнее на красивое, вызывающее и далеко не убитое лицо молодой девушки.

И, почувствовав к ней невольную неприязнь, которую старалась скрыть, она сдержанно и несколько строже ответила Тине:

— Надо надеяться. Пока опасности нет… Все идет хорошо. — И, отводя глаза от молодой девушки, спросила, обращаясь к Инне Николаевне: — Вы вдвоем хотите посетить Бориса Александровича?

— Нет… Сестра пойдет…

— Не угодно ли посидеть пока в столовой, а я пойду предупредить больного. Как прикажете о вас сказать?

— Козельская! — твердо и довольно громко

ответила молодая девушка.

Сестра ушла в конец столовой и скрылась в дверях последней комнаты.

Инна Николаевна опустилась на стул. Младшая сестра не садилась.

Вокруг царила мертвая тишина. По временам только слышался чей-нибудь тяжелый вздох и стон.

— А жутко здесь! — промолвила Инна.

— Ты нервна… Мне не жутко.

«Бравирует!» — подумала Инна.

— И как тяжело, должно быть, сестрам…

— И, главное, скучно! — ответила молодая девушка. — А у этой брюнетки трагическое лицо…

— Глаза прелестные…

— Как долго, однако, она не идет! — нетерпеливо промолвила Тина.

— Говори тише, Тина… Это только кажется, что долго… Вот и сестра…

— Не угодно ли? Борис Александрович просит вас…

Молодая девушка смело и решительно пошла за сестрой. Та отворила дверь, пропустила вперед Тину и, вернувшись, пошла в одну из комнат, откуда чей-то капризный голос звал: «Сестра!»

Тина в первое мгновение не увидала лица

Бориса Александровича в небольшой, слабо освещенной комнате.

И когда она приблизилась к кровати, то увидала совсем другое, непохожее на то счастливое, здоровое и румяное лицо, которое целовала сегодня. Оно было бледно, серьезно, испуганно и некрасиво, со своими ввалившимися и лихорадочно блестевшими глазами.

При виде Тины, из-за которой он теперь лежал здесь и жадно хотел жизни, он не особенно радостно проговорил, выпрастывая из одеяла свою руку:

— Вот это мило, что вы пришли, Татьяна Николаевна… Я нечаянно, разряжая пистолет, ранил себя… и мне хотелось вас видеть… Спасибо…

Тина пожала ему руку, тотчас же ее освободила и присела в глубокое кресло, неприятно пораженная такою переменой Бориса Александровича. Еще утром близкий ей, теперь он казался ей чужим. И чужим и физически неприятным, и она очень рада была, что Горский не протянул ей губ для поцелуя и вообще не обнаружил в первое мгновение встречи сентиментальности, которой в нем было так много, когда он был здоров.

Хотя молодая девушка и чувствовала себя немного виноватою, и не столько перед Горским,

сколько перед собой, за то, что сблизилась с таким восторженным влюбленным, но в душе ее шевелился упрек против него за то, что своим безумным поступком он компрометировал ее. Положим, она не особенно обращает внимание на то, что про нее говорят, — так по крайней мере она утверждала, — но в данном случае ей были неприятны сплетни и пересуды, которые непременно появятся на ее счет. В выстрел по неосторожности никто не поверит.

«Как, однако, он подурнел!» — подумала снова Тина и, понимая умом, что надо что-нибудь сказать человеку, который из-за нее стрелялся, и чем-нибудь его утешить, проговорила, стараясь придать своему голосу мягкий и задушевный тон:

— Ну как вы себя чувствуете, Борис Александрович?

Он почувствовал и в тоне этих слов и в глазах молодой девушки скрытое равнодушие. Он ждал, что она придет расстроенная, сознающая свою вину перед ним… Он даже раньше думал, что она опустится перед его кроватью на колени и скажет: «Прости меня!», а она между тем…

— Ничего… хорошо… Лихорадка невелика… всего тридцать девять. Доктор говорит, что этот

дурацкий, случайный выстрел, по счастью, не задел легкого… И я поправлюсь, непременно поправлюсь! — возбужденно и словно бы с вызовом к кому-то проговорил Горский.

И он теперь совсем другими глазами глядел на Тину… В его взгляде не чувствовалось любви.

Когда он посылал студента Скуратова за Тиной, ему казалось, что ему необходимо видеть ее и сообщить ей что-то важное и значительное и о том, как он ее любит, и о том, как она хороша и прекрасна. Но потом он уже ни разу даже и не вспомнил о ней. Страх смерти и неодолимая жажда жизни всецело охватили его, и все остальное не имело для него ни малейшего значения. С наивным эгоизмом молодости он думал, что он не должен, не может умереть, и с отвращением вспомнил о револьвере. И когда врач, вынувший пулю, обнадежил молодого человека, иронически посоветовав впредь осторожнее обращаться с огнестрельным оружием, он был полон радости и ответил, что будет очень осторожен. И в эти несколько часов лежания в больнице, при виде этих заботливых лиц врачей, сестер и сиделок, при мысли, что он мог умереть, он точно прозрел и понял всю нелепость этого выстрела и ничтожность причины его. И любовь к Тине казалась

чем-то позорным именно за то, что из-за любви он стрелялся… А главное: ему хотелось жить. Просто жить: дышать воздухом, двигаться, видеть все кругом — и больше ничего.

И теперь посещение Тины нисколько не обрадовало его. И ему нечего было сказать той самой девушке, которую, казалось, он так любил, что мысль о потере ее ласки привела к выстрелу. Здоровый, полный сил, он считал близость с Тиной высшим для себя счастием и клялся у ее ног в своей любви. Теперь же, больной, лишенный сил и полный эгоизма жизни, он не только равнодушными глазами смотрел на свежее, румяное, хорошенькое ее лицо, на ее колыхавшуюся грудь, на ее маленькие белые руки, которые он так любил целовать, но смотрел с затаенной враждебностью, и, глядя на нее, как на виновницу того, что произошло, он мысленно обвинял своего «ангела» в чувственной распущенности, в цинизме ее теории «приятных ощущений» и находил, что она бессердечная эгоистка, думающая только о себе, о своих наслаждениях. Из-за нее он перестал читать, заниматься… Из-за нее он забыл обо всем и только каждый день ожидал ее, чтобы проводить часы молча в горячих поцелуях, после которых она уходила, по-прежнему смеющаяся

над его восторженностью.

Обвиняя и презирая Тину, по обычаю большинства мужчин, за то, что она была близка с ним и отказывала выйти за него замуж, и за то, что она его любила «низменно», ради «приятных впечатлений», а он, напротив, возвышенно и благородно, Горский с наивным легкомыслием забывал, что и он сам, как и Тина, на практике осуществлял теорию приятных ощущений, хотя и прикрывал их сентиментальными фразами и клятвами. Он словно бы не понимал или боялся понять, что и его любовь, с которой он носился, считая ее чистою, глубокою и сильною, была таким же односторонним влечением. Недаром же она так скоро завяла при первом же испытании — как только заглохла страсть в больном человеке и инстинкт самосохранения поглотил все его существо.

И, однако, он считал себя правым. Он разлюбил, потому что она оказалась не такою, какою он ее хотел видеть. Он был жертвой. Он чуть не погиб из-за нее.

И оба они — еще утром опьяненные поцелуями — в этот вечер чувствовали взаимную враждебность, но оба считали нужным скрыть ее и притворяться, чтобы не обидеть друг друга.

Тину поразило это равнодушие к ней. Сама равнодушная к Горскому, она втайне сердилась, что он больше не ее верноподданный раб.

Несколько секунд длилось молчание. Горский закрыл глаза.

Наконец Тина спросила:

— Быть может, вы хотите спать, Борис Александрович?..

— Да… Вы меня извините… Я устал…

— Завтра я вас опять навещу.

— Зачем вам беспокоиться, Татьяна Николаевна.

— Беспокойство небольшое…

— Все-таки… И вам будет скучно с больным… — И он не без усмешки прибавил: — Ведь здесь вы не найдете приятных впечатлений… Одни только тяжелые…

— Это что — упрек?

— Мне не в чем упрекать вас…

— Ну полно, полно, не сердитесь, Борис Александрович, и простите, если считаете меня виноватой… Останемся друзьями. А пока до свиданья — до завтра. — Покойной ночи.

Тина кивнула приветливо головой и торопливо ушла к двери.

— Послушайте, Татьяна Николаевна! — оклик-

нул ее Горский.

Тина остановилась.

— Знаете ли, о чем я вас попрошу?

— О чем?

— Не приходите больше ко мне!

— Я больше не приду! — сказала Тина.

И вышла из комнаты оскорбленная.

В столовой она увидала сестру Горского, Веру Александровну Леонтьеву, и с ней студента Скуратова. Они обменялись холодными поклонами.

— Едем, Инна!

— Что ж вы так недолго посидели у Бориса Александровича? — спросила сестра.

— Боялась беспокоить больного. Прощайте!

Когда сестры надевали при помощи сиделки своя шубы, к Тине подошел Скуратов и, пожимая ее руку, сказал более ласковым тоном, чем говорил раньше:

— На два слова, Татьяна Николаевна.

И, когда Тина отошла с ним в сторону, студент таинственно проговорил:

— Когда можно принести вам маленький пакет от Бориса Александровича?

Молодая девушка догадалась, что это ее несколько писем, и обрадованно ответила:

— Завтра после десяти часов утра. Благодарю

вас, господин Скуратов.

И сама тронула ему руку и крепко пожала ее.

— Я вас до извозчика проведу. Позволите?

— Будем очень благодарны… Инна!.. Представляю тебе… Ваше имя? — обратилась молодая девушка к студенту.

— Виктор Сергеевич…

— Виктор Сергеевич Скуратов. Он принес известие о Борисе Александровиче.

Инна протянула руку.

Они втроем спустились и вышли на двор.

Мороз был порядочный. Инна Николаевна обратила внимание, что студент был в летнем пальто, и просила не провожать их.

— Вы простудитесь…

— Я привык… не беспокойтесь.

Он проводил дам до извозчика.

— А вы долго еще останетесь в больнице? — спросила Инна Николаевна.

— До утра. Мы с Верой Александровной будем по очереди дежурить у Бориса Александровича.

— Разве он так опасен?

— Врачи надеются… Но сестра не хочет оставлять его… Прощайте!..

— Ну, извозчик!.. Пожалуйста, скорей поезжай домой! — нетерпеливо проговорила Тина.

— Постараюсь, барышня.

Извозчик погнал лошадь. Прозябшая на морозе, она пошла крупной рысью.

Очутившись на воздухе, далеко от больницы, Инна Николаевна облегченно вздохнула. Сознание, что она здорова, было теперь ей особенно радостно после посещения больницы.

— Ты что же, в самом деле, так мало посидела у Бориса Александровича? — спросила Инна Николаевна.

— Не к чему было дольше сидеть.

— Но было объяснение?

— Слава богу, никакого. И какие объяснения?. Человек сделал глупость — довольно и этого!

— Он, конечно, обрадовался тебе?

— Напротив… Сказал, что хочет спать, и просил больше не приходить. Не угодно видеть! — усмехнулась Тина.

— Это что значит?

— Точно ты не знаешь этих господ, уверяющих в какой-то особенной любви?.. Меня, конечно, считает виноватой, что стрелялся… Неблагодарное животное! — резко прибавила Тина.

Обе примолкли.

Инна Николаевна вспомнила о Никодимцеве. Вот этот человек действительно любит. И при

мысли, что она его потеряет после своей исповеди, ей сделалось грустно. Она чувствовала, что привыкла к нему, что он ей дороже, чем она думала. И он, конечно, этого не понимает…

«Даже умные мужчины бывают глупы!» — мысленно проговорила она.

— А знаешь что, Инна?

— Что, милая?

— Я все-таки за Гобзина не выйду замуж! — по-французски сказала она.

— Я в этом не сомневалась…

Извозчик остановился у подъезда. Тина отдала ему два рубля, и сестры поднялись наверх. У молодой девушки был свой маленький ключ, которым она отворила двери.

Они прошли к матери. Та еще не спала и сидела за книгой в своей новой маленькой комнате.

— Хорошо ли прокатились, милые мои? А папа груш привез… Отличные… Кушайте…

Сестры просидели несколько минут у матери, съели по груше и, простившись, разошлись по своим комнатам.

Инна Николаевна тихо поцеловала свою спящую девочку, переоделась в капот, уложенный фрейлейн, и присела к письменному столу писать Никодимцеву.

Когда она окончила, пробило два часа. Глаза Инны Николаевны были влажны от слез. Но она чувствовала себя точно освобожденной от тяжести, облегчив свою душу исповедью перед человеком, который заблуждался на ее счет.

Глава четырнадцатая

I

После того как молодой немец-массажист добросовестно промассировал Козельского, Николай Иванович взял, по обыкновению, ванну и в девять часов утра, свежий, выхоленный и благоухающий, пил у себя в кабинете кофе, просматривая телеграммы в газете.

В эту минуту вошел лакей и подал Козельскому пакет.

— Посыльный принес! — доложил слуга.

— Ждет ответа?

— Нет. Ушел.

Козельский вскрыл пакет. В нем был номер одной из газет мелкой прессы. Развернув газету, он увидел отчеркнутое красным карандашом известие под заглавием: «Попытка к самоубийству».

Несколько изумленный получением этой заметки, Козельский прочитал следующее:

«Вчера, в двенадцать часов и 10 минут дня, выстрелом из револьвера нанес себе рану в грудь молодой и блестящий офицер Г. По счастию, рука его, вероятно, дрогнула в последний момент, и

рана оказалась несмертельной. Молодого человека тотчас же отвезли в больницу, где была извлечена пуля, каким-то чудом не задевшая легкого. Есть надежда, что раненый останется жив и наша армия не лишится одного из блестящих своих представителей. По собранным нами достоверным сведениям, причина попытки к самоубийству — романтического характера. Не считая себя вправе передавать непроверенные сведения об этом деле, мы тем не менее можем пока сообщить, что поручик Г. выстрелил в себя вслед за тем, как от него ушла его невеста, молодая девушка необыкновенной красоты, дочь одного почтенного лица, занимающего видное общественное положение. Мы слышали, — и дай бог, чтобы слух этот оказался несправедливым, — что молодая девушка, получившая первоначально известие о том, что жених убил себя наповал, была так поражена, что сошла с ума. Дальнейшие подробности сообщим завтра».

Его превосходительство прочитал еще раз и не верил своим глазам.

— И какой мерзавец послал это! — проговорил он, швырнув газету на пол, и тотчас же позвонил.

— Татьяна Николаевна встали? — спросил он

у лакея.

Слуга вышел и скоро вернулся с докладом, что барышня встают.

— Скажите барышниной горничной, чтобы она доложила Татьяне Николаевне, что я ее прошу прийти ко мне, когда будет готова.

Козельский поднял брошенный номер газеты и спрятал его в карман. Затем он встревоженно взглянул в «хронику» своей газеты. Оказалось, что и там есть известие, но без всяких неприличных комментариев. Все дело приписывалось неосторожному обращению при разряде револьвера, и фамилия «молодого офицера» была обозначена буквою 2.

Козельский не сомневался, что известие было о Горском, и молодой человек был обруган болваном.

«Нашел из-за чего стреляться!»

«Хороша и Тина! Дофлиртовалась-таки до газетного сообщения!..» — думал Николай Иванович, обозленный всей этой историей. И без того у него всяких дел по горло, а тут еще новая история. Расхлебывай ее. Поезжай к редактору, объясняй, что репортер все наврал, и требуй опровержения.

И как у них хватает духу печатать такие пакости. Нечего сказать, пресса!

Козельский допил свой кофе далеко не в том хорошем настроении, в каком начал, и был раздражен против Тины. Замуж не выходит, а бегает в гости к молодому балбесу. Что за распущенность! Что за неосторожность! Хоть бы мать с отцом пожалела, если себя не жалеет. Наверное, она бегала к Горскому целоваться. То-то в последнее время он редко показывался, а прежде торчал каждый день…

«Надо с ней серьезно поговорить!» — решил Козельский.

Но когда в исходе десятого часа в кабинет вошла Тина и, поцеловав отца в лоб, спросила, несколько смущенная: «Ты меня звал, папа?» — Козельский уж отошел и, глядя на свою цветущую, пригожую дочь, с обычною мягкостью проговорил:

— Присядь-ка, Тина, и объясни мне, что значит эта нелепая заметка, которую я только что получил. Есть ли в ней капля правды?..

Тина присела в кресло и стала читать поданную отцом газету.

— Какая глупая гадость! — проговорила она, возвращая отцу номер. — Как видишь, я не сошла с ума! — прибавила она, пробуя улыбнуться.

— А Горский стрелялся?

— Да. Мы вчера с Инной были у него. Говорят, будет жив.

— Этакий дурак! А стрелялся, конечно, из-за тебя?

— Всегда свою глупость хочется свалить на других… Я отказалась выйти за него замуж.

— И умно сделала… Неумно только одно, Тина, если только правда, что сообщают в заметке, будто ты ходила к Горскому.

— Это правда, папа. И это мое личное дело.

— Мне кажется, не совсем. Пока ты не замужем, до твоих поступков есть маленькое дело отцу и матери… Подумай об этом, Тина, и… побереги хоть маму… Вот все, что я хотел сказать тебе, и ты не сердись за эти слова… А я сейчас поеду к редактору и заставлю, чтобы не было дальнейших подробностей… Я думаю, и тебе нежелательно доставлять своей особой материал репортерам и темы для сплетен… Нежелательно это и мне… Надеюсь, мама ничего не будет знать…

Дочь ушла. Она не сердилась, но все эти нравоучения отца казались ей фальшивыми.

«Сам-то хорош!» — подумала она и, войдя в столовую, с особой нежностью обняла и поцеловала мать.

II

Козельский, по обыкновению, справился со всеми делами: получил по чеку, уплатил по векселю, посидел час на службе, был у редактора и уговорил напечатать опровержение, поел в Милютиных лавках устриц, показался на несколько минут в правлении, купил у Фаберже кольцо для Ордынцевой и в английском магазине накупил для своих три штуки материи на платье, перчаток, носовых платков и духов, целый ворох игрушек для внучки и вернулся домой около пяти часов, чтобы порадовать своих дарами, переодеться и ехать в Гостиный двор к магазину Вольфа встретить Ордынцеву.

Козельский любил делать подарки и умел их делать, зная вкусы жены и дочерей.

Он объявил всем, что неожиданно получил долг, и с обычной своей деликатной манерой сунул пакетики с деньгами жене и дочерям и затем вручил им подарки…

— Это вместо рождественских, пока деньги есть! — шутя говорил он.

И, незаметно мигнув Тине, ушел в кабинет, и, когда она пришла, сказал ей, что завтра будет в газете опровержение, и, поцеловав ее, промолвил:

— Гобзин собирается тебе делать предложение. Спрашивал моего совета. Что ему ответить?

— Чтобы он не трудился.

— Решительно?

— Решительно. Он мне не нравится…

— Не нравится, так и говорить нечего… Я так ему и скажу…

Они вместе вернулись в столовую. Все дамы заявили, что все купленное им превосходно и очень им нравится, и этим очень обрадовали Козельского. Он пошел переодеваться, посидел необыкновенно нарядный, в смокинге, за столом, пока обедали, и в половине шестого уехал, объявив жене, что, верно, после обеда придется играть в карты.

Когда он ушел, Антонина Сергеевна горячо проговорила:

— Какой папа добрый и какой заботливый…

К вечеру Инна снова перечитала свое письмо, вложила его в конверт и ходила по гостиной в ожидании Никодимцева грустная, так как не сомневалась, что это свидание будет последнее. После письма он больше не приедет. И, думая об этом, тоска охватывала молодую женщину, и на глаза навертывались слезы.

Наконец ровно в восемь часов затрещал зво-

нок.

«Принимают?» — услышала она голос Никодимцева.

Инна села на диван, стараясь побороть охватившее ее волнение.

Глава пятнадцатая

I

Как только Никодимцев вошел в гостиную, Инна Николаевна тотчас же заметила в его лице какое-то новое для нее выражение смущенной озабоченности и серьезности. И это заставило ее, мнительную, подавить в себе радость при встрече и поздороваться с ним далеко не так дружески, как она хотела.

В свою очередь и от Никодимцева не укрылось ни тревоги при его появлении, ни холодности встречи, ни испуганно-недоверчивого взгляда молодой женщины.

И, как это часто бывает между мнительными и самолюбивыми людьми, каждый из них объяснял к своей невыгоде настроение другого. Инна Николаевна решила, что Никодимцев совсем иначе к ней относится, узнавши, вероятно, об ее прошлом, а Никодимцеву показалось, что Инна Николаевна догадалась об его привязанности и что это ей неприятно.

Каждый словно бы испугался другого, и между ними вдруг появилась боязливая сдержанность,

сразу изменившая задушевный характер их отношений.

— Я не задержу долго вас, Инна Николаевна, — заговорил Никодимцев, присаживаясь в кресле после того, как с аффектированной почтительностью поклонился ей и пожал ей руку. — Я позволил себе побеспокоить вас, чтобы сообщить о готовности вашего мужа на развод. По крайней мере один мой приятель адвокат, которого я вчера видел и просил повидаться с вашим супругом, вынес такое впечатление. Если вам будет угодно, я попрошу этого адвоката приехать к вам, и он охотно возьмется вести ваше дело. Он человек вполне порядочный, и вы можете смело на него положиться.

— Мне, право, совестно, Григорий Александрович, пользоваться вашими услугами, не имея на них никаких прав, кроме вашей любезности… Спасибо вам и за паспорт и за адвоката… Я, конечно, возьму его.

— Вы преувеличиваете цену моих услуг, Инна Николаевна…

Инна Николаевна вспомнила об истории у Донона и хотела было поблагодарить Никодимцева, но что-то ее удержало… В письме своем она писала и об этом… Он прочтет и поймет, как она

высоко ставит его рыцарский поступок и как вообще она ему благодарна. К чему говорить?.. Да и нужно ли отдавать письмо… теперь, когда Никодимцев и без того переменился..

Он просидел несколько минут в мрачном настроении и стал прощаться.

— Уже? — вырвалось у Инны Николаевны.

Это восклицание словно бы удивило Никодимцева.

— Мне казалось, что я уж и так надоел вам, Инна Николаевна! — сказал он.

— С чего вы это взяли?.. — краснея, промолвила Инна.

— Это чувствуется…

— А мне казалось, что вы уж не прежний мой друг…

— Я?! Как вы могли это подумать?

— Так же, как и вы… И, признаюсь, мне это было больно, хотя я этого и ждала…

— Ждали?.. За кого же вы меня принимали, Инна Николаевна?

И он взглянул на Инну Николаевну с такою нежностью, что она просияла и воскликнула:

— Так оставайтесь… посидите еще… Посидите подольше. И расскажите, отчего вы сегодня такой озабоченный и серьезный. Я подумала, что

вы имеете что-то против меня… Теперь вижу, что нет… Вижу! — обрадованно повторила Инна Николаевна.

В эту минуту ему что-то сказало, что молодая женщина действительно расположена к нему и им дорожит… «Конечно, как другом», — поспешил он мысленно прибавить, не смея и думать об ином отношении..

И, просветлевший от радости, что он может любить эту женщину, не возбуждая в ней чувства неприязни, счастливый, что может видеть ее и говорить с нею, он опустился в кресло и сказал:

— Вас удивило, что я приехал озабоченный?

— Да… Вы сегодня были какой-то особенный, как вошли…

— Немудрено. Утром сегодня я неожиданно получил предложение ехать с особенным поручением в места, пострадавшие от неурожая.

— И вы… согласились, конечно?

— Разумеется. Разве вы не одобряете моего согласия, Инна Николаевна?

— Напротив… Вполне, и уверена, что вы действительно поможете…

— Работать буду, сделаю все, что могу, но… едва ли сделаю все то, что нужно сделать, и это меня тревожит… Нужда, вероятно, велика, а средств

мало… А здесь думают несколько иначе, и, верно, ждут, что я пришлю успокоительные донесения… Но я предупредил, что правды не скрою… Я хоть и чиновник, Инна Николаевна, но сохранил в себе немножко независимости! — горделиво прибавил Никодимцев. — Настолько по крайней мере, чтобы не называть черное белым! — объяснил он.

Инна Николаевна с горделивым чувством глядела на возбужденное энергичное лицо Никодимцева и про себя подумала: «И этот человек меня любит!»

И ей хотелось, чтоб он ее любил, и в то же время мысль, что после письма он перестанет ее любить, наполняла сердце ее тоской.

— И надолго вы едете? — спросила она.

— На месяц, два, три, четыре… не знаю… Знаю только, что неприятностей предстоит много и что нравственного успокоения будет мало…

— Отчего?..

— Во-первых, оттого, что один в поле не всегда воин, а во-вторых, оттого, что мы, чиновники, боимся общественного участия… Деньги возьмем, но для того, чтобы допустить людей, желающих работать, будем прежде узнавать: угодны ли эти люди местному начальству, или не угодны…

И, наконец, разве помочь голодающим значит принять радикальные меры?.. Разве можно быть уверенным, что голод снова не повторится и что люди не будут пухнуть и умирать, хотя некоторые газеты и будут повторять, что мы шагаем гигантскими шагами вперед.

— Но разве вы, занимая такое место, ничего не можете сделать, чтобы ваши идеи осуществились?

Никодимцев горько усмехнулся.

— Вы думаете, мы всемогущи? Мы всемогущи делать зло, а чтобы делать добро, для этого у меня слишком мало власти и влияния. И знаете ли что, Инна Николаевна? Иногда спрашиваешь себя: для чего целые дни работаешь, прочитывая и подписывая ворохи бумаг? Есть ли кому от этого какая-нибудь польза?.. Действительно ли наши мероприятия, входя в жизнь, облегчают существование тех людей, которым нужно облегчение? В такие минуты берет сомнение… и становится жутко… И в работе, неустанной работе хочется забыться… Спасибо вам… вы заставили меня почувствовать, что есть жизнь, скрасивши своей дружбой мое чиновническое одиночество и, даже более, научивши познать тщету честолюбия… И я этого никогда не забуду…

Никогда! — серьезно и значительно прибавил Никодимцев.

Инна Николаевна молчала, смущенная и счастливая.

А Никодимцев продолжал:

— И мне будет недоставать вашего общества, когда я уеду… Я уже к нему привык… Работа работой, а дружба дружбой… И не найдете ли вы дерзостью с моей стороны, если я попрошу позволения писать вам изредка?

— Я буду очень рада, но… вы меня принимаете не за ту, какая я есть! — неожиданно проговорила Инна Николаевна.

— Вы опять за старое…

— Я вам серьезно говорю… Мне тяжело пользоваться вашим расположением, вашей дружбой… Рассказывать свою жизнь мне стыдно, слышите ли, стыдно!.. Так лучше прочтите…

И с этими словами Инна Николаевна подала Никодимцеву пакет.

— Прочитайте и уничтожьте письмо. Слышите, Григорий Александрович!

— Слушаю, Инна Николаевна.

— А теперь, пока еще мы друзья, расскажите мне о себе.

— Я всегда останусь вашим верным другом.

Инна Николаевна взглянула на Никодимцева долгим грустным взглядом.

— Вы ослеплены мной, Григорий Александрович, — промолвила она. — И это меня тревожило… Вы не из тех людей, мнениями которых не дорожишь… Но я слишком самолюбива, чтобы оставлять вас в заблуждении… После письма оно пройдет… А поездка поможет вам основательно забыть меня.

Никодимцев не мог и представить себе в эту минуту, что могло бы заставить его забыть эту очаровательную женщину, искреннюю и правдивую, страдающую от сознания ошибки своего замужества. Уж самое это письмо — что бы в нем ни было — показывает честную натуру.

И он с восторженностью юноши ответил:

— Это невозможно…

— Все возможно.

Инна промолчала, опустив голову.

А Никодимцев благоговейно любовался ею и тоскливо подумал: «О, если бы он был моложе!»

Тогда, быть может, она отозвалась бы на его любовь и согласилась быть его женой… При одной этой мысли он внутренне затрепетал от счастья.

— Зачем мы с вами раньше не встретились, Григорий Александрович? — проговорила вдруг

Инна Николаевна, словно бы отвечая на мысли Никодимцева.

Никодимцев густо покраснел.

— Раньше?.. Разве и теперь, когда я стар и одинок, мне менее дорого ваше позволение быть вашим другом…

— Вы не поняли меня. Тогда я была другая и стоила бы вашей дружбы… И… и, быть может, долгой, прочной дружбы, — чуть слышно прибавила молодая женщина.

Никодимцев не верил своим ушам.

То, что он считал невозможным, о чем не осмеливался мечтать, теперь вдруг не казалось ему несбыточной мечтой. Слова Инны Николаевны были для него неожиданным откровением чего-то необыкновенно светлого и счастливого…

Но оно продолжалось несколько мгновений. Яркий свет блеснул во мраке ночи и погас.

Мнительный и самолюбивый, он тотчас же посмеялся над собой. Не может же она, в самом деле, дорожить его любовью и полюбить его? Ему сорок два; ей двадцать шесть, двадцать семь. Он некрасив, неинтересен; она — прелестна.

И, принимая ее последние слова за кокетливую обмолвку, он сделал вид, что не понял их, и, стараясь скрыть волнующие его чувства, проговорил:

— Предоставьте мне знать вас такою, какая вы есть, Инна Николаевна… И знайте, что я упорен в своих заблуждениях! — прибавил он.

— Вижу! — с улыбкой проронила она. — Ну, а теперь расскажите о себе… Как это вы ухитрились остаться таким… таким…

— Каким?..

— Таким не изгаженным, как большая часть мужчин… и не педантом-чиновником, как большая часть чиновников.

— Быть может, от этого я и одинок, как видите, и история моей жизни — история одного из очень обыкновенных людей, отличающихся от других лишь тем, что я мечтал когда-то о большом личном счастье и потому не получил никакого… Но в этом случае я предпочитаю лучше ничего, чем немного. Да и вообще мой формулярный список не богат приключениями сколько-нибудь интересными, по крайней мере для нечиновника… Хотите все-таки познакомиться с моим формуляром?

— Еще бы!

— В таком случае начинаю, обещая не злоупотреблять вашим вниманием…

— Напротив, злоупотребляйте…

— Так я начну с самых дорогих воспомина-

ний…

— О первой своей любви?

— Нет, Инна Николаевна… Самые дорогие мои воспоминания относятся к моему отцу и к моей матери… Это были чудные, добрые люди. До сих пор бывшие ученики одной из киевских гимназий с любовью и с глубоким уважением вспоминают о своем директоре. Да, Инна Николаевна, я имею большое и редкое счастье гордиться родителями и благоговейно чтить их память… Когда-нибудь, если позволите, я привезу вам их портреты… Вы увидите, что это за открытые, добрые лица!.. Вся жизнь их обоих была исполнением долга и проявлением деятельной любви. Отец был идеалистом в самом лучшем значении этого слова и даже в суровые николаевские времена сумел сохранить в себе чувство достоинства и был гуманным педагогом, часто рискуя остаться без места и без куска хлеба. Это был скромный, незаметный герой, не сознающий своего геройства… И в этом помогала ему мать, до старости лет питавшая к нему восторженную привязанность, почти влюбленность. Она была его верным товарищем и в хорошие и в дурные дни жизни… Она бодрила его своим сочувствием, согревала своей любовью… Это была одна из тех

редких супружеских пар, которая олицетворяет идеал брака. Отец любил раз в жизни и только — мою мать. Мать — только отца.

— Так только и должно любить! — вырвалось у Инны Николаевны.

— Пример их был лучшей школой. И если у меня есть какие-нибудь правила, если я, несмотря на среду, в которой живу, сохранил в себе подобие человека и не сделался бесшабашным человеком двадцатого числа, если я умею работать, если я смотрю на брак серьезно и, как вы сказали, не изгажен совсем, — то всем этим я главным образом обязан им… Не словам их, нет, — они вообще мало поучали, — а примеру… Вы простите, Инна Николаевна, что я так увлекся и так много говорю о своих… Но мне так хочется говорить о них и говорить вам… Ни с кем я не делился этими воспоминаниями… Вы позволили и… пеняйте на себя…

— Что вы? Говорите, говорите! Горячее вам спасибо, что вы со мною делитесь вашими светлыми воспоминаниями… И знаете ли что, Григорий Александрович?

— Что?

— Ведь вы — счастливец! — с чувством зависти воскликнула Инна Николаевна, невольно припо-

миная свое детство и отрочество.

О, она дома видела совсем не похожее на то, о чем говорил Никодимцев. Она видела почти всегда грустную и обиженную мать, слышала сцены ревности, слезы и рыдания, и мягкий, успокаивающий голос обманывающего отца… Она не знала серьезного отношения к себе… только слышала, что она хорошенькая… За ней ухаживали, когда ей было четырнадцать лет… А потом…

— Рассказывайте, рассказывайте, Григорий Александрович! — проговорила с жадной порывистостью Инна Николаевна, словно бы боясь своих воспоминаний.

— Конец жизни отца был нелегкий… Он был исключен из службы без пенсии, как беспокойный человек, и жил уроками… А я в то время кончал университет, мечтая об ученой карьере, но вместо этого отдал дань молодости, был исключен из университета, прожил два года на севере, и когда вернулся, отец умер, а через полгода умерла и мать… Экзамен мне держать позволили, но об ученой карьере думать было нечего, и я сделался чиновником… И, как видите, ухитрился дослужиться до директора департамента без протекции и связей… Меня держат в качестве человека, умеющего работать и много и скоро и

не претендующего на что-нибудь высшее…

— А ваше честолюбие?..

— Было, но прошло…

— Почему?

— А потому, что синице моря не зажечь, Инна Николаевна, а, напротив, самой попасть в море… А быть подобной синицей — в этом мало любопытного.

— Но, говорят, вас назначают товарищем министра, Григорий Александрович?

— Да, говорят, но никто не спрашивает: соглашусь ли я принять такую должность?.. Впрочем, я думаю, что после моей командировки меня не сочтут пригодным на такой пост… Я не из больших дипломатов, Инна Николаевна, и с радостью принял бы место, на котором можно было бы подумать и о душе. Заработался я очень… Устал… А главное — работа уж не так захватывает меня… Ну, вот вам и мой формулярный список…

— Он неполон… А ваши увлечения?

— Их не было. Была одна привязанность в молодости.

— Отчего же вы не женились?

— Собирался… женихом был…

— И что же?

— Как видите, остался холостяком…

— Вы отказались?

— Я… И за три дня до свадьбы…

— Почему?..

— Когда-нибудь я расскажу вам этот грустный эпизод из моей жизни… А пока скажу вам только, что я не раскаивался и, главное, я не разбил чужой жизни… Бывшая моя невеста вышла скоро замуж за богатого человека и, верно, была благодарна мне, что я взял свое слово назад…

— И вы ее любили?

— А то как же? Разве иначе я сделал бы предложение?

— И скоро ее забыли?..

— Я вообще забываю не скоро.

— Она была хороша?

— Мне нравилась.

— Блондинка или брюнетка?

— Скорее блондинка…

— И вы с ней больше не встречались?

— Года три не встречался.

— Избегали?

— Нет, не случалось.

— А потом?

— Как-то встретился. Изредка встречаю ее и теперь у одних знакомых…

— Она еще хороша? — с каким-то жадным лю-

бопытством допрашивала Инна Николаевна.

— Кажется, недурна…

— Ей сколько лет?

— Тридцать пять… Но отчего эта особа вас так интересует, Инна Николаевна? — неожиданно спросил Никодимцев.

Молодая женщина слегка покраснела и торопливо ответила:

— Сейчас и видно, что вы мало наблюдали нас, женщин…

— А почему это видно?

— Да потому, что вы не знаете главного нашего порока.

— Какого?

— Любопытства.

В эту минуту вошел лакей и доложил, что чай готов.

Инна Николаевна пригласила Никодимцева в столовую.

II

Там сидели: Козельская, Тина и рядом с ней красавец студент Скурагин.

Он только что принес Татьяне Николаевне запечатанный конверт с ее несколькими письмами к Горскому, извиняясь, что утром, как обещал,

принести не мог, так как целый день оставался при больном. Ему сделалось хуже — поднялась температура.

Обрадованная, что письма в ее руках, Татьяна Николаевна не обратила, казалось, особенного внимания на то, что бывшему ее обожателю стало хуже, и пригласила юношу напиться чаю. Он сперва отказывался. Ему некогда, он опять пойдет в больницу, но молодая девушка с такою чарующей простотой просила его остаться хоть на полчаса и отогреться после мороза, что студент, переконфуженный от такой любезности, согласился и не заметил, конечно, мелькнувшего в глазах девушки хищнически-торжествующего выражения, какое бывает у кошки, уверенной, что мыши не миновать ее лап.

— Не говорите, пожалуйста, при маме ни слова о Борисе Александровиче. Мы от нее скрываем, что он ранил себя. Мама очень нервна, и всякое волнение для нее опасно.

С этими словами она бросила конверт на письменный столик и повела гостя в столовую.

— Виктор Сергеич Скурагин! — назвала она гостя матери и, когда они обменялись рукопожатиями, прибавила: — Налей, пожалуйста, мамочка, Виктору Сергеичу чаю… Он прозяб… Ну,

садитесь и кушайте… Я страшно проголодалась.

Татьяна Николаевна посадила Скурагина около себя и, наложив на две тарелочки по горке маленьких сандвичей, одну поставила перед ним, а другую около себя. Вслед за тем она передала ему стакан чаю, подвинула сливки и лимон и проговорила:

— Сандвичи очень вкусны с чаем!

Скурагин был подавлен гостеприимством и в качестве благодарного человека считал своим долгом поскорее съесть все то, что ему было положено, и выпить стакан чаю.

И Татьяна Николаевна имела возможность видеть ослепительно белые зубы студента и втайне восхищаться его застенчивостью и красотою его серьезного лица и его глазами, ясными, словно бы глядящими куда-то вдаль.

— Хотите еще сандвичей?

— О нет… благодарю вас! — испуганно проговорил он.

— А чаю? — спросила, улыбаясь, Тина.

— Чаю позвольте! — ответил Скурагин и, перехватив улыбку девушки, сделался еще напряженнее и строже.

В эту минуту появились Никодимцев и Инна.

Никодимцев поздоровался со всеми с некото-

рою застенчивостью человека, стесняющегося в малознакомом обществе. Но скоро это стеснение прошло, и Никодимцев невольно перенес частицу своей привязанности к Инне Николаевне на мать и на сестру. И Скурагин, с которым познакомила Никодимцева Татьяна Николаевна, очень ему понравился. Его замечательно красивое лицо невольно обращало на себя внимание своей одухотворенностью, и сам он, серьезный и застенчивый, видимо, и не сознавал, как он хорош.

— Два куска сахара и некрепкий чай Григорию Александровичу, мама! — заметила Инна Николаевна, хорошо изучившая привычки Никодимцева.

Антонина Сергеевна налила чай и с каким-то особенным вниманием взглядывала на Никодимцева, вспоминая разговор мужа о том, что он влюблен в Инну. И некрасивое лицо его казалось теперь ей и интересным и моложавым, особенно молоды были черные небольшие глаза. И вообще он ей казался очень хорошим человеком уже потому, что любил ее дочь, и потому, что, кроме того, представлял собою блестящую «партию» для Инны. «Не сидеть же ей в разводках!» — думала она и от души желала, чтобы Никодимцев понравился Инне и чтобы она вышла за него замуж. С

таким человеком она будет счастлива и забудет неудачу прежнего своего замужества.

Тина, напротив, находила, что Никодимцев и некрасив, и немолод, и «пресен», и слишком серьезен для сестры как муж и что если она и женит его на себе, то ей будет трудно вести прежний образ жизни и, не стесняясь, иметь любовников. Этот господин не отнесется к увлечениям жены с философской терпимостью идиота Левы. Он потребует любви на всю жизнь и не позволит Инне выбирать себе знакомых для разнообразия впечатлений.

«Не моего он романа!» — высокомерно решила Татьяна Николаевна.

Вот ее сосед, красивый как бог, молодой и цветущий, мог быть желанным героем ее нового романа. Увлечь его, влюбить в себя и отдаться поцелуям этого целомудренного, строгого юноши — было бы одним из чудных впечатлений жизни!.. — думала Татьяна Николаевна и с самым наивным видом допивала вторую чашку, аппетитно заедая чай сандвичами.

Разговор сперва шел вяло.

Антонина Сергеевна жаловалась на петербургскую погоду и на петербургскую жизнь. Какая-то вечная суета, погоня за развлечениями, и нет

настоящей семейной жизни, нет, знаете ли, этого круглого стола, за которым вечером собираются все члены семейства. Над этим смеются теперь, а между тем как тепло у такого семейного очага… Жаловалась Антонина Сергеевна и на то, что в Петербурге мало истинных друзей. Эти жалобы были ее коньком, как и воспоминания о том времени, когда они жили в «милой провинции», которая так нравилась Антонине Сергеевне главным образом потому, что там ее любимый Ника еще ее не обманывал.

Никодимцев с почтительным вниманием слушал эти ламентации, отхлебывая чай и изредка подавая реплики. Он не испытывал скуки только потому, что чувствовал присутствие Инны Николаевны.

А студент, уже допивший чай, мысленно бранил себя, что затесался к этим «буржуям», и, не решаясь встать, попрощаться и уйти, сосредоточенно и упорно молчал.

— А вы любите Петербург, Григорий Александрович? — обратилась к нему с вопросом Татьяна Николаевна.

— Не люблю.

— А вы, Виктор Сергеич?

— Терпеть не могу! — проговорил, весь вспы-

хивая, Скурагин.

Все невольно улыбнулись.

— Зачем же вы живете здесь? Вы сами, верно, не петербуржец?

— Я уроженец Курской губернии. А разве в других городах лучше жить? Здесь все-таки заниматься удобнее и публичная библиотека есть.

— И вы, верно, много работаете?

— Приходится! — скромно вымолвил студент.

— Вы на филологическом?

— Я — математик.

— На первом курсе?

— На третьем.

— Простите… Я думала…

«И чего она пристает? И чего я сижу здесь?!» — спросил себя Скурагин и решил тотчас же улизнуть, как встанут из-за стола. Ничего поучительного и интересного он не находил здесь, и красота обеих сестер не произвела на него ни малейшего впечатления. Он не знал сущности отношений Тины с Горским. Знал только, что Горский был в нее влюблен и что стрелялся из-за нее. Об этом ему сказал Горский, когда он прибежал из соседней комнаты на выстрел, но что именно побудило его желать смерти, о том артиллерист умолчал. Но зато сестра его не особенно друже-

любно говорила о молодой девушке, и Скурагин понял из слов Леонтьевой, что Козельская не любила ее брата, а только кокетничала, и Скурагин сам убедился в этом сегодня по тому равнодушию, с каким она приняла известие об ухудшении здоровья Бориса Александровича.

«Пустая барышня!» — мысленно окрестил ее Скурагин и в то же время решил, что виновата не она, что она пустая, а виновата совокупность разных условий жизни, которые даже молодых людей делают пустыми и эгоистичными и не желающими искать правды.

— Так Петербург вам не мил, Григорий Александрович? — спросила Никодимцева в свою очередь и Инна Николаевна.

— Не особенно, как город специально чиновничий…

— И это говорит сам важный чиновник? — подсмеялась младшая сестра.

— Зато вы скоро избавитесь от немилого вам Петербурга, Григорий Александрович! — проговорила Инна Николаевна с скрытым упреком в голосе.

— Разве вы уезжаете? — спросила Козельская.

— Да… уезжаю.

— И надолго?

— Месяца на два-три…

— За границу?.. Отдыхать?

— О нет! Для этого я не избавился бы от Петербурга, как говорит Инна Николаевна, — подчеркнул Никодимцев, словно бы желая показать несправедливость ее упрека, — я еду в голодающие губернии.

— На голод? — со страхом и изумлением переспросила Антонина Сергеевна, почему-то уверенная, что на голод могут только ехать студенты и студентки, незначительные чиновники и вообще люди, не имеющие хорошего общественного положения.

— Да.

— Но послушайте, Григорий Александрович, что вам за охота ехать на голод?.. Вы могли бы принести не меньшую пользу и здесь к облегчению ужасов этого бедствия… Но ехать туда, чтобы заразиться тифом… Я читала в газетах, что многие заразились… Вы не имеете права, Григорий Александрович, рисковать своею жизнью…

По губам студента пробежала судорога. Кровь прихлынула к его бледным щекам.

— А доктора и студенты, значит, имеют на это право? Их жизнь не так драгоценна? — проговорил он вдруг среди всеобщего молчания.

Все смутились. И более всех смутилась Антонина Сергеевна.

— Вы меня не так поняли, молодой человек… Конечно, жизнь драгоценна для всех…

— Антонина Сергеевна, — вмешался Никодимцев, — предполагает, что мы в самом деле жрецы незаменимые и потеря одного из нас была бы лишением… Но жрецов много, Антонина Сергеевна, очень много. На место выбывшего явится другой. И Виктор Сергеевич вполне прав, находя, что рисковать своею жизнью обязаны все… А еду я потому, что меня посылают исследовать на месте размеры бедствия, организовать помощь… Заражусь ли я тифом, или нет, это еще вопрос, а отказываться от такого поручения только потому, что можно заразиться, было бы совсем неблаговидно.

Скурагин насторожил уши и впился глазами в Никодимцева.

— О, разумеется… Я понимаю, что вы едете! — поспешила согласиться Антонина Сергеевна.

И хотя она, как и остальные дамы, бывшие в столовой, довольно равнодушно относилась к тому, что где-то в России люди голодают, — тем не менее сочла нужным спросить:

— А большой у нас голод, Григорий Алексан-

дрович?..

— Судя по местным сведениям, бедствие не особенно велико… Но не всегда можно полагаться на точность сведений. У сообщающих нередко бывают розовые очки на глазах.

— О, вы убедитесь, наверное убедитесь, что бедствие ужасно! — взволнованно вдруг заговорил Скурагин. — Здесь, в Петербурге, и не представляют себе, что делается там, да и не хотят думать об этом… Иначе здесь не бросали бы денег на зрелища и на удовольствия, не плясали бы на балах, не задавали бы обедов в то время, когда ближние наши голодают в буквальном смысла этого слова… Надо видеть этих голодных мужчин, женщин и детей, покорно умирающих от тифа и цинги, чтобы понять жестокость сытых и беспечных не из книг только, а из жизни…

— А вы видели? — спросил Никодимцев.

— Я месяц тому назад вернулся из Самарской губернии, пробывши три месяца в голодающей местности. Я работал там, помогая одной доброй барыне, организовавшей кое-какую помощь на свои скудные средства… Она отдала все, что у нее было и что она могла собрать через знакомых… Но, разумеется, помощь была ничтожна. Мы могли помочь сотне-другой людей, а кругом… что

делалось кругом, где не было никакой помощи…

И, волнуясь и спеша, молодой студент в захватывающих картинах рассказал то, что он видел. И все слушали эту вдохновенную, полную любви и сострадания речь, несколько смущенные, подавленные и словно бы виноватые. Все были под обаянием этого взрыва честного и благородного сердца и сильного ораторского таланта. И дотоле скромный и застенчивый студент словно бы преобразился. Его красивое бледное и серьезное лицо дышало властностью искренности и правды, и глаза светились вдохновением.

И все невольно любовались им. Все почувствовали в нем рыцаря духа, одну из тех светлых душ молодости, которые являются как бы маяками среди тьмы пошлости, равнодушия и человеконенавистничества.

Никто из присутствовавших и не догадывался, что этот студент в обтрепанном сюртуке, ходивший зимой в летнем пальто, был до известной степени состоятельным человеком, получая от отца, помещика Курской губернии, сто рублей в месяц. Но Скурагин оставлял себе только двадцать пять рублей и жил впроголодь. Остальные деньги прежде он раздавал бедующим товарищам, а потом посылал на помощь голодающим.

На это же пошли деньги и от заложенных золотых часов, недавно подаренных ему теткой, и от заложенного зимнего пальто.

Ему просто было стыдно иметь эти вещи, когда на вырученные на них деньги целая сотня людей может прокормиться неделю. Он хорошо понимал условное значение благотворительности и бессилие ее в роковом вопросе о социальном неравенстве, но теоретические решения не погашали в нем чувства стыда и сострадания. Оно жило в нем, и потому он не мог быть равнодушным к человеческим страданиям, хотя и сознавал их логическую неизбежность при известных условиях. Теоретическое, обоснованное научными данными оправдание невмешательства, прикрывавшее холод и эгоизм, возмущало его до глубины души, и ему было стыдно за других.

Этот стыд и был одним из руководящих стимулов его поступков и жадных поисков правды в книгах, которые он читал. Но книги не давали ему ответа на вопросы: что делать? как жить? Они обогащали его ум знаниями, изощряли ум, вырабатывали его миросозерцание, но не давали возможности практически разрешить то, чем болела его душа.

Когда он окончил свою речь, то словно спу-

стился на землю и смущенно притих, точно виноватый, что надоел другим и занял их внимание своей особой.

Несколько секунд длилось молчание.

И вдруг Антонина Сергеевна вышла из столовой и, отдавая Скурагину сторублевую бумажку, взволнованно проговорила:

— Вот… пошлите, пожалуйста, вашей знакомой…

Дали деньги и обе сестры и Никодимцев.

Скурагин благодарил.

Никодимцев очень заинтересовался студентом, который напомнил ему что-то хорошее, светлое, давно прошедшее… И он когда-то был юношей, готовым вступить в бой с жизнью, и что он теперь? Но этот, конечно, не примирится с жизнью…

— А у вас, Виктор Сергеевич, уже намечены планы будущей жизни? — спросил он.

— О нет… Одно только могу сказать, что служить не пойду, чтобы не быть, в лучшем случае, в положении Пилата…[14] Вы простите, что я так

---

[14] Примечания: 14

То есть поступать против совести и убеждений. По евангельской легенде, к Понтию Пилату, римскому правителю Палестины, явились первосвященники Иудеи и настроенный ими народ для санкционирования казни Иисуса Христа. Убедившись при допросе в невиновности обвиняемого, Понтий Пилат не захотел ссориться с первосвященниками, произведя обряд умывания рук, отстранился от решения и таким образом допустил казнь.

говорю…

— Пожалуйста, не стесняйтесь…

— Я знаю, что очень много хороших людей успокаивают себя тем, что они по возможности противодействуют тому, что считают нехорошим, и делают хорошее… Но ведь это самообман: в большей части случаев они делают то, что неизбежно приходится делать, и нередко вводят в заблуждение и других, прикрывая своими почтенными именами то, что они считают в глубине души вредным. Один ведь в поле не воин!.. Не правда ли?

И — странное дело!.. Никодимцев, который считал себя независимым и горделиво думал, что он все-таки противодействует тому, с чем не согласен, почувствовал в эту минуту в словах Скурагина удар именно в то больное место, которое, казалось, давно затянулось и было забыто в туманной работе, самый процесс которой словно бы ослаблял или скрывал ее сущность и значение…

И вот этот восторженный, милый юноша с наивною жестокостью раскрыл давно зажившую рану…

И без того благодаря захватившему его чувству Никодимцев несколько охладел к тому, что считал бесконечно важным и значительным, а

теперь он в самом деле чувствует себя немножко Пилатом. И в голове его проносятся случаи из деятельности, когда это имя действительно подходит к нему.

«Да, он был Пилатом!» — мысленно с беспощадной откровенностью повторяет Никодимцев, и ему хочется оборвать этого «мальчишку», напомнившего ему то, что так старательно было убаюкано разными софизмами, услужливо продиктованными честолюбием под эгидой добрых намерений принести пользу отечеству.

Но какая-то новая волна, под влиянием чувства любви, охватывает теплом сердце его превосходительства, и, вместо того чтобы оборвать мальчишку, он необыкновенно ласково глядит на него и, словно бы находясь под чарами этой чистой души, взволнованно говорит ему:

— Дай бог, чтоб вы остались как можно долее таким, какой вы есть. Вы правы в своих рассуждениях, Виктор Сергеич… Но правота не значит еще, что найден исход… Что для одного возможно — для другого нет… Люди не герои…

— Но я и не виню людей… Людей делают такими или другими множество условий… И если условия неблагоприятны, то они отражаются и на хороших людях… Но ведь правда же есть… И

ее найдут же когда-нибудь… Недаром же ее ищут, несмотря ни на какие препятствия…

Скурагин оборвал речь и вдруг сорвался с места и стал прощаться. Его оставляли посидеть еще, но он наотрез отказался. И то он опоздал. Ему надо идти по делу.

Антонина Сергеевна просила его заходить к ним запросто, но он объявил, что на днях уезжает.

— Куда? Верно, опять на голод? — спросила Татьяна Николаевна.

— Да…

— Но до отъезда зайдите. Непременно зайдите. Я, быть может, соберу между знакомыми в пользу голодающих… Зайдете? — спрашивала Татьяна Николаевна.

— В таком случае зайду… Когда прикажете?

— Послезавтра вечером, а то приходите обедать.

— Нет, уж я вечером…

— А не хотите ли ехать со мной, Виктор Сергеевич? — обратился к Скурагину Никодимцев.

Скурагин на минуту задумался.

— Вы будете мне очень полезны своими указаниями.

— Позвольте дать ответ через два дня.

— Сделайте одолжение. Я уезжаю через неделю. Вот вам моя карточка. До двенадцати часов утра я дома и очень буду рад вас видеть! — сказал Никодимцев, подавая студенту карточку.

Когда Скурагин ушел, все примолкли на минутку, и почти разом и Никодимцев и Инна Николаевна сказали:

— Какой славный юноша!

— Что за симпатичный этот Скурагин…

— Немного резок, но тем не менее премилый! — подтвердила и Козельская.

Только Тина молчала, притихшая и, казалось, чем-то недовольная.

Скоро распрощался и Никодимцев. Антонина Сергеевна пригласила его на другой день обедать, и он обещал.

Инна Николаевна проводила Никодимцева до дверей гостиной и, пожимая крепко руку, шепнула:

— Не поминайте лихом, Григорий Александрович.

На глазах у нее блестели слезы.

Глава шестнадцатая

I

Никодимцев возвращался домой возбужденный, точно выбитый из колеи.

Вся прошлая жизнь проносилась перед ним в виде непрерывного и неустанного труда, служебных забот, огорчений и радостей, в зависимости от тех лиц, под начальством которых он служил. И он вспомнил, сколько ему приходилось затрачивать сил и энергии, ума и хитрости только на то, чтобы сохранить свое нравственное достоинство и не принимать непосредственного участия в таких делах, которые он считал противоречащими основным его взглядам или несогласными с законом.

Теперь он видел в своей деятельности что-то однообразно-скучное, далеко не производительное и удивлялся, как до недавнего времени он мог увлекаться ею, усматривая в ней главнейшую цель и единственный смысл жизни. Все эти бесчисленные записки, которые он написал на своем веку и в которых он старался провести свои взгляды, переделывались, переиначивались, и

если иногда проводились в жизнь, то в таком виде, что он и не узнавал своего творения, но еще чаще они покоились в архиве до более благоприятного времени, до более счастливых веяний…

А сколько было пережито веяний и сколько надо было змеиной мудрости, чтобы уцелеть на месте и, притаившись на время, снова начинать свою сизифову работу… Сколько раз приходилось идти на компромисс во многих делах, чтобы отвоевать себе право провести свою точку зрения в каком-нибудь одном деле.

И эта мудрость, вместе с необыкновенным трудолюбием и скромностью, и доставила Никодимцеву блестящую карьеру вместе с репутацией безукоризненного джентльмена и неподкупного человека. Зная, что для него есть предел, который он не преступит, ему не давали поручений, которые бы его стесняли, и его держали, так сказать, для чистой работы, особенно налегая на него, когда веяния благоприятствовали для такой работы…

И Никодимцев, таким образом, мог утешать себя тем, что он в стороне от того, что ему было уже очень не по сердцу…

А вот теперь и это утешение теряло свою силу при более серьезном и беспощадном анализе. Он,

честный, одушевленный лучшими намерениями человек, ведь не сделал действительно того, что считал необходимым и полезным. И на что положил всю свою жизнь — жизнь непрерывного труда?

Итоги получались незначительные, почти ничтожные, и вся деятельность представлялась ему бесплодной. И напрасно он старается опровергнуть эти мысли доводами, что по крайней мере он ничего не сделал дурного и что, будь на его месте не такой порядочный человек, как он, было бы несравненно хуже.

«В общем, ничего бы не изменилось!» — говорил ему внутренний голос.

А между тем лучшие годы прошли в этой бесплодной, по мнению Никодимцева, работе, прошли однообразно, с аккуратностью маятника, безрадостно и беспечально. Дни на службе, вечера в работе или за чтением книг, раз в неделю винт в клубе, раз опера и изредка посещение двух-трех знакомых семейств. Ни родных, ни близких друзей. Ни малейшего сердечного увлечения.

И когда наконец он, прозревший и понявший, что жизнь не одна только канцелярия, когда он, просветленный охватившим его чувством, жаждет счастья и радостей жизни, ищет любви и

дружбы женщины, — уже поздно.

— Поздно, поздно! — невольно шепчет Никодимцев.

И щемящая тоска охватывает его при мысли о прошедшей молодости и при мысли о том, что он одинок и навсегда останется одиноким.

А образ Инны Николаевны словно бы дразнит Никодимцева своей чарующей привлекательностью, вызывая в нем не одни только восторженно-благоговейные мысли.

II

Никодимцев вошел в свою квартиру, отворив двери маленьким ключом, зажег свечку и, сняв шубу, прошел в кабинет. Его холостая квартира показалась ему холодной, неуютной и тоскливой. И на душе у него стало еще холодней и тоскливей.

И он прожил в ней десять лет! — испуганно подумал Никодимцев, зажигая большую лампу на письменном столе и свечи.

Затем он сел в кресло, вынул из кармана конверт и, взрезав его ножом, стал читать письмо Инны Николаевны.

Вот что прочел он:

«Вы знаете, что я пишу вам потому, что уважаю вас и слишком дорожу вашим расположением, чтобы пользоваться им не по праву. Когда прочтете мою исповедь, тогда поймете, что именно вам, которому так много обязана я своим пробуждением от кошмарного сна, одному вам я решаюсь рассказать горькую правду о себе. Как это ни тяжело, но вы должны знать, что я не та, совсем не та, какою вы себе представляете и к какой выказываете расположение, слишком горячее, чтоб назвать его дружбой и не бояться, что оно может усилиться, и тогда разочарование может быть еще тяжелее для вас. Простите и не сочтите это за женскую самонадеянность. Мы, женщины, вообще чутки и чувствуем, кто и как привязан к нам… Но если б я и ошиблась, если б только одна дружба сблизила нас в последнее время, то и тогда я сочла бы долгом написать это письмо, чтобы вызнали, к кому вы питаете дружеские чувства…

Я прочла безмолвный вопрос ваш при первой же нашей встрече, когда вы уви-

дели бывшего моего мужа: как это я могла быть женой такого ничтожного, неумного человека? И почти у всех стоял этот вопрос, когда нас видели вместе. И — вообразите? — такой же вопрос задаю себе теперь и я. Задаю и решительно не могу объяснить себе, как это случилось, как я могла прожить с ним несколько лет и не убежать, не застрелиться, не повеситься… Мысли о самоубийстве, впрочем, у меня мелькали.

И ведь за такого человека я вышла замуж, не любя его. Почему вышла? Расскажу лучше, как это случилось, и все это стоит живо в моей памяти.

Мне было тогда двадцать лет. За мной много ухаживали. Меня слушали, как неглупую девушку, нахватавшуюся из разных книг и преимущественно романов. К сожалению, молодые люди, бывавшие у нас в доме, не отличались ни образованием, ни развитостью. Этот подбор был не особенно интересен. Отец как-то мало обращал на это внимания и редко бывал по вечерам дома, когда к нам собирались, а мама была добра и

снисходительна и предоставляла мне и сестре самим выбирать знакомых. И к нам приводили больше своих товарищей два наших двоюродных брата, кончающие правоведы. В числе их был и Травинский. Я на него не обращала ни малейшего внимания, хотя он и влюбился в меня. Мне нравился другой, но этот после шестимесячной влюбленности уехал, предпочтя мне место на юге… Да и приданого у меня никакого не было, вероятно, потому многие за мной ухаживали, но предложения не делали. А мне хотелось замуж — не потому, чтобы я чувствовала желание любви, — совсем нет, — меня просто манило положение замужней женщины, большая свобода, и я боялась остаться старой девой… Большая часть моих подруг по гимназии вышли замуж, а я все еще была невестой без серьезных претендентов…

И когда Травинский сделал мне предложение, объяснившись, что он меня любит, я, вместо того чтобы сразу отказаться, колебалась… Бесхарактерность сгубила меня вместе с незнанием людей

и полною неприготовленностью к жизни. Идеалов почти никаких… Так что-то смутное, что слышалось изредка… Жизнь, казалось мне, какой-то вечный праздник, особенно для хорошенькой женщины. Вы понимаете, что я была уже достаточно испорчена, и почти все разговоры с подругами вертелись на любовных темах… И атмосфера в кружке людей, в который я попала, была любовная… Стыдно вспомнить: мы ничем не интересовались… Ничего не читали… Разговоры о любви, развлечения — вот одно, что интересовало, — одним словом, я была пустейшей из пустейших барышень.

Однако я не скрыла от Травинского, что я не люблю его, что отношусь к нему только как к доброму знакомому. Тогда он сказал, что мы сделаем опыт. Если через год я не полюблю его — мы разойдемся. Он не станет препятствовать — чувство ведь свободно. При этом он уверял в своей любви и грозил в случае отказа застрелиться… Мне стало жалко его, и я согласилась…

Но, согласившись, я все-таки со страхом

думала о дне свадьбы. И останови меня в ту пору кто-нибудь веским словом, покажи весь ужас выхода замуж без любви, я, конечно, взяла бы свое слово назад. Но никто не сказал. Мама советовала выходить, считая жениха порядочным человеком, которому предстоит карьера. Отец подсмеивался над женихом, острил, но не отговаривал…

И я была повенчана и сделалась, конечно, дурной женой!

На второй день свадьбы я снова повторила, что не люблю мужа, и не скрыла от него, что его ласки внушают мне отвращенье… Он плакал, с ним делались истерические припадки… Он грозил, что застрелится, и я по бесхарактерности его жалела и решила терпеть. Первый год прошел, и я была верна мужу. Муж старался доставить мне развлечения, и мы вели праздную жизнь, какую ведут очень многие петербургские супруги… Я старалась скрыть чувства, которые он во мне возбуждал, но поневоле была холодна… и из-за этого бывал ряд сцен самых невозможных… Я напомнила об

обещании развестись — он на это ответил отказом. Тогда я старалась забыться в чаду жизни, в развлечениях, в поклонниках, в вечной сутолоке… И муж очень рад был этому и первый помогал сделать из нашей квартиры какой-то вечный рынок, только бы я не скучала и только бы я позволяла ему любить себя… Эти годы были каким-то кошмаром. Страшно вспоминать… Я имела увлечения и почти не скрывала этого от мужа, и он терпел эти menages en trois… Но ужаснее всего, что я не любила ни одного из них… Я увлекалась ими больше из любопытства, от скуки, от жажды впечатлений, из-за чего хотите, но только не из любви… И я так же скоро бросала их, как и сходилась… И чем больше я не уважала себя, чем больше презирала себя в минуты просветления, — тем более хотелось мне забыться хотя в иллюзии увлечения… Но все ухаживатели смотрели на меня как на красивую женщину, с которой можно приятно провести время. Все любовались только внешностью… И мое собственное тело по временам возбуждало во мне

самой отвращение… Хороша я была и сама, но хороши были и эти влюбленные!.. О, если б вы знали, как они клеветали потом на меня… Впрочем, вы знаете. Вы слышали, что говорили громко про меня у Донона, и… поступили, как редко кто из мужчин поступает… Говорить ли, как я была тронута и как я жалела, что вы рисковали из-за меня?..

Встреча с вами, ваши беседы, ваше отношение были для меня, как я вам не раз говорила, счастливым случаем, заставившим меня встрепенуться и задуматься. Без этой встречи я, быть может, продолжала бы прежнюю жизнь. И чем больше я думала, тем чаще спрашивала себя: „Как могла я так жить, как жила?“ Как видите, я хочу попробовать иную жизнь. Хочу загладить бесконечную вину перед своей девочкой… Но старое не может быть вычеркнуто из жизни человека. Это старое будет всегда стоять за мною грозной тенью и между мной и вами. Так лучше вы узнайте об этом от меня, чем от других. Вы поймете, что дольше я молчать не могу. И вам легче будет узнать теперь, чем потом, что вы оказывали трогательную привязанность не той, какую создали в своем воображении, а той, которую знаете в ее настоящем виде, и вам легче будет основательно забыть глубоко благодарную вам

И. Т.»

Никодимцев несколько секунд сидел взволно-

ванный и умиленный.

Наконец он взял лист почтовой бумаги и написал следующие строки:

> «Вы не ошиблись, глубокоуважаемая Инна Николаевна, я любил вас. Но после вашего письма я люблю вас еще больше, и вы в моих глазах являетесь в ореоле выстраданной чистоты. Простите мне эти дерзкие строки и верьте, что ваше доверие, оказанное мне письмом, незабываемое счастье… Если вас не оскорбляет привязанность старика — я буду завтра у вас… В противном случае напишите два слова: „Не приходите“».

Вложив письмо в конверт, Никодимцев немедленно вышел из квартиры и поехал к Козельским.

Он разбудил швейцара и велел тотчас же передать письмо Инне Николаевне, разумеется, если она не спит, а сам остался в швейцарской.

Через пять минут швейцар вернулся и передал Никодимцеву записочку.

Тот быстро разорвал конверт и замер от счастья. В записке было написано:

«Завтра приходите. Жду вас. Приходите пораньше. Разве привязанность ваша может оскорбить!.. Напротив… Или вы недогадливы?»

Никодимцев дал швейцару три рубля и, счастливый, ехал домой, думая теперь о том счастье, о котором не смел раньше и мечтать.

На другой день, когда Егор Иванович подал Никодимцеву чай, то был изумлен радостным видом барина.

«На голод едем, а он радуется!» — подумал он и спросил:

— А когда на голод отправимся, Григорий Александрович?

— Ровно через неделю… Через неделю!.. — весело ответил Никодимцев. — Успеете приготовиться?

— Как не успеть.

— А что бы вы сказали, Егор Иванович, если б я рискнул сделать предложение? — неожиданно спросил Никодимцев.

— Что бы я сказал? — переспросил изумленный слуга.

— Да, что бы вы сказали?

— Я бы сказал, что давно бы пора…

— А теперь… Или я уж очень стар?

— Вы-то?..

И Егор Иванович вместо ответа весело улыбался.

Глава семнадцатая

I

Никодимцев не докончил еще своего кофе и, несколько растерянный от счастья, не просмотрел газет, как в столовую торопливо вошел, семеня короткими ногами, Егор Иванович и, улыбающийся, доложил тем веселым и значительным тоном, каким докладывают о желанном и приятном госте:

— Василий Николаевич Ордынцев!

— Сюда просите!

Но худощавая фигура Ордынцева в черном поношенном сюртуке уже показалась в дверях.

— Какой счастливый ветер занес тебя, — обрадованно воскликнул Никодимцев, бросаясь навстречу гостю и горячо пожимая ему руку. — Совсем ты меня забыл. Василий Николаевич! — продолжал Никодимцев, ласково, почти нежно взглядывая на худое, болезненное и старообразное лицо своего приятеля. — Садись! Егор Иванович! Кофе Василию Николаевичу.

— Сию минуту… несу! — отвечал слуга.

Ордынцев присел и ответил:

— Некогда было все это время.

— Много работы?

— И работы много и… и семейные дела. Да, признаться, и помешать тебе боялся. На четверть часа заходить не хотелось, а отнимать у тебя время было совестно. Ведь ты дни и ночи работаешь.

— Ну, брат, теперь я меньше работаю! — проговорил, краснея, Никодимцев и тут же решил рассказать Василию Николаевичу, почему он стал меньше работать и почему он сегодня бесконечно счастлив.

Они были знакомы еще по университету и близко сошлись лет десять тому назад, когда оба служили в одном из южных городов России. Никодимцев был тогда судебным следователем, Ордынцев — помощником бухгалтера в частном банке.

Они часто виделись. Ордынцев нередко убегал спасаться от семейных сцен к одинокому домоседу, державшемуся в стороне от местного общества, и любил поговорить с Никодимцевым по душе. Они расходились во многом и часто спорили, но это нисколько не мешало им любить и уважать друг друга.

Благодаря неладам своим с прокурором Никодимцев должен был оставить судебное ведомство.

Его нашли слишком независимым следователем и предложили подать в отставку. Он отказался и просил предать его суду, если его считают виноватым, но вместо того его уволили без прошения, и он отправился в Петербург искать места.

Когда Ордынцев переехал в Петербург, Никодимцев уже был видным чиновником. Встреча приятелей после долгой разлуки была задушевная. Чиновник не убил в Никодимцеве человека, и Ордынцев, испытавший уже немало разочарований в прежних знакомых, очень обрадовался, что приятель его не переменился и что блестящая карьера не вскружила ему головы.

Виделись они не особенно часто. Как и в старые времена, они при встречах нередко спорили и, как часто случается, ни до чего не договаривались. Ордынцев горячился, стараясь доказать, что деятельность приятеля — приятный самообман. Никодимцев сдержанно доказывал значение личности даже в неблагоприятной и враждебной среде.

— Так ты меньше работаешь? — переспросил Ордынцев.

— Меньше.

— Тот-то ты словно помолодел и глядишь молодцом, Давно, брат, пора тебе не изнывать над

своими бумагами, от которых никому не легче… Однако сперва о деле. Ведь я зашел к тебе, по дороге в свою каторгу, больше по делу.

— В чем оно?

— Устрой одного молодого человека, если можешь.

И Ордынцев стал рассказывать, как молодой человек, окончивший университет и с медалью, вот уже год как ищет место и не может найти, не имея протекции. Везде обещали только иметь его в виду, но от этого ему не легче. Ему необходимо место и немедленно. У него на руках мать и сестра и кое-какой случайный заработок.

— У нас в правлении пристроить его нельзя. Гобзин меня не терпит…

— Твой молодой человек провинции не боится?

— Он поедет куда угодно.

— Так я его устрою на полторы или на две тысячи. Пришли его ко мне, и пусть подает докладную записку.

— Спасибо. Доброе дело сделаешь.

— И одного нового чиновника? — проговорил, усмехаясь, Никодимцев. — А теперь идем в кабинет, Василий Николаевич. Поговорим…

— А на службу?.. Уж скоро десять, — сказал

Ордынцев, взглянув на часы. — Да и тебе, верно, надо перед службой заняться…

— Опоздаешь полчаса, не беда. В кои веки зашел… А я сегодня в департамент не поеду.

Они перешли в кабинет и уселись в креслах. Никодимцев позвонил и, когда явился Егор Иванович, приказал никого не принимать.

— Ну, рассказывай, как ты живешь, как тянешь свою лямку, Василий Николаевич?

— Лямку тяну по-прежнему, а живу один с Шурой…

— А остальная семья?

— Здесь… На старой квартире… Ты ведь знаешь, что моя семейная жизнь была не из особенно приятных… И им и мне лучше, что мы живем отдельно и не стесняем друг друга… Давно бы пора прийти к такому исходу, но… характера не хватало… Зато теперь, Григорий Александрович, я ожил, хотя и пришлось вечерние занятия взять. Жалованье все я отдаю семье… Так надо было придумать дополнительный заработок!..

— Сколько же ты нарабатываешь вечерними занятиями?

— Рублей сто, сто двадцать пять. Нам вдвоем хватает. А к Новому году наградные нам выйдут… Значит, еще пятьсот рублей… Да и старик Гобзин

обещал прибавку… Мы с Шурой и будем богаты… Как видишь, теперь я жаловаться на жизнь не могу… Насколько возможно, я счастлив… Я не один… Я спокоен у себя дома. Я не вижу своей жены.

— А я хочу, Василий Николаевич, на старости лет попытать счастья! — вдруг проговорил Никодимцев.

— Какого?

— Жениться.

Ордынцев изумленно и испуганно взглянул на Никодимцева. Тот густо покраснел.

— Ты находишь, что поздно? — спросил он.

— Какое поздно?.. Ты еще молодец молодцом и жил всегда монахом… Не поздно, а…

— Что же? Договаривай.

— Страшно.

— Почему именно страшно?

— У тебя ведь требования от брака серьезные… Тебе нужна не только жена, более или менее приятная, тебе нужен друг, товарищ, который понимал бы тебя, разделял бы твои стремления, сочувствовал бы твоим идеалам… Не так ли?

— Ну, конечно… Иначе это не брак, а свинство.

— Я это свинство вполне прошел, и видишь ли результат? О, если б ты знал, какой это ужас,

когда вместо сочувствия ты встретишь глухое противодействие, когда вместо любимой женщины ты увидишь тупую и лживую тварь… А ведь перед свадьбой все они более или менее ангелы… Все они приспособляются… А ты к тому же жених блестящий… Одно твое положение чего стоит… И в будущем… пожалуй, министр?..

— Ничего в будущем, Василий Николаевич, ну ничего! Министром я не буду, да и не желал бы им быть! Ты прав, я изверился в плодотворность своей миссии… Но зато я познал счастье жизни… И та женщина, которой я сегодня сделаю предложение, не похожа на нарисованный тобою портрет. Она именно не лжива и была слишком несчастна потому, что не встречала порядочных людей около себя. И ты знаешь эту женщину, которая совершила переворот в моей жизни…

— Кто она?

— Пока это между нами… Слышишь?

— Ну, разумеется.

— Инна Николаевна Травинская…

Ордынцев чуть не ахнул.

Эта красивая и умная веселая барынька, пользовавшаяся скверной репутацией, эта посетительница ресторанов, окруженная весьма пестрыми молодыми людьми, и вдруг избранни-

ца такого чистого и целомудренного человека, как Никодимцев!

Ордынцев молчал, не решаясь сказать, что он думает о Травинской, — с таким восторженным благоговением произнес Никодимцев это имя, — и только пожалел своего ослепленного приятеля, влюбившегося в одну из представительниц ненавистной ему семьи Козельских.

Противен ему был и Козельский, этот равнодушный ко всему, кроме наслаждений, эпикуреец и делец, прикрывающий громкими фразами свои вожделения; отвратительна была Татьяна Николаевна, из-за которой лежал в больнице брат Леонтьевой, его лучшего друга, и более чем несимпатична была Инна Николаевна, жившая с таким мужем, как Травинский. Одна только Антонина Сергеевна возбуждала в Ордынцеве некоторое сочувствие.

— Инна Николаевна, значит, разводится с мужем?

— Да. Она уж уехала от этого негодяя и живет у родителей… Что ж ты молчишь, Василий Николаевич? Ты, конечно, не одобряешь моего выбора?..

— Не одобряю. И если б знал, что ты послушаешь меня, сказал бы: не женись на Инне Николаевне… Ты ее не знаешь…

Никодимцев восторженно произнес:

— Я знаю ее… И знаю ее прошлое… И потому, что знаю его, я еще более ценю и уважаю женщину, понявшую весь ужас прошлой жизни… Ты разве не веришь в возрождение, Василий Николаевич?.. Ты разве не понимаешь, до чего может довести самого порядочного человека среда и пустота жизни?..

Ордынцев слушал эти восторженные речи и понял, — что возражать было бесполезно. Его Никодимцев влюблен в Инну Николаевну до ослепления.

«Ловко же она обошла бедного Григория Александровича!» — подумал Ордынцев, не сомневавшийся, что Никодимцева обошли и что брак этот сделает несчастным его приятеля. Не верил он в возрождение такой женщины, как Травинская. Правда, он ее мало знал, но недаром же о ней составилась дурная репутация. Нет дыма без огня. И наконец этот шут гороховый, ее муж, сам же рассказывал при нем, что он не ревнив и любит, когда за его женой ухаживают.

— От души желаю тебе счастья, Григорий Александрович! — проговорил наконец Ордынцев.

— Пожелай мне, Василий Николаевич, успеха и в другом деле…

— В каком?

— Через неделю я еду на голод.

И Никодимцев рассказал, как устроилась эта командировка и вследствие каких комбинаций и, быть может, интриг между власть имущими выбор пал на него.

— Я, конечно, постараюсь узнать на месте размеры голода… Я не скрою ничего… И пусть не пеняют на меня, если правда не понравится…

— Дай бог тебе успеха! — горячо и взволнованно проговорил Ордынцев. — О, если б я был свободен!..

— Тогда что?

— Тогда я просил бы тебя взять меня с собой…

Никодимцев знал, какой хороший работник Василий Николаевич, и мысль о том, что лучшего помощника ему не найти, внезапно осенила его голову. Разумеется, он мог бы устроить, чтобы правление уволило Ордынцева месяца на три, сохранив за ним место. Но, взглянув на больное лицо приятеля, вспомнив, что у него на руках Шура, Никодимцев проговорил:

— Тебя не отпустят… И вспомни, что с тобой Шура… А лучше порекомендуй мне кого-нибудь из молодежи… Я буду тебе очень благодарен… Мне нужны толковые, порядочные люди, и я

выговорил себе, разумеется, право взять с собою, кого я хочу… И я наберу персонал не из чиновников! — прибавил Никодимцев.

Ордынцев обещал это сделать. Одного он уж знает. Он встречал его у своей знакомой, Леонтьевой…

— Это прелестный молодой человек… Уж он был на голоде и опять туда собирается…

— Не Скурагин ли?

— Он самый. А ты как его знаешь?

— Вчера видел у Козельских…

— У Козельских? Зачем он к ним попал?

— Не знаю. Знаю только, что Скурагин мне очень понравился, и я просил его ехать со мной… Он обещал подумать… Объясни ему, что я не такой чиновник, как он, вероятно, думает, и пусть не боится ехать со мной.

— Я его увижу, вероятно, сегодня… И сегодня же спрошу о других желающих. Конечно, найдутся…

«Только, разумеется, не из таких, как мой сынок!» — невольно подумал Ордынцев и вспомнил, что завтра, в воскресенье, он непременно явится на четверть часа с обычным визитом в качестве внимательного сына.

— Присылай их ко мне… До двенадцати я

дома… И сам ко мне зайди до моего отъезда… Зайдешь?..

— Теперь тебя, верно, не застанешь…

— Приходи обедать, так застанешь! — сказал, краснея, Никодимцев. — Приходи завтра и вместе с дочкой…

— Она обедает у матери по воскресеньям. Я приду один и сообщу о моих поисках… А пока до свидания… И то опоздал на три четверти часа. Молодое животное, мой Гобзин не откажет себе в удовольствии намекнуть об этом…

Ордынцев с особенною горячностью пожал руку Никодимцева и еще раз пожелал ему успеха, промолвив на прощанье:

— Это ведь не бумажное, а настоящее дело… И ты сослужишь большую службу, если откроешь глаза кому следует на то, что ужас голода заключается в причинах его…

— Ты думаешь, я не представлял и об этом записки?

— И что же?

— Лежат в архиве.

— Но теперь… Не скроют же твоих донесений?

Никодимцев вместо ответа неопределенно пожал плечами и проговорил:

— Есть много тайн, Горацио, которые не сни-

лись нашим мудрецам!.. Я многое передумал в последнее время, Василий Николаевич, и убедился…

— В чем?

— В том, что я во многом обманывал себя, и если б не встреча с Инной Николаевной… Нет, брат, ты судишь о женщинах пристрастно…

— По своему печальному опыту? — с грустной улыбкой промолвил Ордынцев.

— Да…

— Дай бог тебе не ошибиться, Григорий Александрович!.. Дай бог!.. А развод скоро устроится? Травинский согласен?

— Согласен… За пятнадцать тысяч согласен.

— Экая современная скотина! — брезгливо промолвил Ордынцев.

— Да, мерзавец! — со злобным чувством подтвердил Никодимцев, охваченный внезапно ревнивым чувством к человеку, который смел быть мужем его избранницы.

Приятели расстались, и Никодимцев сел за работу.

Ему не работалось. То он думал об Инне Николаевне и словах Ордынцева. То он думал о своей поездке и о том, как он будет делиться впечатлениями со своей невестой.

После вчерашнего свидания и особенно после этой записки, которую он выучил наизусть, он не сомневался, что он пользуется привязанностью, что его любят, и что Инна — как мысленно он назвал любимую женщину — согласится быть его женой.

Не сомневался — и в то же время вдруг в голову его подкрадывалась мысль, что он напрасно надеется… Она, пожалуй, расположена к нему, дорожит его дружбой, но… «с чего вы вообразили, что я вас люблю?..»

И ему делалось жутко. И восторженная радость сменялась тоской. И он взглядывал на часы…

О, боже мой, как бесконечно тянется время перед той минутой, когда решится его судьба!

II

Хотя Ордынцев и называл свое правление каторгой, но с тех пор, как он жил отдельно от семьи, эта «каторга» казалась для него несравненно легче. И с каким радостным чувством он возвращался теперь в «свой дом», в эту маленькую квартиру во дворе, — в Торговой улице, через два дома от гимназии, в которой училась Шура, — состоящую из трех комнат — гостиной и вместе столовой, кабинета и комнаты Шуры, большой,

светлой и убранной с некоторой даже роскошью.

Теперь он не видал ненавистного красивого лица жены, не ждал, нервный и озлобленный, сцен и язвительных улыбок, не волновался, слушая рассуждения Алексея и видя пустоту и развращенность Ольги…

Ровно в половине шестого он входил домой, и Шура встречала отца ласковым поцелуем и звала обедать, заботливо исполняя роль маленькой хозяйки и нередко совещаясь, по приходе из гимназии, насчет того, понравится ли обед отцу, с Аксиньей, пожилой, хлопотливой женщиной, жившей у Ордынцева одной прислугой и как-то скоро сделавшейся своею в доме, расположенною и к барину и особенно к его маленькой смуглой дочке, которую Аксинья жалела, как невольную сироту из-за семейной свары.

И водка и селедка всегда были на столе. И суп и жаркое казались теперь Ордынцеву совсем не такими, какими казались в прежнем доме, а какими-то особенно вкусными, хорошо приготовленными. И он нежным взглядом перехватывал озабоченный хозяйский взгляд черных глазенок Шуры, слушал ее болтовню о том, что было в гимназии, и сам рассказывал ей о том, что было в правлении. Обыкновенно после обеда Ордынцев

угощал Шуру каким-нибудь лакомством и шел в кабинет отдохнуть с полчаса и затем принимался за вечерние занятия. Он просиживал за ними до часа ночи, прерывая их на полчаса, чтобы напиться чая вместе с Шурой и затем проститься с ней в десять часов, когда, сонная, она ложилась спать.

Несмотря на усиленную работу, Ордынцев чувствовал себя здоровее и бодрее, чем прежде, и тянул свою лямку, не жалуясь на тяготу жизни. Шура красила эту жизнь. Заботы о своей девочке, о том, чтобы из нее не вышло чего-нибудь похожего на сестру, являлись серьезной целью для отца, и он нередко думал об образованной, трудолюбивой, здоровой и крепкой девушке в лице своей Шуры. И ради этого он был готов работать еще более, чтоб добыть средства и на занятия гимнастикой, и на основательное знакомство с иностранными языками. Вместе с тем он действительно становился близок дочери, наблюдая и изучая ее и урывая время, чтобы читать вместе с нею и беседовать по поводу прочитанного.

Отдавая почти все свободное время Шуре, Ордынцев нередко чувствовал себя виновным относительно старших детей, предоставленных в детстве и отрочестве исключительно влиянию

матери и школы. Результаты налицо. Школа помогла матери и дала тех стариков и эгоистов, «к добру и злу постыдно равнодушных» и готовых на всякие компромиссы, которые в практике жизни находили словно бы подтверждение ненужности каких бы то ни было идеалов, каких бы то ни было убеждений, сколько-нибудь альтруистических. Напротив! Чем бесстыднее и наглее проявлялся культ эгоизма и поклонения своему «я», чем циничнее проповедовалось «трезвое» отношение к действительности, тем скорее и успешнее достигались те цели жизни, которые исчерпывались карьеризмом и получением возможно больших средств для пользования возможно большими благами жизни. И какими бы позорными подчас средствами ни получались эти блага жизни, — большинство людей не только не оскорблялось этим, а, напротив, поклонялось успеху и завидовало ему. Газеты печатали хвалебные отзывы, иллюстрации — портреты нередко таких общественных деятелей, на совести которых было немало черных дел и загубленных на законном основании жизней. И таких называли лучшими людьми, истинно русскими и чуть ли не гордостью отечества.

А немногие возмущенные могли только мол-

чать и ждать, что вдруг что-то случится, и общественные идеалы повысятся, и вместе с этим явятся и сильные характеры, и независимые люди, и истинные слуги родины.

Такие думы нередко приходили в голову Ордынцева по поводу его детей, и он сознавал громадную вину отцов, не умевших или не хотевших хоть сколько-нибудь парализовать разлагающее влияние школы.

И тем с большею страстностью он хотел теперь загладить свою вину в заботах о воспитании Шуры.

Глава восемнадцатая

I

Когда Ордынцев явился в правление, опоздавши ровно на час, помощник его, господин Пронский, молодой человек, необыкновенно скромный, тихий и исполнительный, сообщил ему, что председатель правления его спрашивал.

— И я, Василий Николаевич, принужден был доложить, что вас нет! — словно бы извиняясь, прибавил Пронский, взглядывая на Ордынцева с выражением ласковой льстивости в своих небольших серых глазах.

Ордынцев ценил своего помощника, как аккуратного и добросовестного работника, но не был расположен к нему. Не нравилась Ордынцеву и его льстивая манера говорить, и его желание выказать ему особенное расположение и преданность, и его раскосые, круглые, серые глаза, ясные и ласковые и в то же время не внушающие доверия.

Пронский был товарищем Гобзина по университету и года три тому назад был назначен прямо помощником бухгалтера вместо прежнего, оста-

вившего службу. В правлении ходили слухи, что Пронский был близок с председателем правления и будто бы передает ему о том, что говорится о нем между служащими в товарищеской интимной беседе. Пронского поэтому боялись, многие заискивали в нем и остерегались в его присутствии отзываться непочтительно о Гобзине и вообще о начальстве и о порядках в правлении.

— Вам не говорил Гобзин, зачем я ему нужен? — холодно спросил Ордынцев.

— Нет, Василий Николаевич, не говорил.

— А бумаг, положенных к подписи, не передавал?

— Передал. Я их сдал журналисту.

— Напрасно вы их сдали без меня. Вперед этого не делайте! — строго сказал Ордынцев.

— Извините, Василий Николаевич, я думал скорей отправить бумаги.

— Потрудитесь взять их от журналиста и принести ко мне.

— Слушаю-с…

И Пронский торопливо вышел с огорченным видом виноватого человека.

Ордынцев поздоровался со всеми сослуживцами, сидевшими в двух комнатах, подходя к каждому и пожимая руку, и прошел в свой ма-

ленький кабинет. Он вынул из портфеля бумаги, разложил их на письменном столе, взглянул, поморщившись, на кипу новых бумаг и принялся за работу, не думая торопиться к Гобзину.

Если есть дело — его позовут, подумал Ордынцев, закуривая папироску и углубляясь в чтение бумаги, испещренной цифрами.

— Вот-с, Василий Николаевич, пакеты. Ради бога, извините. Мне очень неприятно, что я навлек на себя ваше неудовольствие.

Ордынцев ничего не ответил и только махнул головой. И начал распечатывать пакеты не потому, что считал это необходимым, а единственно для того, чтобы показать Пронскому его бестактное вмешательство не в свои дела.

«Интригует. Верно, на мое место хочет!» — про себя проговорил Ордынцев и струсил при мысли о возможности потери места именно теперь, когда жизнь его сложилась так хорошо и когда ему нужно зарабатывать больше денег.

Электрический звонок прервал эти размышления.

Ордынцев застегнул на все пуговицы свой черный потертый сюртук и пошел наверх, в комнату директора правления.

— Здравствуйте, глубокоуважаемый Василий

Николаевич! — проговорил несколько приподнятым, любезно-торжественным тоном Гобзин, привставая с кресла и как-то особенно любезно пожимая Ордынцеву руку. — Присядьте, пожалуйста, Василий Николаевич…

Ордынцев присел, несколько изумленный таким любезным приемом этого «молодого животного».

После недавней стычки отношения были между ними исключительно официальные и холодные, и Ордынцев очень хорошо знал, что Гобзин не прощал своему подчиненному его отношения к нему, независимого и исключительно делового, не похожего на льстивое и угодливое отношение других служащих.

И вдруг такая любезность!

«Уж не хотят ли они меня сплавить?» — подумал Ордынцев, взглядывая на это полное, белое, с румяным отливом лицо и стеклянные рачьи глаза, в которых на этот раз не было обычного вызывающего и самоуверенного выражения.

— Мне очень приятно сообщить вам, Василий Николаевич, — продолжал между тем Гобзин все в том же приподнятом тоне, выговаривая слова с медленной отчетливостью и как бы слушая себя самого, — что вчера, в заседании правления, был

решен вопрос о прибавке с первого января вам жалованья. Нечего и говорить, что правление единогласно приняло мое предложение и вместе с тем поручило мне выразить вам глубочайшую признательность за ваши труды и сказать вам, как оно дорожит таким сотрудником… Вам прибавлено, Василий Николаевич, тысяча пятьсот рублей в год… Таким образом оклад ваш увеличился до шести тысяч пятисот, кроме ежегодной награды, и я надеюсь, что в будущем увеличится еще… Поверьте, Василий Николаевич, что, несмотря на недоразумения, которые бывали между нами, я умею ценить в вас даровитого и способного помощника!

После этих слов Гобзин протянул свою пухлую красную руку с брильянтом на коротком мизинце и, крепко пожимая руку Ордынцева, прибавил:

— И если в недоразумениях я бывал неправ, то прошу извинить меня, Василий Николаевич!

Ордынцев поблагодарил за то, что «правление ценит его работу», и прибавил:

— А недоразумения всегда возможны, Иван Прокофьевич. Надобно только желать, чтобы они не возникали на личной почве… Тогда, поверьте, и служить легче, и служащие более уверены, что их оценивают исключительно по работе, а не по

тому — нравятся ли они, или нет. И я очень ценю, что относительно меня правление именно так и поступило… Еще раз благодарю в лице вашем, Иван Прокофьевич, правление и обращусь к вам с большой просьбой.

— С какой? — спросил Гобзин уже не с тою предупредительною любезностью, с какой только что говорил, недовольный недостаточной, по его мнению, прочувствованностью в выражении благодарности за сделанную ему прибавку, и за комплименты, и за эти намеки на «личную почву».

— По моему мнению, было бы несправедливым, Иван Прокофьевич, прибавить жалованье только мне одному и позабыть моих помощников…

— Но тогда выйдет очень велика сумма… Это невозможно.

— В таком случае, как ни важна мне прибавка, назначенная правлением, я, к сожалению, должен от нее отказаться, Иван Прокофьевич.

Гобзин никак этого не ожидал и изумленно смотрел на этого странного человека, отказавшегося от тысячи пятисот рублей из-за какой-то нелепой щепетильности.

А в то же время надо было как-нибудь да с ним поладить, так как отец еще на днях сказал сыну,

чтобы он не выпускал Ордынцева из правления и особенно дорожил им, причем пригрозил убрать его самого, если он доведет Василия Николаевича до ухода.

— Таких дураков, как ты, много, а таких работников, как Ордынцев, мало! — решительно прибавил старик и скоро после этого внес в правление предложение о прибавке Ордынцеву.

И молодой Гобзин, по приказу отца, должен был объявить о благодарности правления Ордынцеву и «вообще обойтись с ним душевно».

— Кому же вы хотите прибавить жалованье? И как велика будет сумма? Прикиньте-ка сейчас! — промолвил Гобзин, придвигая Ордынцеву листки бумаги и карандаш.

Ордынцев наметил прибавки решительно всем служащим в его отделе. Получилась сумма в двенадцать тысяч.

Гобзин взглянул на список.

— Цифра значительная! — несколько раз повторил он.

— И дивидент значительный! — заметил Ордынцев.

— Оставьте мне ваш список… Я доложу сегодня правлению…

— Очень вам благодарен, Иван Прокофьевич.

Ордынцев поднялся.

— Больше я вам не нужен? — спросил он.

— Нет, Василий Николаевич. После заседания правления я вас попрошу, чтоб сообщить вам его решение.

Ордынцев ушел, сознавая, что поступил, как следовало поступить порядочному человеку. Он не сомневался в первую минуту, что требование его будет исполнено, если только старик Гобзин захочет поддержать его. Он знал, что, в сущности, заправилою всего дела был этот миллионер из мужиков-каменщиков, начавший с маленьких подрядов и сделавшийся одним из видных петербургских дельцов. Остальные члены правления были ставленниками Гобзина, имевшего в руках большое количество акций и располагавшего большинством голосов на общих собраниях, и, разумеется, не смели идти против его желаний, чтоб не лишиться своих семи тысяч директорского жалованья.

Ордынцев знал всех этих безличных директоров: престарелого архитектора, заведующего хозяйственной частью и ловкого мошенника, получавшего с подрядчиков значительные «комиссии» и «скидки», благодаря которым он имел тысяч до двадцати в год, прогоревшего барина с

титулованной фамилией, довольно ограниченного коммерсанта, с братом которого старик Гобзин вел дела, и молодого инженера путей сообщения — зятя Гобзина.

Только один директор от правительства, бывший литератор-публицист, был до некоторой степени независим.

Но он, конечно, не подаст голоса против прибавки жалованья младшим служащим, он, который в своих прежних статьях, благодаря которым он и получил место, ратовал, между прочим, и против несправедливого распределения вознаграждения в железнодорожных правлениях и управлениях.

Весь вопрос сводился к тому: согласится ли старик Гобзин?

И Ордынцев не раз отвлекался от работы, думая об этом очень интересующем его деле. Эти полторы тысячи вместе с наградными дадут ему возможность отказаться от части вечерних занятий и посвящать более времени Шуре. Можно будет тогда пригласить англичанку для занятий, учительницу гимнастики, нанять дачу и поехать с Шурой во время месячного отпуска в Крым. Они бы поехали в августе, и как бы это было хорошо. Давно уж Ордынцев мечтал об этой поездке, об отдыхе. Но прежде эти мечты так и оставались

мечтами. Он проводил, лето в городе, уезжая только < по субботам на дачу в окрестностях Петербурга и возвращаясь оттуда в воскресенье, довольный, что на неделю свободен от сцен.

Не мог воспользоваться он и своим отпуском, не мог уехать куда-нибудь подальше и отдохнуть. Для этого у него не было средств.

А как бы он поправился в Крыму. Как было бы полезно и Шуре и ему покупаться в море. Как хотелось ему этого моря, этих гор и полного отдыха. Как хотелось ему забыть хоть на месяц о правлении, об этой надоевшей ему работе и встречах и объяснениях с Гобзиным-сыном.

И он припомнил, что во всю свою жизнь, с тех пор как женился, он ни разу действительно не отдыхал, ни разу никуда не ездил… Он все отдавал семье и постоянно слышал жалобы и упреки, что зарабатывает мало, что семье не хватает, что дача нехороша…

И ни жена, ни старшие дети никогда не подумали, что он устал от работы, что он болен, что ему нужно отдохнуть!.. На него смотрели, как на ломовую лошадь, которая должна тянуть воз. И он тянул-тянул и теперь начинает чувствовать себя разбитой клячей.

О, если бы получить эти полторы тысячи! Тогда

он отдохнет и поправится.

«Но старик Гобзин упрям. Пожалуй, не согласится!» — подумал Ордынцев, и так как очень желал, чтобы Гобзин согласился, то именно потому недавняя его уверенность исчезла, и он мало надеялся.

Потерявши эту надежду, почти уверенный, что старик обидится его ультиматумом, Ордынцев внезапно раздражился и озлобился, принимаясь за работу.

А работы предстояло много.

Целая стопка бумаг, испещренных цифрами, лежала перед ним. Все эти бумаги надо просмотреть и проверить.

И Ордынцев защелкал счетами и перестал думать о том, что казалось теперь ему несбыточным.

В самый разгар работы кто-то постучал в двери.

— Войдите! — крикнул Ордынцев раздраженным голосом.

В дверях появился высокий, плотный старик в черной паре с широким, красноватым, моложавым лицом, грубые черты которого сразу обличали бывшего мужика. Седые волосы были с пробором посередине и обстрижены в скобку.

Окладистая седая борода придавала его лицу степенный, благообразный вид. Маленькие серые глаза, острые и круглые, как у коршуна, блестели умом, энергией и лукавством из-под нависших седых бровей.

Это был «сам» Гобзин.

— Доброго здоровья, Василий Николаевич… Помешал, конечно?.. Ну, не обессудьте… Я на минуту! — проговорил он тихим, приятным голосом.

С этими словами он приблизился к Ордынцеву, сунул ему свою громадную жилистую руку и присел на стул у письменного стола, напротив Ордынцева.

— По обыкновению, трудитесь, Василий Николаевич! — начал Гобзин, чтобы что-нибудь сказать перед тем, чтобы перейти к делу, по которому пришел.

— А вы думали, Прокофий Лукич, лодырничаю? — с раздражением ответил Ордынцев, отодвигая счеты.

— Этого я о вас никогда не полагал, Василий Николаевич. Слава богу, давно знакомы… Вам бы и не грех поменьше заниматься…

— Поменьше?.. А куда мне вот это сбыть? — указал Ордынцев на стопку бумаг.

— То-то вы во все сами любите входить… Не полагаетесь на других.

— У других тоже довольно работы. И другие не сидят сложа руки…

Гобзин молчал и, опустив глаза, постукивал пальцами по столу. Ордынцев знал, что это постукиванье было обычной прелюдией к серьезному разговору, и, конечно, догадался — к какому. Он взглянул на «умного мужика», как называл он бывшего председателя правления, с которым служил около четырех лет и не имел никогда никаких неприятностей, хотя нередко и вел с ним деловые споры. Взглянул, и по тому, что широкий облысевший лоб Гобзина не был сморщен, скулы не двигались и широкие плечи не ерзали, заключил, что Гобзин в хорошем настроении.

И получение прибавки казалось ему теперь не невозможным. Недаром же «умный мужик» зашел сюда и говорит ласковые слова. «Только надо держать с ним ухо востро. Он — лукавая шельма!» — думал Ордынцев, имея некоторое понятие о Гобзине-старике и из личных наблюдений и из некоторых сведений о том, какими мошенническими проделками полна биография этого «нашего известного» практического деятеля, портрет которого еще недавно был помещен в

одной из газет, особенно покровительствующей «истинно русским» людям, по поводу крупного пожертвования Гобзина на церковно-приходские и технические школы.

Знал также Ордынцев, как ловко он обошел одного неподкупного сановника, удостоившись чести взять от его супруги пятьдесят тысяч для помещения их в деле. Пятнадцать тысяч, которые ежегодно вносил Гобзин своей верительнице в виде прибыли на ее капитал, невольно убедили в его коммерческих способностях молодую женщину, что было, разумеется, очень лестно для Гобзина, понимавшего, как важен иногда бывает в коммерческих делах учет женского покровительства. Старик умел, как он выражался, «учитывать» разные знакомства и связи и не раз, бывало, удивлялся Ордынцеву, что он не «учитывает» своих приятельских отношений к Никодимцеву. Давно бы назначили Василия Николаевича директором правления от правительства. Получал бы себе семь тысяч и ездил бы раз в неделю в заседания. Чего лучше?

Пробив несколько раз по столу трели, Гобзин поднял глаза на Ордынцева и добродушно-шутливым тоном проговорил:

— Признаться, Василий Николаевич, вы даже и

меня, дорогой, огорошили!

— Чем? — спросил Ордынцев, хотя и отлично знал чем.

И в то же время подумал: «Тебя, старая шельма, ничем не огорошишь!»

— Мне сейчас сын обсказал, какую вы нам загвоздку закатили… Простите, что я вам скажу, Василий Николаевич?

— Говорите.

— Такого, с позволения сказать, чудака, как вы, по нонешним временам не найти.

И старик рассмеялся, показывая свои крупные белые зубы.

— В чем же вы находите чудачество?

— Да, помилуйте, Василий Николаевич, уж если прямо говорить, так это даже довольно неосновательно с вашей стороны… Вам, не в пример прочим, как служащему, которым правление особенно дорожит, назначают прибавку, а вы, с позволения сказать, выкидываете неслыханную штуку. Это не порядок, дорогой Василий Николаевич… И ради чего? Ведь я знаю, вам по теперешнему вашему положению очень нужна прибавка.

— Нужна.

— Вы вот и вечерние занятия берете… Себя

только изморите… И вместе с тем такой камуфлет! На двенадцать тысяч нас хотите ахнуть. За что? Ежели мы вам хотим дать прибавку, обязаны мы, что ли, другим давать?

— Но вы и мне не обязаны…

— Эх, какой вы, Василий Николаевич!.. Положим, не обязаны, но вы нам нужны. А нужного человека нужно держать всыте. Надо, чтобы он был доволен… А то вас то и гляди переманят… Верно, уж есть предложение, а?

Ордынцев рассмеялся.

— Нет, Прокофий Лукич. Да я пока и не собираюсь уходить…

— Не собираетесь, а между тем, если будете недовольны, соберетесь… А вы нам нужны… И часть свою знаете, и не подведете… И на съездах толково говорите… Мы за то и предлагаем вам шесть тысяч с половиной вместо пяти… И больше дадим. Семь можем дать, если…

— Если что?

— Если вы, Василий Николаевич, не станете бунтовать! — шутливо проговорил Гобзин. — Получайте свою прибавку, а потом мы обсудим вашу просьбу о других служащих… Идет, что ли?

— Нет, Прокофий Лукич, не идет… Я вам, вы говорите, нужен. И мне нужны мои помощники,

и я, как вы, люблю, чтоб нужные люди были довольны…

— Это вы моей же палкой да меня по шее? Ну, с вами не сговоришь… Будь по-вашему, но только скиньте процентов двадцать с этого списка! — сказал Гобзин, вынимая из кармана список Ордынцева. — Уважьте меня.

Ордынцев согласился и благодарил Гобзина.

В свою очередь и Гобзин сказал, что он только ради Василия Николаевича согласился на его просьбу… Он, мол, понимает, кто чего стоит…

И, вставая, прибавил, пожимая Ордынцеву руку:

— А в будущем году вам будет дан двухмесячный отпуск, Василий Николаевич. Вам надо хорошенько отдохнуть и поправиться… Вы ведь раньше не пользовались отпусками. Да с сыном… того… поснисходительнее будьте… Я ему уж наказывал, чтоб он не форсил… Молод еще… Не понимает людей… Не того ищет в них, что следует… Ну, очень рад, что мы «оборудовали» с вами дело… А затем прощайте пока, Василий Николаевич…

II

Необыкновенно радостный возвратился в этот день домой Ордынцев и, целуя отворившую ему двери Шуру, проговорил:

— Ну, Шурочка, теперь мы с тобой лучше заживем… Через две недели будем получать прибавку к жалованью… Тысячу пятьсот. Да награды получу столько же. Понимаешь, у нас три тысячи будет… Вечерние занятия побоку… А летом мы на два месяца поедем с тобой в Крым… Рада, деточка?

— Еще бы не рада… Главное, рада, что ты эти вечерние занятия бросишь… Не будешь так уставать. Ну, идем обедать, папочка… Суп подан… Идем, а то остынет, а ты любишь горячий… За обедом все расскажешь.

— Сию минуту, моя хозяюшка. Дай только руки вымою!

Тем временем маленькая хозяйка еще раз оглянула стол, все ли в порядке, и шепнула кухарке:

— Говядины не передержите, Аксинья. Папа не любит.

— Не передержу, барышня… Не бойся, хлопотунья!

— И огурцы чтобы хорошие были…

— Отличные. Нарочно в Офицерскую бегала.

— Ну вот и я! — весело воскликнул Ордынцев.

И он сел за стол, сбоку от Шуры, занявшей, по обыкновению, хозяйское место.

Шура между тем налила отцу маленькую рюмку водки и графинчик унесла в буфет.

— За твое здоровье, Шура! За нашу лучшую жизнь!

Ордынцев выпил и начал закусывать.

— И что за важная селедка… Это ты приготовляла?

— Я, папочка! — радостно ответила Шура, довольная похвалой отца.

— Прелесть… А вторую рюмку нельзя?

— А что доктор сказал?

— Ну не буду, не буду, умница… Наливай мне супу.

Он с жадностью проголодавшегося человека принялся за суп и временами с бесконечной нежностью взглядывал на эту маленькую смуглянку с большими черными глазами, которая так берегла его и так ухаживала за ним. И при мысли, что теперь он может дать лучшее образование своей девочке и доставлять ей больше удовольствий, он чувствовал себя счастливым.

Когда суп был окончен и Ордынцев утолил

голод, он стал рассказывать Шуре, как он получил прибавку и как отстоял ее для служащих, и спросил:

— Не правда ли, и ты так бы поступила, моя милая?

— А то как же? Я понимаю тебя, папа. И Гобзин добрый…

— Ну, положим, не особенно добрый, а умный… Он дорожит мною, поэтому мы и поедем с тобою в Крым… И в театр на святки поедем… «Ревизора» посмотрим… И елку сделаем — ты пригласи своих подруг… На какой день назначим елку?

— На первый день… А сколько можно позвать подруг, папочка?

— Зови кого хочешь.

— А не дорого это будет?

— Милая, деликатная ты моя девочка! — проговорил умиленный отец. — Мы дорогую елку не сделаем… Не правда ли?

— Разумеется, самую дешевую.

— У нас на все денег хватит.

— Откуда же ты получишь?

— Сто десять рублей за вечерние занятия да сто рублей прихвачу у нас из кассы в счет наградных. Их в феврале выдадут. Полтораста рублей пойдут на прожиток, а пятьдесят рублей пойдут

на праздники… Надо дать сторожам в правлении, нашей Аксинье, дворникам… Надо сделать подарок тебе…

— И сестре и братьям? — спросила Шура.

И тотчас же вспыхнула и взглянула смущенно на отца, словно бы извиняясь.

— Конечно, и им! — ответил отец и тоже смутился.

— А я маме вышиваю одну работу…

— Отлично делаешь! — похвалил Ордынцев.

Он докончил жаркое и отодвинул тарелку.

— Скушай еще, папочка.

Ордынцев отказался.

— Не понравилось? — с беспокойством спросила Шура.

— Очень понравилось, но я сыт… Спасибо за обед… А вот тебе груша… Кушай, детка, на здоровье… Осенью мы их будем с деревьев рвать…

Аксинья убрала со стола и подала самовар. Шура налила чай, скушала грушу и рассказала отцу, что сегодня ее спрашивали из арифметики и из русского.

— И хорошо отвечала?

— Кажется, недурно. По пятерке поставили.

— Ай да молодец! — воскликнул Ордынцев с такою радостью, точно он сам получил по пятерке.

Он выпил чай, поцеловал Шуру и сказал:

— Надо уходить.

— А отдохнуть?

— Некогда. Надо зайти к Вере Александровне, узнать адрес Скурагина и поискать желающих ехать на голод… Никодимцев просил. Он едет и ищет помощников.

Шура несколько минут молчала и наконец спросила:

— А ты, папа, дал в пользу голодающих?

— Дал, родная. Пятьдесят рублей дал в прошлом месяце. И с января буду давать по десяти рублей в месяц.

— И мы в гимназии собираем. И я дала рубль, что ты мне подарил.

— Ай да молодцы гимназисточки… Ну до свидания, голубка. Постараюсь скоро вернуться. А ты что без меня будешь делать?

— Ко мне обещали две подруги прийти…

— И отлично. Не будешь одна… Угости подруг чем-нибудь! Вот тебе на лакомство…

Ордынцев дал Шуре несколько мелочи и ушел, провожаемый, по обыкновению, дочерью.

Веры Александровны он дома не застал. Муж ее сказал, что она все время у брата в больнице и что брат безнадежен. Там же, верно, и Скурагин.

Ордынцев просидел несколько минут у Леонтьева, сообщил о поручении Никодимцева и сказал, что поедет в больницу, чтобы навестить больного и повидаться с Скурагиным, и от него узнать, нет ли желающих ехать с Никодимцевым. О том, что ему хотелось повидать Веру Александровну и быть около нее в первые минуты острого горя, — он умолчал, хотя и знал, что Леонтьев понял это, потому что, провожая Ордынцева, он сказал с каким-то напряженным выражением на своем утомленном лице:

— Если что случится там, то вы, пожалуйста, побудьте около Веры и привезите домой. А мне нельзя оставить детей одних… Вы знаете наше правило? — прибавил уныло статистик.

Глава девятнадцатая

По тому, как легко приподнялся с кровати Борис Александрович и как крепко, точно цепляясь, сжал своей тонкой сухой горячей рукой руку Ордынцева, — Ордынцев решительно не мог подумать, что перед ним осужденный на очень близкую смерть.

Только после двух-трех неестественно оживленных фраз больного о том, что он чувствует себя значительно лучше и при первой же возможности уедет в Ниццу, и по мутному, словно бы подернутому туманом взгляду глубоко ввалившихся глаз Ордынцев понял, что смерть уже витает в этой небольшой комнате, освещенной слабым светом лампы.

И еще более убедился в этом Ордынцев по напряженно-серьезному и злому выражению на безбородом и безусом лице врача в длинном белом балахоне — злому, что не может вырвать из когтей смерти человека, которого рассчитывал вырвать, — и по тому еще, что врач избегал встречаться глазами со взглядом больного, и по притворно спокойным и ласково улыбающимся лицам двух сестер милосердия.

— Когда давали шампанское? — осведомился врач.

— В восемь часов.

— Дайте еще стакан…

И, взяв от сестры скорбный листок, доктор отметил в н. ем что-то и, не глядя ни на кого из присутствующих, вышел из комнаты вместе со старшей сестрой продолжать свой вечерний обход.

Оставшаяся в комнате сестра налила маленький стакан шампанского и, приподняв с подушкой голову больного, предложила ему выпить.

Больной нарочно закрыл глаза.

— Выпейте, голубчик… Вам лучше будет! — необыкновенно ласково проговорила сестра.

— Выпей, Боря!.. Выпей, милый! — сдерживая слезы, сказала Вера Александровна.

И Борис Александрович открыл глаза и выпил с жадностью шампанское.

— Ну, теперь я засну… Спасибо, сестра! — сказал он сестре милосердия. — А ты, Вера, не уходи! — приказал он, раздражаясь. — Будем вместе пить чай!

Через несколько минут он заснул. Среди мертвой тишины слышно было, как из груди вырывался странный хрип и слышалось какое-то

бульканье.

Вера Александровна и Скурагин вышли в коридор. За ними вышел и Ордынцев.

Ордынцев молча поздоровался с ними.

В эту минуту к Вере Александровне подошла одна из сестер, пожилая женщина, с обычной приятной улыбкой на своем полном, отливавшем желтизной лице, и сказала:

— Простите меня, сударыня, что я позволю себе напомнить вам о том, что вы, в огорчении своем, забыли.

— О чем? — испуганно спросила Леонтьева.

— О приглашении священника для исповеди и приобщения святых тайн больного.

— А разве…

Она не могла окончить вопроса. Рыдания душили ее.

— Все в руках господних… Но не мешает теперь же послать за батюшкой.

— Не взволнует ли это бедного брата?

— Взволнует? — удивленно и строго спросила сестра. — Напротив, больные обыкновенно чувствуют облегчение страданий после таинства. Впрочем, как вам будет угодно! — с огорченным видом прибавила сестра.

— Тогда… пожалуйста, пригласите священни-

ка… А я приготовлю брата…

— Не волнуйте себя… Когда батюшка придет, дежурная сестра скажет больному. Она сумеет это сделать… А я сейчас же пошлю просить батюшку! — сказала сестра.

И с мягким коротким поклоном тихо удалилась и исчезла за дверями.

— Вера! — донесся из-за полуотворенных дверей голос Бориса Александровича.

Леонтьева вытерла слезы и пошла в комнату.

Тем временем Ордынцев советовал Скурагину ехать с Никодимцевым, ручаясь, что Никодимцев вполне порядочный человек.

— Я еду с ним. Мне он понравился! — отвечал Скурагин.

Ордынцев просил Скурагина указать еще кого-нибудь. Скурагин обещал прислать к Никодимцеву желающих и, между прочим, сказал, что поблизости живет один студент-медик, Петров, который, наверное, поедет.

— Знаете его адрес? Я сейчас же зайду к нему.

— Я охотно бы пошел, Василий Николаевич, да дело в том, что больной поминутно зовет меня… И Веру Александровну нельзя оставить одну! — промолвил, словно бы извиняясь, Скурагин.

— Плох бедный Борис Александрович!

— Доктор говорит, что едва ли дотянет до утра!.. А Петров живет недалеко от академии, в Вильманстрандском переулке, дом 6, квартира 27, в третьем этаже. Верно, его застанете!

Ордынцев тотчас же ушел, сказавши Скурагину, что немедленно вернется в больницу.

Он вышел из больницы в пустынную улицу. Поднималась вьюга. Снег бил в лицо, сухой и холодный. Сильный мороз давал себя знать, пронизывая Ордынцева сквозь старую и жиденькую его шубенку. И эта неприветная погода заставила Ордынцева еще более пожалеть умиравшего.

Только у Сампсониевского моста он нашел плохонького извозчика и минут через десять тихой езды, продрогший и озябший, остановился у подъезда небольшого трехэтажного дома. В глухом переулке не было ни одного извозчика. Только лихач стоял у подъезда, дожидаясь кого-то.

— Подожди меня. Через десять минут выйду! — сказал он извозчику и вошел в подъезд.

Швейцара не было. Ордынцев поднялся по лестнице, скудно освещенной керосиновыми фонарями, наверх и позвонил. Молодая, чем-то озлобленная кухарка отворила дверь и раздраженно спросила:

— Кого нужно?

— Студента Петрова.

— Нет его дома!

И она хотела было захлопнуть двери, но Ордынцев остановил ее и попросился войти и написать записку.

Кухарка неохотно впустила Ордынцева и ввела его в крошечную комнатку, занимаемую студентом.

— Пишите, что вам нужно. Вот тут на столе есть бумага и перо.

Ордынцев не сразу мог написать озябшими пальцами. Наконец он написал Петрову приглашение побывать у Никодимцева и просил передать записку немедленно, как вернется Петров.

— Ладно, скажу! — резко сказала кухарка.

— Однако вы сердитая! — промолвил, подымаясь, Ордынцев, чувствуя, что недостаточно еще согрелся.

— Поневоле будешь сердитая! — ожесточенно ответила кухарка.

— Отчего же?

— А оттого, что я одна на всю квартиру. Все прибери да подмети, и все хозяйка зудит… А тут еще то и дело звонки. Комнаты-то все студентам сданы, ну и шляются к ним, и они шляются…

Отворяй только. А ноги-то у меня не чугунные. Так как вы думаете, господин, можно мне быть доброй? — спросила она.

Ордынцев принужден был согласиться, что нельзя, и, извинившись, что побеспокоил ее, вышел за двери.

И в ту же секунду из дверей противоположной квартиры вышли его жена и Козельский.

Несмотря на густую вуаль, Ордынцев отлично разглядел жену. Он встретился с ней, так сказать, носом к носу.

Она немедленно скрылась в квартиру. Вслед за ней вошел и смутившийся Козельский, и двери захлопнулись.

Ордынцев машинально подошел к двери, никакой дощечки на ней не нашел и, постояв несколько секунд у дверей, стал тихо спускаться по лестнице.

— Так вот оно что! — наконец произнес он, словно бы внезапно озаренный и понявший что-то такое, чего он прежде не понимал.

Он сел на извозчика и велел везти в больницу, взглянув предварительно на рысака.

«А еще хвалилась своей безупречностью… старая развратная тварь!» — думал, полный презрения к жене, Ордынцев, и многое ему стало

понятным. И ее наряды, и ее посещение журфиксов Козельского, и эти даровые билеты на ложи, получаемые будто бы от знакомой актрисы, и кольца, и ее кокоточный вид.

А он-то в самом деле верил, что она безупречная жена, и еще считал себя перед ней виноватым!

«Подлая! И что мог найти в ней хорошего эта скотина Козельский! — мысленно проговорил Ордынцев, испытывая невольное ревнивое чувство к любовнику своей давно нелюбимой жены и в то же время какое-то скверное злорадство, что она, несмотря на свою осторожность, попалась-таки со своим любовником. — Видно, у них там приют для свиданий, и, конечно, Козельский оплачивает свои удовольствия ласкать эту жирную, подкрашенную и подмазанную даму».

Но что было главнейшим источником злости Ордынцева, так это то, что он был в дураках, когда верил ее патетическим и горделивым уверениям в супружеской верности и выслушивал сцены, разыгрываемые именно на тему об ее добродетели.

О, если б он догадывался об этом раньше! Он давно бы оставил эту лживую и порочную женщину, не считая себя виноватым, что она страдает без любви, как она говорила.

«Не бойся, не страдала!» — подумал он.

И семейка Козельских, нечего сказать, хороша! Отец-то каков? А эта барышня, из-за которой гибнет молодой человек! А эта Инна, уловившая в свои сети бедного Никодимцева. И ведь нет средств удержать его от гибели. Он верит в нее, потому что влюблен в нее и потому что она умно проделала комедию раскаяния. Она, наверное, она сама имела бесстыдство познакомить Никодимцева со своим прошлым, рассчитывая на эффект собственного признания.

Так мысленно поносил Ордынцев женщину, с которой говорил раза два и которую не знал, а судил понаслышке и, главным образом, по злоязычным словам своей жены. Полный ненависти и презрения к Козельскому, он готов был теперь ненавидеть всю семью его несравненно сильнее, чем до только что бывшей встречи с женой.

Ему хотелось рассказать об этом кому-нибудь, чтобы знали, как лжива эта женщина. Но когда он вошел в больницу и поднялся в коридор, то все его злые мысли рассеялись при виде Веры Александровны, стоявшей, уткнувшись головой в стену, и глухо рыдавшей.

Ордынцев понял, что все кончено.

— Тотчас после причастия умер! — шепнул ему

Скурагин.

— Спокойно?

— Совсем. Он, кажется, и не сознавал, что умирает…

— А об той… о Козельской что-нибудь говорил?

— Ни слова. И после одного ее посещения видеть ее не хотел.

Ордынцев позвал Веру Александровну домой. Она тотчас же покорно согласилась ехать вместе с Ордынцевым. Скурагин остался, чтобы посмотреть, как перенесут тело покойного в часовню, и это почему-то подействовало очень успокоительно на Леонтьеву.

— Побудьте, голубчик, с ним, пока его не вынесут! — сказала она, крепко пожимая Скурагину руку в знак благодарности.

Леонтьев тотчас же отправился, чтобы распорядиться насчет читальщика, панихид, объявлений в газете и похорон, а Ордынцев остался посидеть у Леонтьевой. Пока ставили самовар, она была в детской, и вид двух здоровых мальчиков и дочери, спавшей в комнате Леонтьевой, значительно уменьшил ее печаль о брате. Счастливое эгоистическое чувство матери невольно умеряло горе, и ей самой сделалось стыдно, что она как будто не довольно жалеет брата.

И она нарочно стала вызывать воспоминания о последних его минутах, вспомнила его, казалось ей, молящий о жизни взгляд, обращенный к священнику, вспомнила его исхудалое лицо с заостренным носом, его последний глубокий вздох, и слезы полились из ее глаз, и она почувствовала себя как бы менее виноватой.

Пришла она звать пить чай Ордынцева с заплаканными глазами, но уже более спокойной.

Она начала рассказывать о брате, вспоминала о том, какой он был добрый и веселый до тех пор, пока…

— Надеюсь, она не покажется на панихиде! — неожиданно возбуждаясь, проговорила Вера Александровна.

— От этой барышни всего можно ждать, Вера Александровна.

И, чтобы отвлечь внимание Леонтьевой и вместе с тем поделиться с ней, Ордынцев сообщил о том, как он сейчас встретил жену с Козельским.

И Вера Александровна с любопытством слушала рассказ Ордынцева о встрече. Слушала и как будто радовалась, что Ордынцев теперь понял, какова у него жена. Очень порадовалась она за него, узнавши о прибавке и о том, что он поедет с Шурой в Крым.

В полночь пришел муж.

Он рассказал, что все им сделано и что похороны обойдутся недорого; этот разговор снова напомнил Вере Александровне о брате, и она заплакала.

В первом часу ушел Ордынцев, обещая быть завтра на панихиде.

Глава двадцатая

Ордынцев встал поздно и вышел пить кофе в десять часов. Проголодавшаяся Шура уже давно ждала отца. Она всегда с ним пила по утрам кофе.

Отец расцеловал Шуру и, присевши к столу, принялся за чтение газеты, отхлебывая маленькими глотками горячий кофе со сливками. Шура торопливо намазывала ломоть белого хлеба маслом и поставила тарелочку с хлебом около Ордынцева.

Она пила кофе и часто взглядывала на отца. Он, видимо, был не в духе и чем-то встревожен и рассеянно читал газету, очевидно, думая о другом. Он не рассказал ей, как провел вечер и почему поздно вернулся. Подруги ушли от нее вчера в одиннадцать часов, а папы не было…

«Что с ним, голубчиком? — думала в тревоге девочка. — Вчера он был такой веселый, а сегодня…»

— Ты разве хлеба не хочешь, папочка? — спросила она, заметивши, что отец не притронулся к нему.

— Нет, Шура, не хочется…

— Ты, верно, плохо спал?..

— А что, милая?

— Да ты сегодня какой-то сердитый… Уж не на меня ли?

— Что ты, деточка? За что на себя сердиться?.. Я, видишь ли, вчера был в больнице… Там умер брат Веры Александровны, Борис Александрович… Ну вот и отразилось неприятное впечатление от гибели молодой жизни! — объяснил Ордынцев, не смея сказать дочери об истинной причине его мрачного настроения. Не станет же он позорить мать в глазах дочери. Пусть она никогда не узнает ничего позорного для матери.

«А Ольга?» — подумал Ордынцев и вспомнил пререканья между матерью и дочерью, когда они вернулись с фикса у Козельских и он слышал их из кабинета…

«Ольга, наверное, догадывается… И Алексей тоже!» — решил Ордынцев, и это его взволновало еще более.

«Какой хороший пример для Ольги!.. Она уж и так порядочно испорчена, а теперь что будет с ней?!»

И он ничего не может сделать! Ничему помешать, что бы ни случилось!

Раздался звонок.

Ордынцев взглянул на часы. Было половина одиннадцатого.

«Аккуратен, как хронометр!» — подумал Ордынцев.

— Это, верно, Алеша, папа! — сказала Шура, выбегая в переднюю, чтоб встретить брата.

— Наверное, он! — проговорил отец, откладывая в сторону газету.

Он не испытывал ни малейшей радости в ожидании сына, но когда он вошел, по обыкновению свежий и чистенький, красивый со своими большими серьезными голубыми глазами и тонкими чертами изящного лица, щегольски одетый в длиннополом студенческом, сюртуке, — отцовское чувство невольно сказалось в смягченном взгляде и в просветлевшем на мгновение лице.

«Молодец!» — невольно пронеслось у него в голове и отозвалось на сердце.

— Здравствуй, папа. Здоров, надеюсь! — проговорил свое обыкновенное приветствие Алексей.

И, пожавши протянутую ему руку, сел против отца и прибавил:

— Ольга и Сережа кланяются тебе и извиняются, что не придут сегодня к тебе. Ольга едет в концерт, а Сережа, по обыкновению, что-то долбит…

О матери он не обмолвился ни единым словом.

— Спасибо за поклоны. Здоров, как видишь… Кофе хочешь?

— Благодарю, не хочу. Только что пил! — с обычной своей основательностью ответил молодой человек.

— Выпей, Леша… Я тебя прошу, выпей… Попробуй нашего кофе! — почти умоляла Шура в качестве хозяйки, желавшей похвастать кофе, который казался ей совсем не таким, какой пьют другие, а каким-то особенно вкусным.

Алексей не понял или не соблаговолил понять, сколько удовольствия доставил бы он маленькой сестре своим согласием выпить чашку, и спокойным, авторитетным тоном сказал ей:

— Не приставай, Шура. Ведь я говорю, что только что пил.

— А разве одну чашку… ну, полчашки нельзя?

— Нельзя. Я свои два стакана выпил и до завтрака ничего не ем. Надо, Шура, и в еде соблюдать порядок… Это крайне полезно.

Шура примолкла. Отец едва заметно усмехнулся.

— Так налей мне третий стакан. Твой кофе действительно прелестен! — сказал Ордынцев, чтоб доставить удовольствие Шуре.

При всем желании поговорить с сыном, Ордынцев как-то не находил темы и несколько стеснялся этим.

Но Алексей сам постарался занимать отца и проговорил:

— Читал о смерти Бориса Александровича?

— Читал…

— Вот глупая смерть! Тебе известны причины?

— Известны.

— Признаться, я считал покойника умнее. А то стреляться из-за такой глупости — не понимаю!

Этот спокойно-уверенный тон сына начинал раздражать Ордынцева.

— Ты, конечно, и вообще не понимаешь самоубийства? — спросил он, стараясь быть сдержанным.

— Не понимаю, хотя и допускаю, что каждый волен располагать своей жизнью, как ему заблагорассудится… А ты разве одобряешь самоубийства?

— Бывают случаи, когда вполне одобряю! — возбужденно воскликнул Ордынцев.

Сын стал занимать отца, перейдя осторожно на другую тему, сожалея, что коснулся первой. Он никак не рассчитывал встретить в отце защитника самоубийства.

И он, чтоб занять отца, стал рассказывать — и, по обыкновению, ясно, точно и красиво, — о новом, интересном открытии в химии.

— А с кем Ольга поехала в концерт? — прервал на половине рассказа Ордынцев.

— С мамой и с Уздечкиным, — ответил Алексей, несколько удивленный вопросом и тем, что его перебивают.

И он докончил рассказ, значительно сократив его.

Наступило молчание.

— Ты знаком со Скурагиным… студентом на математическом факультете? — вдруг спросил Ордынцев.

— Нет, не знаком… Видел его и слышал о нем.

— Жаль, что незнаком…

— А разве так интересно?..

— Очень… Интересней нового открытия в химии! — иронически промолвил Ордынцев.

Алексей слегка пожал плечами.

А Ордынцев, видимо раздражаясь, продолжал:

— А о голоде слышал?

— Читал.

— И что же?..

— Ничего… Известные следствия известных бытовых условий.

— Равнодушен к этому вопросу?..

— Почти…

— И находишь, вероятно, что помогать не следует?

— Нахожу… И имею основания находить… Но так как чужие мнения тебя раздражают, то я лучше уйду… Прощай!

— Прощай! — холодно сказал Ордынцев.

И в догонку крикнул:

— Попроси Ольгу зайти ко мне на днях…

— Когда именно… Утром или вечером?

— Вечером завтра…

И когда сын ушел, Ордынцев шепнул:

— О, что за определенный молодой человек!

И в ту же минуту сорвался с места и побежал в прихожую.

Алексей одевал пальто.

— Не сердись, Алеша… Ты не виноват, что такой… Не виноват! Прости меня! Пойми, что мне больно твое равнодушие к общественным вопросам.

И Ордынцев с глазами, полными слез, обнял сына.

— Я ни в чем не обвиняю тебя, папа… Нам не нужно только говорить о том, что тебя раздражает. Вот и все… У тебя нервы взвинчены… Прощай,

и на меня не сердись за то, что я не такой, каким ты бы хотел меня видеть!..

И он ушел, не выказав никакой ласки к отцу. Снисходительная нотка звучала в его словах — и только.

Ордынцев прошел в свой кабинет и принялся за газету. Шура, грустная, сидела в своей комнате и, не понимая истинных причин раздражения отца, считала его виноватым.

— Папочка, да за что ты прогнал Алешу? — спросила она, прибежав через несколько минут к отцу, встревоженная и негодующая.

— Он сам ушел…

— Но ты сердился на него… Ты показывал свою нелюбовь… За что же ты его не любишь?.. Отчего ты никогда не поговоришь с ним ласково. Не скажешь, что он неправ…

Отец слушал заступницу и вдруг обнял ее и взволнованно проговорил:

— Он не виноват, деточка, и я извинялся… Но его не убедить… Он… законченный! — тоскливо прибавил он.

— Что значит: законченный?

— Безнадежный! Он останется таким же сухим, себялюбивым и равнодушным ко всему, что не касается его собственной особы.

— Так зачем ты… ты не учил его, что таким быть нехорошо?..

— Милая! Мне некогда было смотреть за вами… Но я виноват… Знаю это и все-таки раздражаюсь… Такой, как Алеша, — не один… Алеша умен и даровит… и от этого другим будет хуже… Он заставит страдать более слабых… Его будут ненавидеть…

— Почему? — испуганно спросила Шурочка.

— Потому, девочка, что у него сердце нет, нет доброты и жалости к людям. А без этого нет настоящего человека. Ум без человечности светит, но не греет!.. Расскажи я Алексею, при каких условиях получил вчера прибавку жалованья, он назовет меня дураком… Ты помнишь тогда, когда я рассказал, что заступился за Андреева, как Алексей основательно доказывал, что я был неправ?..

— Помню… Помню, папочка… И не забуду этого дня…

— А я ведь надеялся, что Алеша меня поймет, порадует своим сочувствием, а между тем одна только ты… О Шура!.. Ты не понимаешь еще, голубка, как больно ошибиться в близких… Конечно, сам виноват… Но, милая! Хотя бы по крайней мере не лгали… А то вдруг узнаешь…

Ордынцев остановился вовремя.

Бледная и испуганная, смотрела Шура своими большими скорбными глазами на отца, и губы ее вздрагивали.

— Кто же лгал, папа? — кинула вдруг в упор Шура.

Ордынцев молчал.

— Кого же ты обвиняешь, папочка? — настойчиво повторила девочка.

Ордынцев смущенно смотрел на Шуру. Она ждала ответа. Надо же что-нибудь ответить.

И отец ответил:

— Нет… нет… я не виню. Это вырвалось в минуту раздражения… Ни Алексей, ни Ольга, ни Сережа не лживы… Нет, нет… И ты не волнуйся, девочка…

— А мама?.. Мама? — прошептала девочка. И голос ее дрогнул.

— И мама не лгала… Бог с тобой!.. Мы с ней ссорились, это правда… И я был часто неправ…

— То-то! — облегченно вздохнула девочка.

И после паузы сказала:

— Я и тебя люблю и маму люблю…

— Конечно, маму нужно любить!

Ордынцев говорил это, а между тем думал, что было бы лучше, если б Шура не любила такую

мать.

И оттого, что Шура любит мать, он с большей ненавистью относился теперь к бывшей жене.

— Я ведь сегодня на целый день к нашим?

— Конечно. Иди к ним… Как раз к завтраку попадешь… Иди, милая.

— А ты останешься один… И опять будешь грустить?

— И я скоро уйду… И грустный не буду… Вот разве на панихиде…

И Ордынцев, прощаясь с Шурой, снова уверил ее, что мрачное настроение прошло, осмотрел, так ли она одета, и просил поцеловать за него сестру и братьев.

— И ты позови их на елку! — прибавил он.

Глава двадцать первая

I

В ожидании объяснения с любимой женщиной, силу обаяния которой Никодимцев едва ли сознавал, он переживал томительно-жуткое состояние, подобное тому, какое испытывает подсудимый в ожидании приговора. И чем ближе подходил час встречи, тем нетерпеливее и мучительнее было это ожидание и тем более он сомневался в том, в чем несколько времени тому назад почти был уверен.

Весь охваченный лишь одной мыслью — мыслью о том, любит и может ли его полюбить Инна, или только питает к нему дружеские чувства, и выйдет ли за него замуж, или откажет, Никодимцев так запутался в своих противоречивых предположениях, что наконец не мог больше об этом думать и никак не мог решить, благоприятная ли для него записка Инны Николаевны, или нет.

Теперь он думал лишь об одном, желал только одного — чтобы как можно скорей решилась его участь, какова бы она ни была. Только бы не

оставаться в неизвестности.

Тогда по крайней мере он не будет знать безумного беспокойства последнего времени. Он уедет и в новой, все-таки имеющей какой-нибудь смысл деятельности постарается побороть свое чувство и забыть эту женщину, ворвавшуюся в его жизнь, выбившую его из прежней колеи и овладевшую им с такой властностью, возможности которой над собой он и не подозревал.

Но как только Никодимцев начинал думать, что он не увидит этого милого лица, краше которого, ему казалось, и быть не может, — этих больших серых ласковых глаз, чарующей улыбки, изящной гибкой фигуры, красивых маленьких рук с длинными и тонкими пальцами, — когда он думал, что не будет восхищаться чуткостью ее ума и сердца, найдя в ней родственную себе душу, — он чувствовал себя бесконечно несчастным, одиноким и жалким.

Без Инны жизнь, казалось, теряла смысл. Веру в свое дело он потерял. Что же он будет теперь делать? Во имя чего жить?

Наконец Никодимцев не выдержал этой пытки ожидания. Он торопливо оделся и в три часа поехал к Козельским.

И дорогой, и когда Никодимцев поднимался по

устланной ковром лестнице, он бессознательно шептал одни и те же два слова: «Надо покончить», подразумевая, что надо объясниться.

И только когда он позвонил и увидел перед собою отворившего ему двери слугу, он овладел собой и спросил:

— Принимают?

Лакей доложил, что дома только одна молодая барыня.

Это известие, вместо того чтобы обрадовать Никодимцева, напротив, на мгновение смутило его.

— А молодая барыня принимает? — умышленно безразличным тоном спросил Никодимцев, точно боясь, что лакей отлично понимает, что ему именно и нужна молодая барыня.

— Принимают. Извольте пожаловать в гостиную. Я сию минуту доложу.

Никодимцев вошел в гостиную и уставился на двери, ведущие в столовую.

Прошла минута, другая. Инна Николаевна не являлась.

«Все кончено!» — подумал Никодимцев.

И в гостиной словно бы потемнело. И на сердце у Никодимцева сделалось мрачно-мрачно.

Наконец скрипнула дверь, и появилась Инна.

И Никодимцеву показалось, что гостиная вдруг

озарилась светом и что сама Инна сияла в блеске новой и еще лучшей красоты.

И у него замерло сердце от восторга и страха.

Стройная, изящная и нарядная в своем новом, только что принесенном светло-зеленом платье, свежая и сверкающая ослепительной белизной красивого и привлекательного лица, торопливо подошла она к Никодимцеву, и, радостно-смущенная, вся словно бы притихшая и просветленная счастьем, протянула ему руку.

Никодимцев побледнел.

Он порывисто и крепко пожал ее руку и первое мгновение не находил слов.

Молчала и молодая женщина.

Тронутая его волнением, счастливая, что Никодимцев так сильно ее любит, и понимавшая, что он в ее власти, она глядела на него ласковым и властным взглядом.

— Как я рада, что вы раньше приехали, Григорий Александрович.

Но Никодимцев, казалось, не понимал, что она сказала. Он смотрел на нее с проникновенным восторгом и, казалось, еще не смел верить своему счастью, хотя и чувствовал его в выражении лица и глаз молодой женщины…

— Я приехал узнать свой приговор… Вы ведь

знаете… я вас люблю! — наконец проговорил он серьезно, почти строго.

— Знаю, — чуть слышно произнесла Инна.

— Вчера… ваша записка… Неужели это правда?..

— Что?

— Что вы позволили вас любить?

— Правда. И давно уж позволила… И сама поняла вчера после вашего письма, что… привязана к вам…

— Как к другу… да… не более? Говорите! — почти крикнул Никодимцев.

— Разве тогда позволяют любить… Или вы не видите, что и я вас люблю!

— О господи! — вырвалось из груди Никодимцева.

И, полный невыразимого счастья, умиленный, со слезами на глазах, он целовал руки Инны и снова глядел в ее загоревшиеся глаза, радостный и помолодевший.

— О, если бы вы знали, как вы мне дороги, как я вас люблю! — шептал он. — Я не смел и мечтать о таком счастье… Ведь вы согласитесь быть моей женой? Ведь согласитесь, да?

— А вы разве не боитесь на мне жениться?..

— Бояться?.. Чего бояться?

— Моего прошлого! — проронила Инна, и страдальческое выражение омрачило ее лицо и залегло в глазах. — О, если б его не было! Если б его не было! — тоскливо повторила она.

— Вы в нем не виноваты… Забудьте его…

— Разве возможно забыть его, Григорий Александрович. И я не забуду, и вы не забудете… Вы, как порядочный человек, никогда не напомните мне о нем, но оно всегда будет стоять между нами и отравлять нам жизнь… Вы будете мучиться этим, а мне будет больно — ведь я люблю вас! И это меня пугает…

— Инна Николаевна! Да ведь вы выстрадали прошлое… И за то, что вы его выстрадали, за то, что вы так правдиво рассказали мне о нем, я вас еще более люблю и уважаю… Я не боюсь… Я верю вам… О, не отказывайте мне из-за этих страхов. Не отказывайте!.. Не бойтесь, что, выйдя за меня замуж, вы лишитесь свободы чувства. Я палачом не буду. Слышите?

— Вот видите, Григорий Александрович. Уж и теперь у вас сомнения.

— Какие?

— Вы уже думаете, что я вас должна разлюбить и полюбить другого.

— Я стар. Мне сорок два года.

— Разве это старость? И в ваши сорок два вы влюбились, как мальчик. Разве это не правда? — не без ласкового лукавства спросила она.

Никодимцев радостно ответил:

— И как это хорошо быть мальчишкой… Так вы согласны, Инна Николаевна?

— Да разве вы не видите этого?.. Согласна, согласна, согласна!

Никодимцев весь сиял счастьем. И в это же время ему казалось, что он недостоин такого чрезмерного счастья — быть любимым этой женщиной — и что он еще недостаточно любит ее. И ему хотелось сказать ей что-то особенно значительное и важное о своей любви и поскорей доказать ее. Жизнь ему представлялась теперь светлой, чудной, полной смысла, и смысл этот явился в Инне, в этой прелестной, чарующей Инне.

— Господи! Чего бы я ни сделал, чтобы дать вам счастье, Инна Николаевна! — проговорил он с какою-то особенной, значительной и торжественной серьезностью и, взявши ее за руку, крепко прижал к своим губам.

И Инна, проникнутая тем же серьезным, приподнятым настроением, ответила:

— И мы должны быть счастливы. Я постараюсь,

чтоб вы не разлюбили меня. Если бы вы знали, как одинока я была до вас!..

Они присели на диван и строили план будущего. Никодимцев просил, чтобы свадьба была после возвращения его с поездки. К тому времени развод, наверно, состоится. Адвокат, его приятель, надеется покончить дело скоро.

— А муж?.. Не откажется от развода? — испуганно спросила Инна Николаевна.

— Не откажется.

— О, вы его не знаете, Григорий Александрович! Он бесхарактерен и поддается всякому влиянию…

— Но он уж условился с адвокатом и выдал обязательство…

— Какое?

— Что он согласен на развод за пятнадцать тысяч и в виде задатка уже получил пять.

— О, какая мерзость! — с отвращением проговорила Инна. — И я жила с таким человеком пять лет!

— Вы не знали людей, Инна Николаевна.

— Да, не знала и, признаюсь вам, такой наглости в нем не подозревала… Но кто же заплатил пять тысяч и кто заплатит остальные десять?.. Вы, разумеется?

— Простите, я… От имени вашего отца… Мы потом сосчитались бы с ним… а у меня, по счастью, именно была эта сумма сбережений.

— Вы и в этом мой спаситель… Ну разве я не неоплатная ваша должница… Милый!

И Инна Николаевна протянула Никодимцеву руку.

Он задержал эту маленькую руку в своей руке и чувствовал, как какая-то горячая волна охватывает все его существо, и в то же время, стараясь скрыть свое возбуждение, продолжал говорить с Инной об ее разводе и успокаивал ее относительно Леночки.

— Он и от прав на свою дочь отказался с тем, чтобы только от него не требовали платы на ее содержание…

— Подлец! — вырвалось у Инны.

— Ну вот я вас и расстроил… Простите… Зачем я вам все это говорил?

— Отлично сделали… По крайней мере я не чувствую себя теперь перед ним виноватой… а ведь это чувство виновности и удерживало раньше от полного разрыва… Ну, довольно. Не будем больше говорить об этом… Не будем вспоминать… Ведь и вам тяжело думать, что я была женой Травинского. Не правда ли?

— Правда! — отвечал смущенно Никодимцев. — За вас больно! — прибавил он и смутился еще более, так как сказал не всю правду.

Инна Николаевна пытливо заглянула ему в глаза.

— Только за меня? — протянула она.

Никодимцев молчал.

— А разве не ревнуете вы к нему, как… как к бывшему мужу? Не скрывайте от меня ничего… Говорите правду, я вас прошу… Ревнуете?

— Да! — виновато и застенчиво проронил Никодимцев.

— Нашли к кому ревновать! — брезгливо проговорила Инна. — А впрочем, я понимаю эту ревность. Так оно и должно быть у человека, который сильно любит… Вот видите, Григорий Александрович, прошлое трудно забыть! — прибавила она с грустной усмешкой.

И, увидевши, что Никодимцев омрачился, порывисто и нервно прибавила:

— Но мы оба постараемся забыть его. Ведь забудем… Не правда ли?

Голос Инны звучал смело и вызывающе, а между тем на глаза навертывались слезы.

— Инна Николаевна! Не мучьте себя… Не надо, не надо! — с необыкновенной нежностью прого-

ворил Никодимцев.

И, наклонившись, несколько раз тихо поцеловал ее руку.

— Не надо, — повторил он. — Для меня ваше прошлое не имеет значения, а вы забудете его. Я вас люблю такою, как вы есть… И эта ревность к мужу — нехорошее чувство. Оно пройдет… непременно пройдет… Не мучьте же себя напрасными страхами… Я люблю вас, люблю… Я счастлив, бесконечно счастлив.

Тронутая этими словами, этой лаской, Инна улыбалась сквозь слезы своей чарующей улыбкой, и Никодимцев опять просиял, чувствуя, что между ними растет что-то новое, манящее и захватывающее — та желанная близость, которой он так хотел и так боялся.

Они снова заговорили об устройстве новой их жизни, о том, как они поедут после свадьбы за границу, как потом будут жить в Петербурге, тихо, без приемов, имея ограниченный круг знакомых, как будут вместе читать, ходить в театр. Оба радостные, полные надежд и приподнято настроенные, они верили этой семейной идиллии и хотели се. Никодимцев потому, что иначе не понимал брака. Инна потому, что прежняя жизнь ей представлялась ужасной и она цеплялась за

новую.

Эти разговоры прерывались воспоминаниями о первом знакомстве, о быстром сближении, о частых визитах Никодимцева.

Он признался, что с первой же встречи Инна Николаевна произвела на него сильное впечатление.

— И с того же вечера вы овладели моими мыслями, Инна Николаевна! Я почувствовал, что вы сыграете значительную роль в моей жизни… С того вечера я уж не был таким чиновником… Передо мной открылась другая жизнь…

Инна тоже призналась, что Никодимцев ей понравился в тот же вечер, когда они встретились.

— И когда я вернулась домой, я вспомнила наш первый разговор за ужином… помните?

— Еще бы не помнить! — восторженно сказал Никодимцев. — Я все ваши слова помню!

— А ваш первый визит? И как мне тогда было совестно перед вами…

— За что?

— А за то, что вы у меня встретили это общество, помните… И я думала, что вы после этого визита не приедете… А мне так хотелось вас видеть, слышать, что вы говорите… И ваше отношение ко мне было так ново, так хорошо…

Они продолжали говорить, не переставая, точно виделись в первый раз после долгой разлуки. Точно они совсем еще не знали друг друга, и оба они, прежде сдержанные, теперь словно бы торопились высказаться, обнаружить себя один перед другим, ввиду предстоящей их близости.

Никодимцев слушал Инну, и все чаще и дольше целовал ее руку, и смущенно и виновато краснел, когда Инна перехватывала влюбленный, загоревшийся взгляд его черных, совсем молодых глаз, перехватывала и не сердилась, краснея и улыбаясь. И жених ей казался таким помолодевшим, таким интересным и милым с его целомудренной застенчивостью человека, видимо мало знавшего женщин, таким непохожим на бывших ее поклонников…

— А я сегодня же скажу об этом вашим. Вы позволите?

— Разве это нужно?

— Нужно. Я не хочу делать из этого секрета… А вы разве не хотите?

— Что вы? Что вы? Я только боюсь, как бы муж не наделал неприятностей… Не подождать ли развода?

— Вы будете под моей защитой… Повторяю, ваш муж ничего не сделает… Напротив, узнавши,

что я женюсь на вас, он не пикнет… Он трус.

— Я согласна… Вы правы, как всегда! — проговорила Инна и освободила свою руку из руки Никодимцева, заслышав в прихожей шаги.

II

Вошел Козельский, по обыкновению элегантный, свежий и моложавый.

Он уже узнал от швейцара, что Никодимцев сидит с трех часов, и теперь, взглянувши на несколько возбужденные лица гостя и дочери, сидевших рядом на диване, не мог и представить себе, что дело обошлось без флирта, и мысленно поздравил «умную Инночку», что она быстро и решительно «подковывает» влюбленного Никодимцева.

И Николай Иванович приветствовал его превосходительство с особенно дружественною и несколько даже фамильярною приветливостью, какой раньше не позволял себе с будущим товарищем министра.

По тому, с какою горячностью и какой-то особенной почтительностью Никодимцев пожал руку, по-видимому, даже обрадованный фамильярностью тона, Козельский понял, что и на нем отразились чувства, питаемые Никодимцевым

к дочери.

И, принимая вид «благородного отца», он проговорил тем мягким, полным добродушия голосом, которым умел очаровывать мало знавших его людей:

— А я еще, простите, не поблагодарил вас, дорогой Григорий Александрович.

— За что, Николай Иванович?

— А за Инночку… Вы так скоро устроили выдачу отдельного паспорта.

— Стоит ли говорить о таких пустяках…

— Доброе внимание не пустяк, Григорий Александрович… Оно ценится… И порекомендовали ей адвоката Безбородова… Это превосходный юрист… Теперь дело ее в надежных руках, и я думаю, что Инна скоро освободится от своего ига… Сердечное вам спасибо, Григорий Александрович, и за себя и за Инночку.

И Козельский еще раз крепко пожал руку, отводя взгляд, чтобы не заметить смущения Никодимцева.

И, усаживая на диван гостя, спросил:

— Скоро едете, ваше превосходительство?

И сам подумал: «Неужели до его отъезда Инна не доведет его до предложения?»

— Через пять дней.

— Высокая и трудная миссия предстоит вам, Григорий Александрович, — продолжал Козельский в несколько приподнятом тоне человека, цивические[15] добродетели которого не внушают сомнений. — Все порядочные люди обрадовались вашему назначению… По крайней мере мы узнаем настоящую правду, а то ведь мы и до сих пор не знаем, голод ли у нас, или выдумка неблагонамеренных людей… Мы играли в недород и о нем даже долго молчали… Да, нечего сказать, хорошее времечко, в которое мы живем…

И, взглянув на часы, Козельский прервал свое фрондированье, которым, по старой привычке, он любил иногда щегольнуть, и, обращаясь к дочери, спросил:

— А где наши, Инна?

— Их не было дома.

— Они, верно, вернулись. И не знают, что Григорий Александрович здесь…

— Я пойду узнаю.

— И кстати узнай, милая, вовремя ли нас станут сегодня кормить.

Инна застала мать в ее комнате за книгой.

— Мамочка!.. Обедать сейчас. Ты давно вер-

---

[15] Примечания: 15
Гражданские (от лат. civilis).

нулась?

— С полчаса…

— Григорий Александрович здесь…

— Я знаю…

— Так отчего ж ты не вышла?..

— Не хотела мешать вам говорить, моя родная… И какая ты оживленная сегодня… Какая радостная!..

— Он сделал мне предложение, мамочка! — вырвалось у Инны, и она бросилась целовать мать.

— Ты дала слово?

— Дала.

— Значит, нравится?

— Больше, больше, мамочка… Я его люблю… А где же Тина?

Она заглянула в комнату сестры. Та что-то писала у письменного стола.

— Обедать? — спросила она, поспешно закрывая тетрадь. — Иду, иду!.. Ну что, договорились до чего-нибудь с Никодимцевым? — насмешливо спросила Тина.

— Что за выражения, Тина…

— Ну, если не нравится, так спрошу: женишь его на себе?

— Я просто выйду замуж.

— Еще мало научена?.. Еще не успела разве-

стись — и опять хочешь повторить прежнюю глупость?

— Тут нет повторения… Тут все новое, Тина! — весело отвечала сестра.

— Нашла новое, нечего сказать! Не скажешь ли ты, что влюблена в Никодимцева?..

И Тина засмеялась гадким смехом, показывая свои красивые острые зубки.

— Я не шла бы замуж, если б не любила…

— Какое громкое слово!.. И надолго полюбила?

— А ты все еще не веришь, что я стала другая?..

— Поговорим об этом через год. А сегодня, значит, шампанское и первый поцелуй? — иронически спросила Тина. — Я с удовольствием выпью. Я давно не пила, скажи папе, чтоб он послал за мумом!

Оставшись вдвоем с Никодимцевым, Козельский хотел было до закуски спросить мнения Никодимцева об одном новом деле, которое наклевывалось, как увидал, что лицо Никодимцева вдруг сделалось необыкновенно серьезным, напряженным и взволнованным.

Несколько секунд прошло в томительном молчании.

— Николай Иванович! — вдруг обратился Никодимцев торжественно и значительно и на

мгновение остановился, словно бы он вдруг услыхал фальшивую ноту взятого тона и понял ненужность и условность того, что сейчас скажет.

«Подкован!» — обрадованно решил Козельский, и лицо его тоже приняло несколько серьезное и торжественное выражение, когда он поднял вопросительно-ласковый взгляд на Никодимцева.

— Я только что предложил Инне Николаевне быть моей женой и имел счастье получить ее согласие… Надеюсь, что и вы в нем не откажете, и поверьте, что я…

Николай Иванович не дал Никодимцеву докончить и вывел его из неприятного положения тем, что сперва выразил на лице своем приятное изумление, затем проговорил, что он никогда не идет против желания детей, и, с достоинством выразив удовольствие иметь Григория Александровича своим зятем, безмолвно привлек его к себе, троекратно с ним поцеловался и отер батистовым платком слезу.

И. когда вся эта процедура была окончена, он проговорил:

— Надоело небось, Григорий Александрович, одиночество?.. То-то… Без семейного теплого очага как-то неприветно… Что может быть лучше

его! — прибавил не без значительности Козельский.

В эту минуту вошла Антонина Сергеевна. По ее несколько торжественному лицу, без обычного на нем выражения сдержанной грусти, Козельский догадался, что святая женщина уже знает от Инны о счастливом событии.

— Тоня! Григорий Александрович делает нам честь просить нашего согласия на брак с Инной! — торопливо и радостно проговорил Козельский.

И, оставив их вдвоем доканчивать чувствительную сцену, Николай Иванович торопливо вышел, чтобы поскорее послать за шампанским.

В коридоре он встретил Инну и возбужденно и нежно проговорил:

— Молодец ты, Инночка!.. И как тебя любит Григорий Александрович! Ты не знаешь, какое он любит шампанское?

Этот «молодец» и этот вопрос о шампанском задели Инну.

«И он думает, что я та же, что и была!» — пронеслось в ее голове.

— Не знаю, папа. А Тина просит послать за мумом! — отвечала Инна.

Когда Козельский вернулся в гостиную, загля-

нувши прежде в столовую, чтоб убедиться, все ли там в порядке, новый ли сервиз и хороша ли свежая икра, — Антонина Сергеевна, утирая слезы, просила Никодимцева беречь Инну и с наивной откровенностью матери рассказывала Григорию Александровичу, какое золотое сердце и какая умная головка у Инночки.

Никодимцев с восторгом слушал эти речи и сочувственно взглядывал на будущую тещу.

Глава двадцать вторая

— Кушать подано! — доложил лакей во фраке и белых нитяных перчатках.

Все перешли в столовую.

Там уже были обе сестры и бонна немка с Леночкой.

Никодимцев поздоровался и с Тиной с тою же ласковой сердечностью, с какою отнесся и к родителям, перенося частицу своей любви к Инне и на ее близких.

Он пожал руку бонне и с особенной лаской поцеловал ручку Леночки, давно уже бывшей доброю приятельницей «дяди Никодима», как перекрестила его фамилию девочка, подкупленная игрушками, которые он привозил ей, и сказками, которые ей иногда рассказывал.

И Инна Николаевна с радостью подумала теперь об этой дружбе, уверенная, что Никодимцев не будет дурным вотчимом и не станет ревновать, в лице этой девочки, к прошлому.

Да и вдобавок она нисколько не напоминала отца.

Хорошенькая, с такими же пепельными волосами— и большими серыми глазами, как у матери,

она поразительно походила на Инну Николаевну. Даже в улыбке было что-то похожее.

— А ведь прелестная внучка у меня, Григорий Александрович… Милости просим закусить. Какой прикажете? Казенной, померанцевой, аллашу, зубровки?

— Померанцевой попрошу.

— И я изредка себе ее разрешаю… Доктора запретили! — сочинил, по обыкновению, Николай Иванович, скрывая истинную причину своей тренировки, наливая две рюмки.

Они чокнулись. Козельский порекомендовал гостю свежую икру.

— Кажется, недурна? — проговорил он с тайным удовольствием человека, любившего, чтобы у него все было изысканное и лучшее.

Недаром же он велел прислать ее из одной из Милютиных лавок, где часто ел устрицы и был постоянным покупателем «его» икры — и заплатил десять рублей за два фунта.

— Превосходная! — ответил Никодимцев, бывший в таком настроении, что мог сегодня находить все превосходным.

И он отошел от стола, чтоб дать место Тине.

У Тины загорелись глаза, ее бойкие вызывающие глаза, и раздувались ноздри при виде

разнообразных закусок, бывших сегодня по случаю приглашения к обеду Никодимцева.

Не спеша и, видимо, привычным движением своей белой красивой руки в кольцах взяла она тонкогорлую бутылку с рябиновкой, налила рюмку до краев и, наложивши полную тарелочку свежей икры, выпила водку одним глотком не хуже мужчины, привыкшего пить, и, не поморщившись, принялась закусывать с наслаждением, напоминающим что-то плотоядное.

Никто не обратил на это внимания, кроме Никодимцева. Домашние давно уж привыкли к тому, что Тина перед обедом пила маленькую рюмку рябиновки, и хоть это и оскорбляло главным образом изящные вкусы отца, находившего, что женщинам прилично только пить немного шампанского, тем не менее Тина в конце концов приучила своих, объясняя им, что пьет для здоровья. Ей это полезно, доктор один говорил.

«Неужели и Инна так же умело пьет водку!» — с ужасом подумал Никодимцев, когда Инна Николаевна подошла к столику.

У него отлегло от сердца: Инна не последовала примеру сестры.

Но она заметила его удивленный взгляд, брошенный на Тину, и вспомнила, что еще недавно

и она сама, случалось, пила за закусками на ресторанных обедах и ужинах рюмку-другую рябиновки, пила, не чувствуя ни малейшего удовольствия, а так, ради возбуждения и из-за того, что ее упрашивали мужчины, и из-за того, что другие дамы пили. Вспомнила Инна и о том, что в числе многих клевет, распускаемых про нее, была и клевета насчет того, что она пьет до двенадцати рюмок коньяку и по бутылке шампанского.

При этих быстро пронесшихся в ее голове воспоминаниях она с ужасом подумала: «Неужели это все было?»

Но как далека она от этого теперь!

И Инна Николаевна взглянула на Никодимцева и, встретивши его встревоженный взгляд, почувствовала в нем и любовь, и понимание, и защиту. Тень сбежала с ее лица, и она улыбнулась.

Тотчас же улыбнулся и Никодимцев, давно уж понимавший, что Инна владеет его настроением.

Обед, заказанный самим Николаем Ивановичем, был превосходный и вина тонкие.

Но Козельский не без сожаления видел, что Никодимцев ел мало, как-то небрежно, видимо не оценивая по достоинству ни супа, ни пирожков, ни форели с какой-то особенной подливкой,

секрет которой сообщил Николаю Ивановичу француз-повар одного модною ресторана, ни вымоченного в мадере филе. И не пил ничего.

«Совсем влюблен, как юнкер!» — подумал Козельский, умевший как-то отдавать равную дань и любви и кулинарным прелестям.

— Инна! Хоть бы ты предложила Григорию Александровичу рейнвейну. Оно, кажется, ничего себе…

— Я предлагала — не хочет…

— Нехорошо угощаешь, Инна… Ты налей.

И Никодимцев подставил свою рюмку, чтоб сделать удовольствие Козельскому.

— И себе налей, Инна, рейнвейну… А Тиночка сама о себе позаботится! — проговорил, смеясь, Козельский.

Действительно, молодая девушка о себе заботилась. Она и ела, как настоящий гурман, и уже пила вторую рюмку иоганнисбергера, смакуя его с видом знатока.

Никодимцев только про себя удивлялся, взглядывая порой на ее слегка закрасневшееся от еды и вина, самоуверенное и вызывающее личико.

«Как не похожи две сестры!» — думал он.

— Ты прав, папа. Я о себе позабочусь! — спокойно ответила Тина отцу и прибавила: — А

рейнвейн хороший!

И повела равнодушным взглядом на Никодимцева, точно желая им сказать:

«Мне решительно все равно, что вы обо мне подумаете, господин директор департамента. Вы герой не моего романа!»

И молодая девушка вспомнила о юном красавце Скурагине, и ей было досадно, что он уезжает и она остается пока без влюбленного поклонника, с которым бы можно было заниматься флиртом в том широком смысле, какой придавала флирту эта странная девушка.

А Скурагиным она с удовольствием бы занялась и обратила бы его в «христианскую веру», несмотря на то, что он глядит Иосифом Прекрасным[16]. Знает она этих Иосифов.

И при мысли о таком обращении ее блестящие глаза заблестели еще более.

— Скурагин у вас не был, Григорий Александрович? — с фамильярной небрежностью спросила она своим резким контральто.

— Нет, не был еще, Татьяна Николаевна! — почтительно отвечал Никодимцев, как бы

---

[16] Примечания: 16

То есть целомудренным юношей. Выражение возникло из библейского рассказа (Бытие, 39) о прекрасном юноше Иосифе, которого тщетно пыталась соблазнить жена египетского царедворца Пентефрия.

подчеркивая не особенно деликатный тон молодой девушки.

— Кто это такой Скурагин? — обратился Козельский к дочери.

— Мой знакомый студент. Он у нас пил чай, и Григорий Александрович пригласил его ехать с собой на голод.

«Странные отношения в семье», — подумал Никодимцев.

Инна боялась какой-нибудь выходки Тины. Та ведь не очень церемонится.

Действительно, молодой девушке очень хотелось оборвать как-нибудь этого корректного и влюбленного генерала. Не нравился он ей, и главным образом оттого, что она чувствовала своим женским инстинктом не только полное равнодушие к себе, как к женщине, но и тайное осуждение.

А этого она, как большинство женщин, не прощала.

И, посматривая на него, она все более и более удивлялась Инне, что та выбрала такого неинтересного и немолодого поклонника, и — что самое важное: еще делает глупость — выходит за него замуж. Увидит она, как он надоест ей своей поздней страстью. Увидит она, какой Отелло этот

генерал. Бедной Инне даже и пококетничать будет нельзя, а не то что искать впечатлений… Дорого ей достанется эта выгодная партия. Уж лучше бы женила на себе Гобзина. Она охотно бы уступила Инне это животное, осмелившееся делать ей предложение.

— Очень милый молодой человек! — похвалила Антонина Сергеевна, обращаясь к мужу. — Он, быть может, вечером зайдет… Ты его увидишь…

— К сожалению, вечером я должен уехать… Заседание…

— Вечером?

— Экстренное…

Тина едва заметно улыбнулась, не веря этим экстренным заседаниям. Она догадывалась, что «заседание» будет с Ордынцевой.

Эта «тайна», которую так заботливо охраняли оба соучастника, не была тайной для их слишком прозорливых молодых дочерей.

И Ольга Ордынцева и Тина Козельская знали ее и, случалось, говорили между собой о ней. Обе девушки, слишком еще молодые, чтоб думать и о своей второй молодости, подсмеивались над второю молодостью родителей, и обе, конечно, мало их уважали, оправдывая свою неразборчивую жажду впечатлений молодостью и последними

декадентскими откровениями.

Они смели делать, что хотят, а родители не смели.

— Разве бывают ночные заседания, папа? — с самым серьезным видом спросила Тина.

— Бывают, милая! — ответил Козельский, отправляя в душе свою любознательную дочь к черту.

— И у вас бывают, Григорий Александрович?

— Редко, но бывают, Татьяна Николаевна.

— У Ники прежде часто были экстренные заседания. Теперь — реже. И то он, бедный, так занят! — заметила Антонина Сергеевна, хотя мало верившая мужу, но не утратившая еще веры в экстренные заседания, к покровительству которых Николай Иванович прибегал, впрочем, прежде, когда еще не сошелся с осторожной Анной Павловной, предпочитавшей дневные свидания, как дающие меньший повод к подозрениям.

Только в последнее время, когда Ордынцев оставил ее, она не отказывала Николаю Ивановичу и в вечерних, не предвидя, что произойдет неприятная встреча.

Козельский чувствовал скорее, чем видел, насмешливый взгляд «дерзкой девчонки» и хотел было замять неприятный для него разговор об

экстренных заседаниях, как безжалостная Тина спросила:

— И поздно эти заседания кончаются, папа?

— Как случится… Сегодня, я думаю, часам к одиннадцати.

По счастью в эту минуту лакей стал разливать шампанское, и общее внимание было обращено на Инну и Никодимцева.

Он чувствовал на себе чужие взгляды, чувствовал, что уже началось что-то оскорбляющее целомудрие и тайну его любви, что эта тайна словно является общим зрелищем, и ему было невыносимо стыдно, точно его внезапно обнажили перед всеми присутствующими в столовой.

Никодимцев украдкой взглянул на Инну и по ее смущенному лицу решил, что и она испытывает то же, что и он. И ему стало вдвойне стыдно.

Но он знал, что все это принято и что надо пройти через это испытание, и только желал, чтобы оно кончилось поскорей.

Бокал ему налили, и он с каким-то особенно напряженным вниманием ел рябчика, не поднимая глаз от тарелки, и решил, что будет просить Инну венчаться втихомолку и не приглашать никого, исключая шаферов. Верно, она на это согласится.

Николай Иванович уже обдумывал экспромт,

который он сейчас скажет. Он любил и умел говорить и считался одним из блестящих ораторов на разных чествованиях и юбилейных обедах.

Но, взглянув на лицо Никодимцева, Николай Иванович решил его пощадить. К тому же и исключительно семейная аудитория не особенно возбудительно действовала на его красноречие. Обещание быть к восьми часам на свидании с Анной Павловной тоже не располагало его к длинному экспромту.

И Николай Иванович поднялся с места и, поднявши бокал, проговорил, напрасно стараясь уловить глаза Никодимцева:

— Сегодня в нашей семье радостное событие. Григорий Александрович просил руки Инны. Она согласна, а мы и подавно согласны… За здоровье жениха и невесты. Дай бог, чтоб мы поскорей выпили за здоровье молодых!

Начались чоканья, поцелуи и пожелания.

Козельский был, видимо, очень доволен и, облобызавшись с будущим зятем, сказал ему несколько теплых слов в самом задушевном и на этот раз искреннем тоне, так как не сомневался, что ради Инны Никодимцев устроит тестю какую-нибудь почетную синекуру тысяч в пять. Надо только будет поговорить об этом тотчас

после свадьбы, во время медового месяца. Наверное, тогда и Никодимцев не откажет, даром что считается врагом непотизма[17].

Антонина Сергеевна опять «пролила слезу» и снова просила беречь Инночку.

— Они будут друг друга беречь, Тоня! — заметил Николай Иванович, начинавший впадать после рейнвейна в несколько идиллическое настроение.

Только с Тиной дело обошлось не совсем породственному.

Тина только чокнулась с Никодимцевым и не поздравила его и не высказала никаких пожеланий. Она с видимым удовольствием пила шампанское и, казалось, мало обращала внимания на всю эту комедию по случаю поимки хорошего жениха.

Когда бокалы снова были налиты, Николай Иванович ждал, что Никодимцев догадается поблагодарить родителей за такую красавицу невесту и предложит тост за их здоровье, но Григорий Александрович, сконфуженный и подавленный, казалось, об этом и не думал, и потому Козельский еще раз предложил тост за

---

[17] Примечания: 17
Кумовства (от лат. nepos — внук, потомок).

жениха и невесту.

На этот раз Никодимцеву пришлось только чокаться. Ни лобзаний, ни пожеланий не было.

— Григорий Александрович! А ваш бокал, родной мой, пуст… Разве вы не хотите выпить за здоровье невесты и… и поцеловать ее руку? — шутливо проговорил Козельский, несколько размякший после вина. — В старину мы это себе позволяли… Ха-ха-ха!

«Они давно уж и не то себе позволяли!» — подумала Тина, насмешливо посматривая на совершенно смутившегося Никодимцева своими блестящими глазами.

«Тоже Иосиф Прекрасный в сорок лет, скажите, пожалуйста!»

— Что же вы не пьете здоровье Инны, Григорий Александрович?.. Или боитесь отступить от правил и выпить второй бокал?.. Мум хорошее вино! — прибавила Тина, отхлебывая вино маленькими глотками.

Никодимцев строго взглянул на Тину и, чокнувшись с невестой, залпом осушил бокал.

«Ну, теперь пытка кончена!» — подумал он.

Но в тот же момент раздался веселый, ласковый и словно бы ободряющий голос Николая Ивановича:

— Горько, горько!

— Горько! — повторила за мужем и Антонина Сергеевна.

Она имела склонность к идиллическим положениям. А что же могло быть трогательнее первого поцелуя жениха и невесты?

Никодимцев понял, что испытание еще не кончено и что надо сделать еще что-то, профанирующее его чувство.

И он торопливо, застенчиво и неловко поднес руку Инны Николаевны и покраснел как гимназист.

Но это зрелище, видимо, не удовлетворило присутствующих.

— Все-таки горько! — значительно повторил Козельский, улыбаясь широкой, добродушной улыбкой сильно подвыпившего человека.

Насмешливо улыбающаяся и изумленная смотрела Тина возбужденными, блестящими от шампанского глазами на смущенного, совсем растерявшегося Никодимцева. Его необычное смущение вызывало в ней какое-то раздражающее, развращенное любопытство и колебало ее уверенность в том, что Никодимцев был близок с сестрой.

«Он совсем робкий, этот сорокалетний Ромео!»

— подумала она и удивлялась, что Инна могла терпеть около себя такого сентиментального и непредприимчивого поклонника и не привела его до сих пор в христианскую веру. Она давно бы это сделала. Неужели они только разговаривали?..

Словно бы ища защиты, Никодимцев взглянул на Инну Николаевну и точно спрашивал, что ему делать.

Она ответила ласковым, виновато улыбающимся взглядом и пожала плечами, словно бы хотела сказать, что выхода нет и надо ему ее поцеловать.

И, сгорая от стыда, Никодимцев прикоснулся губами к закрасневшейся щеке невесты.

Когда он решился наконец поднять глаза, то ему все лица показались неудовлетворенными.

Особенно бросилась Никодимцеву в глаза явно выраженная неудовлетворенность на бритом лице пожилого лакея, который в ожидании целования жениха с невестой замер в неподвижной позе с блюдом в руке, на котором возвышалась форма трехцветного мороженого, и, разочарованный, подносил теперь блюдо Антонине Сергеевне. Заметил Никодимцев и иронически улыбающийся взгляд Тины.

Наконец пытка была окончена. Кофе выпито, и все встали из-за стола.

Тина не пошла в гостиную и перед уходом в свою комнату шепнула, смеясь, сестре:

— Надеюсь, ты научишь теперь своего жениха?

— Целоваться. А то он, кажется, не умеет!

Обхватив Никодимцева фамильярно вокруг талии, Николай Иванович повел его в кабинет.

— На два слова! — промолвил он.

И, усадив Никодимцева на оттоманку, Николай Иванович присел около и проговорил:

— Я считаю своим долгом по чистой совести сказать вам, дорогой Григорий Александрович, что состояния у меня нет. Я живу на то, что зарабатываю…

«Господи! К чему он мне это говорит?» — подумал Никодимцев и снова почувствовал, что пытка начинается.

— Разумеется, приданое мы сделаем, но, к сожалению, я не могу, как бы хотел, сделать что-нибудь большее для Инночки…

— Николай Иванович… Зачем вы это говорите?

— Знаю, что вы любите дочь, знаю, что и она вас любит, но во всяком случае я считал необ-

ходимым сказать вам то, что сказал, Григорий Александрович. И вы не сердитесь… прошу вас… Вы должны понять, что во мне говорит отец…

— Нам хватит, Николай Иванович, моего жалованья, а в случае моей смерти Инна Николаевна будет получать пенсию… Во всяком случае, я позабочусь, чтобы Инна Николаевна не нуждалась. Роскоши я ей предоставить не могу, но…

— Я совершенно покоен за Инну, Григорий Александрович!

— Вы можете быть покойны.

И Никодимцев, как бы в подтверждение, крепко пожал руку Козельского.

— Но вы поймете, Григорий Александрович, я не мог не предупредить вас… Ну вот наши два слова и сказаны… А теперь прошу извинить меня… Нужно ехать. Надеюсь еще застать вас здесь? И надеюсь, что вы обедаете у нас каждый день?

Никодимцев благодарил.

Они вместе вернулись в гостиную. Козельский сделал общий поклон и радостный уехал на свидание.

Несколько времени Антонина Сергеевна оставалась в гостиной и затем, сославшись на нездоровье, ушла.

Жених и невеста остались одни.

— Пойдемте лучше ко мне, Григорий Александрович. Хотите? — предложила Инна.

— Пойдемте…

Когда они уселись рядом на маленьком диване в комнате Инны, она спросила:

— Измучили вас, бедного?

— О, какая это пытка!..

— Я видела и… знаете ли что?

— Что?

— Любовалась вашим смущением…

Никодимцев покраснел.

Несколько времени они болтали, но вдруг разговор оборвался.

Опьяненный близостью любимой женщины, Никодимцев не находил слов и глядел на нее влюбленным взглядом.

Примолкла и Инна.

— Я люблю вас… я люблю тебя! — вдруг вырвалось из груди Никодимцева.

И быстрым движением он привлек к себе молодую женщину и прильнул к ее губам.

Она отвечала горячими поцелуями.

— Милый! — шепнула она.

И Никодимцев снова целовал Инну с безумной страстью целомудренного человека, впервые познавшего настоящую любовь.

После чая Инна опять позвала Никодимцева к себе в комнату, и он просидел до двенадцати часов. Простившись с невестой долгим поцелуем, он обещал завтра быть после обеда.

— А обедать?

— Не могу. Одного приятеля звал… Ты его знаешь… Ордынцев.

— Немножко знаю… Он кажется мне симпатичным.

— Это порядочный человек и очень несчастный в своей семейной жизни. Недавно он оставил свою семью…

— Слышала… И Ордынцева везде бранит мужа за это…

— Не ей бы бранить… До завтра…

— До завтра…

— Так любишь?

— Люблю, люблю, люблю!..

Еще прощальный поцелуй, и Никодимцев ушел еще более влюбленный.

Он возвращался домой, восторженный, благодарный, умиленный и счастливый, вспоминая Инну, ее голос, лицо, волосы, ее жгучие поцелуи.

И как полна и хороша казалась ему жизнь. Как несчастны были люди, которые никогда не любили!

— Егор Иваныч! Поздравьте… я женюсь! — объявил Никодимцев, возвратившись домой.

Егор Иваныч поздравил и спросил:

— А скоро свадьба?

— Как вернемся…

— А на ком изволите жениться?

— На прелестной женщине, Егор Иваныч.

— На вдове, значит?

— Разводится…

Егор Иваныч поморщился.

И, помолчав, спросил:

— Нас с женой, значит, рассчитаете?

— Это почему?

— Новые порядки пойдут.

— Что вы, Егор Иваныч? Отчего новые порядки?

— Новое положение пойдет, ваше превосходительство.

— Никакого нового положения, как вы говорите! — весело говорил Никодимцев. — И вы и Авдотья Петровна останетесь и, надеюсь, будете так же ладить с женой, как ладите со мной.

— Мы с большим удовольствием готовы по-прежнему служить! — ответил старый слуга.

Но в душе он не верил, что ему и жене придется остаться у Никодимцева при «новом положении»,

и он уже был предубежден против женщины, нарушившей, по его понятию, «закон», то есть выходившей замуж при живом муже.

«Точно не мог другой найти!» — подумал Егор Иваныч, жалея Никодимцева за то, что он женится на такой «непутевой» даме.

— А как вы изволили уехать, кучер от графа приезжал и в восемь часов вечера опять приезжал. Спрашивал, где можно вас найти. А я разве могу знать, где вы находились весь день! — говорил не без тайного упрека и в то же время беспокойства Егор Иваныч. — Вот и письмо курьер оставил! — докладывал он и, взявши с письменного стола отдельно на виду положенный конверт, подал Никодимцеву.

— От этого вы и дожидались меня, Егор Иваныч?..

— Точно так. Надо было доложить. Видно, экстра, если два раза курьера посылал.

Никодимцев вскрыл конверт и прочитал записку, в которой его высокопревосходительство просил Григория Александровича побывать у него на квартире сегодня между восемью и девятью часами вечера по очень спешному делу.

Прежде Никодимцев, получив такую записку, испытал бы некоторое беспокойство, считал

бы себя виноватым, что не мог исполнить требования начальника, и делал бы разные предположения о причинах такого экстренного приглашения, а теперь он довольно равнодушно отнесся к нему и решил побывать у министра завтра утром.

— Ну, идите спать, Егор Иваныч!.. Никакой экстры нет! — весело проговорил Никодимцев.

— Спокойной ночи!

И с этими словами Егор Иваныч ушел из кабинета, удивленный, что Никодимцев отнесся к зову графа совсем не так, как относился прежде, и решил, что он совсем «влюбимшись», и, следовательно, жена будет сама повелевать. А каково это — он знал по собственному опыту.

Глава двадцать третья

В напечатанном на первой странице воскресного нумера «Нового времени» объявлении о кончине Бориса Александровича Горского, последовавшей после «краткой, но тяжкой болезни», панихиды были назначены два раза: днем — в час и вечером — в восемь.

За четверть часа до первой вечерней панихиды покойник был переложен в белый глазетовый гроб (по третьему разряду) какими-то довольно жалкого вида, плохо одетыми и с испитыми лицами людьми, от которых разило водкой, — под наблюдением агента бюро похоронных процессий, молодого человека в приличном черном пальто и с цилиндром в изогнутой не без претензии на изящество грязноватой руке с поддельным брильянтом, с бритым веснушчатым, веселым и плутоватым лицом, которое тотчас же приняло серьезно-торжественное выражение, как только агент увидал в полутемной маленькой и холодной часовне, освещенной лишь несколькими восковыми свечами паникадила, за свечкой у большого, во всю половину стены, образа спасителя, — Леонтьеву, Ордынцева, Скурагина и трех

артиллерийских офицеров, товарищей покойного, напрасно старавшихся быть печальными. Хотя они и любили Горского и жалели его, но все трое были так молоды, так жизнерадостны, что вид покойного не мешал им, после двух-трех минут воспоминаний о нем, тихо и сдерживая из приличия веселость, говорить о журфиксе у какой-то интересной барыни, куда они должны были ехать с панихиды и рассказать, между прочим, о романической причине смерти Горского.

Когда гроб поставили на катафалк и лица, перекладывавшие покойника, вышли, не зная, к кому из присутствовавших обратиться с просьбой на чай, — две сестры милосердия, ухаживавшие во время болезни за Горским, поднялись к гробу и, перекрестившись, заботливо и старательно, с бесстрастно-покорными лицами, занялись покойником, чтобы устроить и его и всю обстановку у гроба как можно лучше и порядливее.

Они выровняли покров, расправили его кисти, вложили в желто-восковые руки с отросшими вялыми ногтями на плоских пальцах почерневших конечностей небольшой образок, переданный им Леонтьевой, осторожно, с какою-то особенной почтительностью приподняли и положили на середину подушки сплюснутую у висков голову

и, оглядев, все ли в порядке, хорошо ли лежит покойник, снова перекрестились и, сойдя с возвышения, бесшумно отошли к стене, чтобы остаться на панихиде.

Тогда к гробу поднялась Вера Александровна с цветами в корзинке и сделала из чудных роз и ландышей рамку, среди которой утопала голова. Муж и Ордынцев подавали новые корзины цветов, и Вера Александровна усыпала ими весь покров. Затем положила два венка: один от нее, другой — роскошный венок, неизвестно кем присланный и несколько раздражавший Леонтьеву, вследствие чего она, вероятно, и поставила его у ног.

Часовня мало-помалу наполнялась знакомыми покойного. Многие из них подходили к Леонтьевой, жали ей руки и молча отходили к стене. Разговаривали совсем тихо. Только порой выдавался громкий голос одного из трех молодых артиллеристов и, словно бы сконфуженный, внезапно понижался до шепота или смолкал.

Уж было десять минут девятого, а батюшка не приходил.

Леонтьев обратился к сестрам с просьбой послать за ним сторожа часовни. Одна из сестер вызвалась сходить сама и, словно бы извиняясь

за опоздавшего священника, объяснила, что, верно, что-нибудь важное задержало, если батюшка опоздал.

В эту минуту в часовню вошла совсем молодая и миловидная девушка, видом похожая на горничную, в шляпке, в ватном дешевеньком пальто и в очень стареньких перчатках. В руках у нее был небольшой, но очень красивый венок из живых белых роз и лилий.

Бледная, взволнованная и сконфуженная, с красными от слез глазами, пала она ниц перед гробом и залилась слезами. Потом поднялась к гробу, взглянула, перекрестившись, в лицо покойника и с воплем припала к нему.

— Кто это? — спросил Ордынцев у Веры Александровны. — Вы знаете?

— Горничная меблированных комнат, где в прошлом году жил Боря… Не думайте чего-нибудь, Василий Николаич. Это была трогательная и безнадежная привязанность к брату, которая потом настолько овладела бедной девушкой, что брат должен был переменив квартиру… Вот эта простая, необразованная девушка не чета той, из-за которой лежит бедный Боря! — прибавила вдруг с озлоблением Леонтьева.

И, словно бы желая объяснить причину его,

Вера Александровна прибавила:

— Я только час тому назад читала дневник Бори… Я вам дам его прочесть, и вы увидите, что за развращенная, равнодушная ко всему и ко всем эта Козельская… Какие ужасы описывает брат!.. И что она с ним делала!.. И вот такие убийцы остаются безнаказанными… Они еще, наверно, гордятся делом своих рук… Ведь из-за нее погиб мужчина… Это, в глазах еще многих, аттестат неотразимости…

Вера Александровна вытерла слезы и прерывающимся от озлобления и горя шепотом продолжала:

— О, что за развращенная и злая эта девушка, погубившая Борю!.. Тот боготворил ее, а она… Она каждый день ходила к нему, чтобы отдаваться, как животное… Получила свое и ушла… Ей становилось скучно… и она не скрывала этого… Вы понимаете, как все это действовало на брата?.. Какая гнусность!.. И в то утро, когда он, влюбленный, окончательно потерявший голову от ее ласк, потребовал решительного ответа, выйдет ли она за него замуж, она… расхохоталась… Она прямо сказала, что он для нее слишком глуп… Ее отношения к нему — одна физиология и больше ничего… Не нравится ему это… что ж?.. Она

больше не придет… Она найдет менее сентиментального любовника, который не будет ныть… А ведь вы знали Борю, Василий Николаевич? Знали его восторженность?

Ордынцев кивнул головой.

— Через полчаса после этого объяснения Боря решил покончить с собой… И что за ужас разочарования пережил он… Это говорят последние строки дневника…

Вера Александровна смолкла и взглянула на лицо покойника.

Бледно-желтое, исхудалое, с вытянувшимся заостренным носом и почерневшими сжатыми губами, оно было полно выражения величавого спокойствия и какой-то таинственно-неразрешимой думы и, казалось, строго смотрело на сестру и словно бы осуждало ее за эти беспощадные обвинения.

И Вера Александровна точно слышала его голос, который говорил: «Не место им здесь!»

И она зарыдала, чувствуя себя виноватой перед покойником, точно он в самом деле мог слышать то, что она говорила.

В эту минуту вошли певчие и плотной кучкой стали з стороне. Чей-то низкий бас откашливался.

Сестра милосердия, ходившая за батюшкой, вернулась и объяснила Леонтьеву, что батюшка сию минуту идет… Его задержали…

— Давно бы пора… Уж половина девятого! — раздраженно заметил Леонтьев и прибавил: — Сколько надо ему заплатить?.. Скажите, пожалуйста, сестра.

— Он ничего не возьмет. Он не сребролюбец…

— Однако?

— Он отслужит сегодня панихиду и извиняется, что завтра не может… Он устал… Завтра вы попросите другого священника… приходского… и на сопровождение на кладбище тоже… Вот и батюшка.

В дверях показался высокий худощавый старик с седой жиденькой бородкой, в фиолетовой рясе, в сопровождении толстого, лысого пожилого дьячка и, не глядя ни на кого, подошел к аналою.

Наклонив слегка голову в сторону, где стояла Вера Александровна, просившая его служить панихиду, и небольшая кучка ее знакомых, он взглянул своими спокойными и благосклонными старческими глазами на присутствующих, словно бы этим взглядом хотел определить общественное их положение и степень религиозной восприимчивости, не спеша облачился в траур-

ную ризу и тихим, приятным и значительным голосом начал панихиду.

Зажженные восковые свечи осветили маленькую часовню. Лицо покойника выделялось рельефнее среди цветов и казалось еще строже и вдумчивее.

Среди тишины, несколько минут спустя после начала панихиды, вошли Козельские — отец и Тина.

Они встали недалеко от дверей, у стены, по эту сторону гроба. Агент тотчас же подал им свечи.

Многие из присутствующих обратили внимание на элегантно одетую в короткой меховой жакетке молодую девушку с закрасневшимся от мороза красивым личиком. Артиллеристы зашептались. Увидела ее и Леонтьева и, изумленная и негодующая, смотрела на Тину.

Высоко приподняв свою головку в барашковой шапочке, из-под которой выбивались золотистые кудерьки, Тина глядела на покойника, и ни одна черточка ее лица не обнаруживала волнения, точно этот, еще недавно ей очень близкий человек, погибший из-за нее, был обыкновенный знакомый, потеря которого не причиняет горя.

Но на душе ее было жутко, и что-то больное поднималось в ней при виде разлагающегося

трупа любовника, еще так недавно красивого, молодого, жизнерадостного, который осыпал ее страстными ласками.

И в то же время она не могла подавить чувство страха и брезгливости и скоро отвела свой взгляд.

— Какая наглость! Взгляни, Козельский здесь! — шепнула Вера Александровна мужу.

И Ордынцев увидал Козельского. Их взгляды встретились. И оба, сконфуженные, опустили глаза.

Тина заметила и негодующие взгляды супругов Леонтьевых, и недоумевающий, серьезный взгляд студента Скурагина, и еще выше подняла свою голову, и на лице ее появилось вызывающее, дерзкое выражение, точно бы дающее понять, что ей решительно все равно, что о ней думают все эти господа.

Она выше этих обвинений. Она не считает себя виноватой в смерти Горского.

Вольно же было ему стреляться? Разве она могла предполагать, что случится то, что случилось? Ведь она не раз говорила Горскому, что не выйдет за него замуж и что она отдается ему, пока он ей нравится, как красивый мужчина, не придавая этой связи какого-нибудь обязательства ни с его,

ни с ее стороны…

Она была правдива и откровенна с ним, и он знал ее взгляды, должен был понять характер ее отношений… Не гимназист же он?

Так рассуждала Тина еще сегодня утром, когда прочла в газете известие о смерти Бориса Александровича, и не чувствовала угрызений совести, успокоенная доводами ума, говорившего ее себялюбивой, эгоистической натуре, что она не виновата в том, что Горский оказался таким малодушным человеком.

И Тина без колебаний согласилась, когда отец, крайне недовольный печальной развязкой, предложил дочери ехать на панихиду вместе с ним.

— По крайней мере меньше будут трепать твое имя! — строго сказал он Тине.

Он сердился на дочь, не столько возмущенный ее взглядами и поведением, о котором он догадывался уже из того, что она «бегала» к Горскому, сколько ее отношением к нему, дерзким и вызывающим, и боязнью, что имя его дочери будут «трепать».

— Мне это все равно! Вероятно, и твое имя треплют, рассказывая о твоих похождениях, и ты, как умный человек, не обращаешь на это внимания, — ответила Тина.

— Мое имя не могут трепать! И тебе нет до моих похождений никакого дела! — крикнул вспыливший Козельский, припомнивший, как вчера за обедом Тина нарочно допрашивала о ночных заседаниях.

— Такое же, как и тебе…

— Я отец твой!..

— А я твоя дочь! — насмешливо сказала она и вышла из кабинета, оставив отца в бессильном гневе.

И без того он был не в духе благодаря вчерашней встрече с Ордынцевым.

Тайна его связи с Анной Павловной и тайна его убежища открыты. Придется устроить «гнездо» в новом месте и взвалить себе на шею новые расходы, если Ордынцев окажется таким неджентльменом, что уменьшит или даже вовсе не будет давать Анне Павловне денег на содержание ее и детей. Не менее беспокоила Козельского и мысль о том, что «святая женщина» может узнать об этой связи, если Ордынцев станет рассказывать о том, что видел. Он жалел жену и не хотел доставлять ей лишнего горя. Ради этого он и старался по возможности тщательно скрывать от нее свои авантюры.

А тут еще эта дерзкая Тина! Нечего сказать,

хороша дочь! Скорей бы выходила она замуж! — снова пожелал Николай Иванович, решительно не понимавший, отчего это она чурается брака, когда замужем ей несравненно удобнее выбрать любовника, который не станет стреляться... Гобзин был бы покладистым мужем. И от такого мужа, и притом наследника миллионов, она отказывается! А теперь, если эта история самоубийства разнесется в городе благодаря репортерам, Гобзин, пожалуй, во второй раз уже не сделает предложения.

Встреча с Ордынцевым на панихиде тоже не содействовала хорошему настроению Николая Ивановича.

«Положим, Ордынцев разошелся с женой, — рассуждал Козельский, внимательно и серьезно слушавший молитвы и по временам крестясь, когда другие крестились, — и, следовательно, не имеет ни малейшего права требовать от своей жены супружеской верности и быть в претензии на ее любовника, а все-таки лучше было бы с ним не встречаться или по крайней мере не так скоро после вчерашнего...»

И Козельский бранил в душе и себя за то, что явился на панихиду, и Тину за то, что она смела говорить об его похождениях, не выходит замуж

за Гобзина и ведет себя совсем неприлично, и покойника за то, что он стрелялся и лежит на столе, давая случай репортерам сплести историю, в которой будет красоваться en toutes lettres[18] имя его дочери.

И все это: и встреча с Ордынцевым, и Тина, и покойник, и репортеры как-то соединялись в его голове в одно общее представление об его расстроенных делах и о необходимости их поправить как можно скорей.

Пока Никодимцев вряд ли может сделать для него многое — разве только дать приличное место. Рассчитывать же при его содействии провести какое-нибудь сомнительное предприятие рискованно. Вот если бы другим зятем был Гобзин…

Раздалось полное тоски заунывное пение: «Со святыми упокой!» Многие опустились на колени. Опустился и Николай Иванович. Тина стояла.

Многие плакали. Девушка, принесшая маленький букет, безутешно рыдала, напрасно стараясь сдержать свои рыдания, и, стоя на коленях, припала головой к полу.

Тина обратила внимание на эту маленькую фи-

---

[18] Примечания: 18
Открыто (франц.).

гурку девушки, коленопреклоненной в нескольких шагах от себя, и когда девушка поднялась и Тина увидала ее полное скорби, заплаканное, хорошенькое, хотя и вульгарное лицо, ревнивое чувство внезапно охватило Тину.

И она не без презрительного любопытства оглядела с ног до головы девушку и нашла, что у нее топорное лицо и что она скверно сложена.

«Хорош был, нечего сказать! Я и в то же время эта… какая-то горничная или швея!» — с брезгливостью подумала Тина.

Поклонница физиологии, она, разумеется, не сомневалась, что «эта» была так же близка с Горским, как и она.

«Все эти влюбленные порядочные-таки свиньи!» — решила Тина, возмущенная и оскорбленная тем, что Горский, уверявший в какой-то особенной любви, обманывал ее. И она питала теперь злобное чувство к своему бывшему любовнику.

Как только что певчие начали «Вечную память!», Козельский решил уехать, чтоб не пришлось столкнуться с Ордынцевым и раскланиваться с ним.

— Едем! — шепнул он Тине.

Они вышли на двор больницы, где их ожидала

карета.

Оба всю дорогу молчали. Козельский был поражен спокойствием дочери во время панихиды. Хоть бы одна слезинка! А ведь бедный Горский любил ее! И она кокетничала с ним, отличала его между другими поклонниками и держала при себе для флирта.

«Бессердечная!» — подумал отец и, возмущенный, негодовал, что теперь «дети» не похожи на «отцов» и совсем не умеют любить.

Они вернулись домой к чаю и застали Никодимцева. Он с утра был у невесты и обедал у Козельских, так как Ордынцев известил, что обедать у приятеля не может.

Когда Тина присела к столу, и мать и сестра не хотели расспрашивать ее о панихиде, чтоб не взволновать ее, и приписывали ее спокойный вид выдержке и присутствию Никодимцева.

Но после двух чашек чая она сама начала рассказывать и, между прочим, не без насмешливого подчеркивания рассказала о том, как «какая-то горничная или швея рыдала всю панихиду».

Никодимцева коробило от этого тона. Он решительно не мог определить этой странной девушки — таких он не встречал. И чем более он присматривался к ней, тем она становилась ему

несимпатичнее, хотя и была сестрой Инны.

— Немудрено, что о Борисе Александровиче так плакали. Его все любили. Он был такой славный, такой добрый, — заметила Антонина Сергеевна, чтоб смягчить рассказ дочери. — Он у нас часто бывал… Вы, верно, помните его, Григорий Александрович, у нас на вторниках?

— Как же, помню… Такое открытое, милое, жизнерадостное лицо. Ему жить бы да жить… От какой болезни он умер? — обратился Никодимцев к Антонине Сергеевне.

— А не знаю… Тина! От чего умер Борис Александрович?

— От собственной неосторожности! — поспешил ответить Козельский. — Разряжал пистолет, и пуля попала в легкое… Сделалось воспаление и… бедного молодого человека не стало. Ну, конечно, в газетах появится какая-нибудь романическая сплетня по поводу этой смерти! Нельзя же не воспользоваться случаем! — прибавил Козельский.

«Неужели отец не знает причины этого выстрела? Или он лжет для Григория Александровича?» — подумала Инна и решила рассказать ему всю правду, чтобы он не думал, что она от него скрывает что-нибудь.

И когда после чая они ушли в ее комнату, она объяснила Никодимцеву, что бедный Горский стрелялся из-за безнадежной любви к сестре.

Никодимцев был поражен.

— Тебя удивляет ее спокойствие? — спросила Инна.

— Да…

— Она очень сдержанная и… и не любила его…

— Однако, сколько я мог заметить, кокетничала с ним?

— К сожалению, ты прав…

— И даже очень?

Инна махнула утвердительно головой.

— Бедняга Горский! — проговорил Никодимцев и после паузы вдруг громко прибавил: — Я понимаю его!

Инна взглянула на Никодимцева с каким-то страхом.

— Ведь нет ничего ужаснее, как разочароваться в любимом человеке. Не правда ли, Инна?

— Да! — проронила молодая женщина.

— А Горский, верно, думал, что твоя сестра тоже любит его. По крайней мере мог думать?

— Мог! Сестра легкомысленно с ним поступала!

— Легкомысленно… это не то слово. Она посту-

пила — ты извини меня — безжалостно, вводя в заблуждение человека… А в молодости все впечатления острее, и Горский не перенес разочарования. Он, верно, сам был правдивый человек и верил в правдивость других… И ему показалось, что жить не стоит… не к чему. Конечно, этот выстрел был порывом отчаяния: если б у него были какие-нибудь серьезные интересы в жизни или если б он пережил первый момент, этого выстрела не было бы. Странная девушка твоя сестра, Инна. И какое у нее спокойствие! Как ты не похожа на нее! — порывисто вдруг прибавил Никодимцев.

Глава двадцать четвертая

Утром Никодимцев не застал дома графа, требовавшего его накануне по спешному делу. Швейцар доложил, что его сиятельство с ночным поездом уехал на охоту и вернется только к вечеру.

Пришлось ехать на следующее утро.

Патрон Никодимцева, граф Волховской, высокий сухощавый старик, с небольшой темной бородой и в темно-синей, хорошо сшитой паре, сидел за письменным столом в своем большом кабинете и длинным красным карандашом делал пометки на какой-то объемистой записке, когда представительный камердинер, с холеными черными бакенбардами и с крупной бирюзой на мизинце, бесшумно ступая мягкими башмаками, приблизился к столу и доложил:

— Тайный советник Никодимцев!

— Просите! — ответил граф.

И, отложив в сторону записку, он принял тот свой любезно-приветливый вид, которым умел очаровывать подчиненных и просителей.

— А где это вы нынче пропадаете, Григорий Александрович? — проговорил он шутливым то-

ном, чуть-чуть привставая с кресла и протягивая Никодимцеву красивую руку с твердыми, хорошо отточенными ногтями и щуря маленькие и острые серые глаза, глубоко засевшие в глазных впадинах под густыми, нависшими бровями. — Третьего дня я два раза за вами посылал, и вас целый день не было дома. Такой домосед и… — И граф, не докончив речи, любезно улыбнулся и, крепко пожавши Никодимцеву руку, указал на кресло и затем продолжал: — А я, Григорий Александрович, торопился сообщить вам приятную весть… Поэтому и посылал за вами… Вы, конечно, догадываетесь, в чем дело?

— Нет, граф.

— А я думал, что догадываетесь… Дело в том, что Прокудин получит другое назначение, и пост товарища министра будет вакантным месяца через два-три, как раз к тому времени, когда вы вернетесь, вероятно, из той не особенно приятной командировки, в которой я менее повинен, чем вы думаете. Я полагаю, вам она не очень нравится?

— Отчего же?.. Поручение очень почетное.

— Разумеется, почетное, но в то же время и очень ответственное, требующее большой осторожности в заключениях и выводах… Газеты

преувеличивают… У нас ведь любят представлять все в более мрачных красках и таким образом совершенно напрасно пугать общество… Ну да вы ведь сами увидите на месте, так ли страшен черт, как его малюют, и, разумеется, ваши выводы будут вполне соответствовать действительному положению. Я не сомневаюсь в вашем уме и такте! — подчеркнул граф. — Однако мы уклонились… Я не о командировке хотел с вами говорить, Григорий Александрович, я хотел узнать: согласились ли бы вы занять пост товарища в другом министерстве?.. Я с своей стороны охотно окажу свое содействие и почти уверен, что вас назначат.

— Очень благодарен, граф, за ваше доброе содействие, но я предпочел бы остаться на своем месте.

— Вы отказываетесь, Григорий Александрович?

И маленькие глаза графа изумленно и в то же время словно бы недоверчиво взглянули на Никодимцева.

Сам честолюбец, любящий свою призрачную власть и ради нее готовый поступиться многим, человек, имеющий громадное состояние и, следовательно, не заинтересованный жалованьем,

он никак не мог понять, чтобы возможно было отказаться от блестящего положения.

— Отказываюсь.

— Решительно?

— Решительно.

— Странный вы человек, Григорий Александрович… Очень странный… А я, признаться, думал, что обрадую вас… Такой пост… и впереди возможность еще более высокого поста, на что вы при ваших выдающихся способностях, конечно, имели бы полное основание надеяться… И вы отказываетесь?.. Или вы думаете, что не уживетесь со своим министром?..

— Я этого не думаю…

— Работы вы не боитесь и умеете работать…

— Работа меня не пугает…

— Или служба в другом ведомстве вам не нравится?

— Все службы более или менее одинаковы…

— Так в таком случае, позвольте мне спросить, почему?

— Я не честолюбив, граф! — уклончиво ответил Никодимцев.

— Будто? И, пожалуй, венцом своей карьеры считаете тихое пристанище в сенате? — с сожалением проговорил старик.

— На большее я и не рассчитываю…

— А вас разве не манит сознание той государственной пользы, которую вы можете принести, принимая близкое участие в государственном управлении?

— Оттого и не манит, что я мало верю в возможность приносить эту пользу.

Старик почти испуганно посмотрел на Никодимцева.

— Так вот в чем дело? — протянул он. — В таком случае вы, конечно, правы, Григорий Александрович… Нельзя служить делу, которому не веришь…

«Ты-то веришь?» — подумал Никодимцев и сказал:

— И, главное, трудно, граф, утешать себя иллюзиями…

— Иногда это необходимо… поверьте старику! — значительно проговорил граф. — Ну, я вас больше не задерживаю… У вас ведь еще много хлопот с этой командировкой… Счастливого пути, дорогой Григорий Александрович, и дай бог, чтобы вам не пришлось долго засиживаться… Чем скорее вернетесь, тем я буду спокойнее за ваш департамент! — любезно прибавил граф.

И, казалось, еще с большею приветливостью

пожал Никодимцеву руку.

Глава двадцать пятая

Чтобы пробыть несколько лишних минут с Никодимцевым перед разлукой на неопределенное время, Инна Николаевна приехала на Николаевский вокзал за полчаса до отхода курьерского поезда.

В том новом настроении, в каком находилась Травинская, ее тоскливо тревожил отъезд единственного человека, который не только любил и понимал ее, но и верил прочности ее нравственного обновления, поддерживал в ней веру в себя и в возможность счастливого будущего их совместной жизни.

Она знала, что с отъездом Никодимцева ее ждет полное одиночество и назойливое напоминание о том, что она так хотела бы забыть и чего не забывали родные и знакомые ее, мужа и Козельских.

Об этом прошлом напоминали добрые приятельницы и родственницы, передававшие с видом негодования и участия о позорных слухах, ходивших о ней.

Эти слухи особенно усилились, распространяясь далеко за пределы того круга, в котором вращалась Инна Николаевна, с тех пор как стало

известным о том, что она разводится с мужем, чтобы сделать блестящую партию, выйдя замуж за Никодимцева.

Ей простили бы охотно дюжину любовников, но этого простить не могли и потому обливали ее грязью, разбавляя частицу правды клеветой. О ней распространяли легенду, как о порочной, циничной женщине, насчитывая ей столько любовников, сколько позволяла пылкость фантазии и степень зависти возмущенных клеветниц.

Нечего и говорить, что знавшие и не знавшие Травинскую, — и в особенности женщины, не отличавшиеся строгостью нравов, — изумлялись, что Никодимцев, тайный советник Никодимцев и директор департамента, а не то что какой-нибудь обыкновенный смертный, не заслуживший бы, разумеется, изумления, — женится на «такой женщине», когда мог бы оставаться ее любовником при таком покладливом господине, как Травинский.

В том, что Никодимцев любовник Травинской, никто, конечно, не сомневался, и об этом говорили громко, с таким легким сердцем, с каким говорят о погоде, и с такою уверенностью, точно каждый из говоривших присутствовал на тайных свиданиях.

Когда в министерстве узнали, что Никодимцев женится, то, собравши справки о невесте, решили, что директор департамента делает великую глупость, так как рискует своей блестящей карьерой. По крайней мере, когда один из коллег, недолюбливавший Никодимцева и умевший разнообразить свои доклады пикантными анекдотами, сообщил графу Волховскому о хорошенькой барыньке, на которой собирается жениться Григорий Александрович, и кстати рассказал о рыцарском поступке Никодимцева, чуть «не побившего двух молодых людей у Донона», то граф неодобрительно покачал головой и заметил, что директору департамента рискованно ввязываться в истории, а тем более жениться бог знает на ком да еще на разведенной жене.

Инна Николаевна знала, что главным источником позорных слухов был ее муж.

Озлобленный на жену, он еще более озлился, когда узнал об ее выходе замуж за Никодимцева, что продешевил, согласившись на развод за пятнадцать тысяч, и всячески поносил жену, всем называл имена ее поклонников и жаловался, что благодаря Никодимцеву ему приказали дать развод и отняли дочь. Но он им еще покажет себя!

Войдя на вокзал, Инна Николаевна искала Ни-

кодимцева у билетной кассы, не нашла его там и направилась в залу, где ожидают пассажиры.

Проходя мимо столовой, среди снующих взад и вперед пассажиров, провожавших и носильщиков, она вдруг увидала мужа. Слегка выпивший, он шел навстречу с Привольским, тем самым приятелем и сослуживцем, который был мимолетным увлечением Инны Николаевны после нескольких бокалов шампанского за ужином вдвоем и потом, выгнанный ею, рассказал мужу об этом ужине и, чтобы отплатить отвергнувшей его женщине, советовал ему не давать развода и не отдавать дочери.

При виде этих господ, напомнивших молодой женщине весь ужас недавней ее жизни и неразборчивость прежних знакомств, она торопливо отвернулась, испытывая чувство отвращения и гадливости к ним и невольное презрение к себе.

Но она успела заметить, с какою наглой усмешкой оба они оглядели ее с ног до головы, и до нее долетели грубо позорные слова, которыми они довольно громко обменялись по ее адресу, упомянув и Никодимцева.

Побледневшая, невольно склонив голову, словно бы под тяжестью позора, торопливо прошла она в залу и стала искать глазами Никодимцева

среди публики.

Никодимцева не было.

И вдруг ей пришла в голову мысль, что муж и его приятель пришли на вокзал не случайно, а с целью устроить скандал.

Сердце ее замерло от ужаса и, охваченная страхом за Никодимцева, она бросилась назад, чтобы встретить его у подъезда и предупредить.

Но в дверях она встретилась с ним и чуть не вскрикнула от радости.

— Что с тобой, Инна? Ты испугана? — тревожно спрашивал Никодимцев, пожимая невесте руку.

— Ничего, ничего…

— Но ты бледна, взволнованна?..

— Сейчас я имела неприятную встречу… Встретила мужа с его другом…

— Привольским?..

— Да! — проронила, краснея, Инна Николаевна. — Ты их не видал?

— Не видал. Надеюсь, они не осмелились подойти к тебе? — взволнованно спросил Никодимцев, чувствуя внезапный прилив злобы.

— Нет, нет! — поспешила успокоить его Инна, заметившая, как гневно блеснули его глаза. — Они догадались даже не поклониться мне.

— То-то! — произнес, успокаиваясь, Никодим-

цев.

— Пойдем, сядем туда, подальше…

Они присели на диванчик в глубине залы.

— Ты меня долго ждала?

— Я только что приехала…

Они торопились наговориться. Каждому из них казалось, что надо не забыть сказать что-то особенно важное и значительное в эти полчаса.

Слушая, как Никодимцев сообщал ей утешительные вести о ходе развода, — адвокат, которого вчера вечером видел Григорий Александрович, сказал, что через два месяца все будет кончено, — Инна Николаевна, все еще полная тревоги от встречи с мужем, по временам кидала беспокойные взгляды на двери.

И в этом страхе она чувствовала и унизительность своего положения, и тяжкую расплату за прошлое, и виноватость перед Никодимцевым, который из-за нее может иметь неприятную историю с этими господами, которые и ей и Григорию Александровичу были омерзительны и сами по себе и, главное, как напоминание…

— А ты будешь писать мне часто, не правда ли?.. — возбужденно и порывисто спросила Инна Николаевна.

— Каждый день… И ты пиши… хоть несколько

строк… Ты что это все взглядываешь на двери, Инна? Опять боишься встречи?..

— Не боюсь, а неприятно! — проговорила Инна Николаевна, скрывая истинную причину своего страха.

— Надеюсь, ты не ждешь какой-нибудь выходки с их стороны?

— Разумеется…

— Они не осмелятся… И ведь я с тобой… Так не волнуйся, родная! — нежно успокаивал невесту Никодимцев.

Но тревога Инны Николаевны сообщилась и ему, отравляя эти немногие минуты прощального свидания, И, несмотря на внешний спокойный вид Никодимцева, он был нервно возбужден и сам стал взглядывать на двери.

— Отсюда ты уедешь с Николаем Ивановичем… Он обещал приехать… Он ведь приедет?..

В голосе его звучало беспокойство.

Инна Николаевна поняла, что он тревожится за нее, как она за него.

— Папа будет.

— Наверное?

— Он сказал, непременно будет!

Двери на перрон открылись, и публика торопливо двинулась, по обыкновению, спеша и

толкаясь.

У Никодимцева было место в спальном вагоне. Он не торопился и продолжал разговаривать с Инной в опустевшей зале. Он снова повторял, чтобы Инна писала, берегла свое здоровье, снова говорил о том, как она ему дорога и как без нее ему будет сиротливо, и словно бы дополнял все эти слова взглядом, полным нежности и любви.

— А главное, не хандри, Инна. Не терзай себя напрасно…

— Скорей возвращайся, милый…

— Это не от меня зависит… Богу — богови, кесарю — кесареви… Однако пора и идти… Пожалуй, Николай Иванович нас у вагонов ищет…

Он поднялся, подал ей руку, и они вышли на перрон, направляясь к спальному вагону. Идя с Никодимцевым под руку, Инна испытывала приятное горделивое чувство уверенности, что у нее есть близкий друг и защитник, и в то же время беспокойно вглядывалась в публику, боясь новой встречи с мужем и его приятелем.

Какой-то военный генерал и какой-то статский поклонились Никодимцеву, с жадным любопытством оглядывая его даму. Инна Николаевна заметила эти взгляды, поняла их значение и вспомнила, что про нее говорят. Ей это было все

равно, но ему, любимому человеку?..

Она взглянула на лицо Никодимцева и просветлела — такое оно было счастливо-горделивое, точно оно говорило: «Смотрите, как я счастлив, что иду со своей невестой!»

Носильщик встретил Никодимцева у вагона и сказал, что вещи положены и что в купе едет только один пассажир. Подошел и Егор Иванович и, почтительно снимая фуражку, доложил, что багажная квитанция у него, и спросил, не будет ли каких приказаний. А сам искоса поглядывал на будущую барыню, которую уже заранее невзлюбил. Он находил, что разведенная жена не пара Григорию Александровичу; кроме того, и до него дошла худая молва об Инне Николаевне.

— Вот, Инна, тот самый Егор Иваныч, про которого я говорил! — сказал Никодимцев.

Егор Иванович снова снял фуражку и поклонился Инне Николаевне, принимая самый официальный вид и как-то смешно поджимая губы и вытаращивая глаза.

Но Инна Николаевна с такою чарующей ласковостью улыбнулась ему, сказав несколько приветливых слов, что Егор Иванович отошел, если и не окончательно побежденный, то во всяком случае менее враждебно настроенный

и вынужденный признать, что невеста очень «прельстительная» и немудрено, что Григорий Александрович «втемяшился» в такую до умопомрачения.

«Она его облестит в лучшем виде!» — решил Егор Иванович и почему-то успокоился за положение свое и жены при Никодимцеве.

— Ну что, Инна, нравится тебе Егор Иванович?

— Очень…

— Он славный… И я рад, что он тебе понравился… Значит, он останется у нас…

— А он думал, что я захочу заводить новые порядки у тебя?

— Кажется…

— И Егор Иваныч, верно, недоволен твоим выбором? — улыбаясь, спросила Инна.

— Теперь будет доволен.

Он вошел в вагон и, вернувшись, проговорил:

— Никогда я не уезжал из Петербурга таким счастливым, Инна…

Пробил второй звонок.

— А что же Николай Иванович? — беспокойно спросил Никодимцев, втайне тревожась, что Инна Николаевна может снова встретить и они, чего доброго, позволят себе неприличную выходку. — Обещал быть, а его нет! — прибавил он с

раздражительной ноткой в голосе.

— Да ты не волнуйся, милый!.. Со мной ничего не случится… Я не из трусливых! — сказала Инна, понимая, отчего Никодимцев вдруг так захотел видеть отца. — А вот и папа!

— Еще не опоздал… Простите, дорогой Григорий Александрович, что поздно… Задержали… Неприятный деловой разговор в правлении… Мне так надоела эта клоака… С каким удовольствием ушел бы я из нее, если б не пять тысяч! — говорил Козельский, запыхавшись и взволнованный, с каким-то испуганным выражением в глазах и далеко не спокойно-великолепный, каким бывал всегда.

Инна сразу догадалась, что с отцом случилась серьезная неприятность.

«Верно, срочный долг и нет денег!» — подумала она и втайне боялась, что отец обратится за ними к Никодимцеву.

А Козельский, пожимая руку будущему своему зятю и задерживая ее в своей руке, между тем продолжал возбужденным гоном:

— Если б вы знали, родной, что делается в наших правлениях… Порядочному человеку там служить нельзя. Сейчас про него выдумают какую-нибудь пакость… Мне жаль, что я до вашего

отъезда не поговорил с вами… Но я вам напишу… Позволите?.. И дадите добрый совет?

— Очень буду рад… Очень рад чем-нибудь услужить вам, Николай Иванович!

«Ведь ты отец Инны!» — казалось, досказывало его лицо.

— Спасибо… спасибо, дорогой! — с какой-то особенной горячностью проговорил Козельский, словно бы торопясь заранее обязать Никодимцева своей задушевной благодарностью. — И возвращайтесь скорее, а то моя Инночка стоскуется! — прибавил Козельский, нежно взглядывая на дочь.

Инна невольно покраснела за отца.

— Однако пора и в вагон… Сейчас третий звонок! — проговорил Никодимцев.

И он несколько раз поцеловал руку Инны, с которой она сдернула перчатку, облобызался с Козельским, уже оправившимся от волнения и принявшим серьезный и в меру опечаленный вид, какой полагается иметь на проводах, взошел на площадку и глядел на невесту восторженно-проникновенным взглядом.

И Инна не спускала взгляда с Никодимцева.

— Так я завтра же напишу вам, Григорий Александрович. Вы в Москве не остановитесь?

— Нет. Пишите в Приволжье. А потом я сообщу Инне, куда писать… Мой привет Антонине Сергеевне и Татьяне Николаевне!..

— Спасибо… Они жалеют, что не могли проводить вас. Жена нездорова, а Тина хандрит…

Раздался третий звонок. Обер-кондуктор свистнул, и с паровоза разнесся ревущий свист.

Никодимцев простился еще раз с Инной долгим, серьезным и грустным взглядом, поклонился Козельскому и взволнованно проговорил:

— Берегите Инну!

Поезд тронулся.

Никодимцев еще раз поклонился, взглядывая на Инну, и вошел в вагон.

— Чудный человек Григорий Александрович! Какая ты счастливица, Инна, что у тебя будет такой муж. И как он тебя любит! — проговорил вдруг Козельский.

Инна Николаевна ничего не ответила.

Прошли последние вагоны. Козельский подал дочери руку, и они направились к выходу среди толпы провожатых. Козельский несколько раз приподнимал цилиндр, кланяясь и отдавая поклоны знакомым.

— Едем вместе, Инна. У меня карета. Я тебя завезу домой! — сказал он, когда они вышли на

подъезд.

Глава двадцать шестая

Несколько минут отец и дочь ехали молча.

— Инночка!.. У меня к тебе большая просьба! — проговорил наконец Козельский ласковым, почти заискивающим тоном.

— Какая, папа?

— Выручи меня… Попроси Григория Александровича… Я понимаю, тебе неловко, но…

— О чем просить? — нетерпеливо и сухо спросила Инна.

— Чтобы он не отказал помочь мне выпутаться из очень неприятной истории в правлении… Чтобы он дал мне в долг пять-шесть тысяч и чтобы устроил мне место… Из правления я ухожу… Я сам напишу Григорию Александровичу, но напиши и ты… Поддержи мою просьбу, Инночка… Он для тебя все сделает…

— Но, папа… Ужели ты не понимаешь, что ставишь меня в невозможное положение? Ты не сердись, но я не могу исполнить твоей просьбы и умоляю тебя не просить у Григория Александровича денег. И то он заплатил пятнадцать тысяч за развод… Извернись как-нибудь!

— Ты не хочешь выручить отца?! — проговорил

с упреком Козельский.

«Отец! Хорош отец!» — подумала Инна и вспомнила, как он занимал деньги у одного из ее поклонников.

— Я не могу просить Григория Александровича! — отвечала Инна Николаевна.

— Не можешь?.. Но понимаешь ли ты, что я нахожусь в отчаянном положении… Ты говоришь: «извернуться…» Я изворачивался, пока мог, а теперь…

И Козельский стал рассказывать о том, что ему необходимо возвратить пять тысяч, взятые им в долг у еврея-подрядчика, иначе — скандал… Его репутация будет замарана. Дело может дойти до суда… Враги его в правлении воспользуются случаем… А Никодимцеву ничего не стоит достать пять тысяч…

— Но я знаю, у него денег нет…

— Пусть выдаст вексель… Под его вексель я достану денег… Инна! Умоляю тебя… Другого выхода нет… Пожалуй хоть маму, если не жалеешь меня…

— Хорошо… Я напишу Григорию Александровичу!

— Завтра напиши…

— Завтра напишу! — холодно проговорила

Инна Николаевна.

Козельский облегченно вздохнул.

— Спасибо, спасибо тебе, Инночка… Ты спасаешь меня…

Инна молчала. Отец понял, что дочь спасает его без особенного участия к нему, и про себя подумал о бессердечии детей, для которых он всегда делал все, что мог.

«И эта и Тина, обе они эгоистки!» — решил он и почувствовал себя обиженным.

Когда карета остановилась у подъезда, Козельский сказал дочери, что ему надо еще заехать по одному делу, но он скоро вернется.

— Так и скажи маме, пожалуйста! И ей о моих делах ни слова! — прибавил он и велел кучеру ехать на Васильевский остров.

Инна застала мать расстроенною, с красными от слез глазами.

— Мамочка! Что с тобой?

И, присаживаясь рядом с матерью на маленький красный диванчик, на котором Антонина Сергеевна много передумала о своих обидах оставленной жены, Инна целовала руки и лицо матери.

— Я уезжала на вокзал, и ты была молодцом, а вернулась, и ты… Что случилось? Что тебя рас-

строило, мамочка? — с тревожной нежностью в голосе спрашивала Инна.

— Ничего не случилось, Инночка… Так… взгрустнулось одной… Нервы зашалили… Не тревожься, моя милая, ласковая деточка! — говорила, стараясь улыбнуться, Антонина Сергеевна, тихо гладя своею красивой белой, с длинными пальцами, рукой закрасневшуюся на морозе щеку Инны.

Но улыбка Антонины Сергеевны вышла грустная и какая-то беспомощная.

«Уж не узнала ли мама о связи отца с Ордынцевой? Не нашла ли она какой-нибудь улики?» — подумала Инна, зная, что мать имела слабость в отсутствие отца посещать его кабинет и интересоваться разорванными письмами, брошенными в корзину.

Что мать могла встревожиться за нее или за сестру, Инне и не пришло в голову. Она знала, что никакие слухи, если б они случайно и дошли до матери, почти не выезжавшей из дому, не возбудили бы в ней сомнения — до того она была уверена в безупречности своих дочерей.

— А папа провожал Григория Александровича? — спросила Антонина Сергеевна.

— Да, мама… Григорий Александрович тебе

кланяется…

— Милый твой Григорий Александрович… Я уж полюбила его… А папа вернулся с тобой? — нетерпеливо спросила Козельская.

— Нет. Он поехал куда-то по делу и скоро вернется…

Антонина Сергеевна подавила вздох.

Инна Николаевна смотрела на это поблекшее, еще красивое лицо с большими глазами, полными выражения скорби, на эти рано поседевшие волосы под кружевным фаншоном[19], на эту худощавую, все еще стройную фигуру в черном платье, и ей стало бесконечно жаль мать.

Она, глядевшая почти старухой в сорок четыре года, казалась такой одинокой, сиротливой, наивно-беспомощной и далекой от жизни в своей маленькой комнате, которую она со своим обычным мастерством женщины, умеющей свивать и любить свое гнездо, сделала уютной, сиявшей необыкновенной чистотой и порядком и несколько похожей на келию монахини. Маленький киот, кровать и комод за низенькими ширмами, диван, два кресла, большой портрет мужа, когда он был молод и красив, несколько позднейших

---

[19] Примечания: 19
Косынка (от франц. la fanchon).

фотографий его же и портреты дочерей, висевших в рамках на стене красиво расположенной группой над маленьким письменным столиком, составляли убранство комнаты, в которой проводила большую часть времени Антонина Сергеевна, читая романы и терзаясь ревнивыми подозрениями.

И тот, которого она до сих пор любила с неостывшей еще страстью женщины, почти никогда не заглядывал к ней, не делился впечатлениями, не посвящал в свои дела и, ласково-предупредительный и внимательный в те немногие часы, когда они встречались в столовой, словно бы забывал, как много она ему дала и как мало от него получила.

Почти никогда не сидела с матерью и Тина. Она скучала в ее обществе и не знала, о чем с ней говорить. Ей смешна была ее «сентиментальная грусть», и в душе она осуждала мать и за ее ревность к отцу, и за то, что она, носясь со своей добродетелью и молчаливо страдая, совершенно напрасно отравляет себе жизнь.

«Будь мама умнее — она давно бы взяла от жизни все, что могла бы взять такая красивая женщина!» — нередко говорила младшая сестра.

Инна возмущалась этими словами. Она любила

и уважала мать, но сама редко навещала ее во время замужества. Приедет на полчаса днем или обедать, явится на журфикс — вот и все. А чтобы просидеть вечер вдвоем, поговорить — это было скучно и для Инны. И о чем поговорить с ней? Они были чужие друг другу, несмотря на взаимную любовь.

И, жалея теперь мать, Инна невольно спрашивала себя: отчего это такая хорошая и честная женщина, которую называли святой, так одинока со своей постоянной печалью отверженной жены? Отчего она не умела устроить семьи. Разве их семья похожа на настоящую семью? Отчего она, любившая ее и сестру, не сумела влиять на них хоть сколько-нибудь и словно бы проглядела их души, обманываясь на их счет не то от чрезмерной любви, не то от наивного непонимания?

И на эти вопросы, впервые затронувшие Инну, против желания подкрадывались ответы, обвиняющие не одного отца, вносившего ложь в семью.

И Инне казалось, что мать слишком отдавалась своим чувствам любви и ревности и из-за них закрывала глаза на все остальное, живя в совершенном неведении жизни — в каком-то сентиментальном мираже, бесхарактерная,

непрактичная, не сумевшая даже, несмотря на всю свою любовь к дочерям, внушить им понятие о долге и отвращение к распущенности.

«О, если б мама остановила тогда от этого легкомысленного брака, разве у меня было бы такое ужасное прошлое?.. О, если б мама знала, какие у нее, святой женщины, грешные дочери?!» — думала Инна, чувствуя в то же время и любовь и жалость к матери и понимая, что между ними нет той близости, которая позволила бы ей обнажить свою душу, как она обнажила ее перед Никодимцевым. Тот понял и простил. Она пришла бы в ужас и простила бы, не понимая, что в этом ужасе виновата главным образом она.

И не будет ли виновата и она, Инна, перед своей дочерью за свое прошлое? Сумеет ли она вызвать доверие к ней? Что, если она узнает, когда вырастет, какова была ее мать?!

При этой мысли Инна Николаевна вздрогнула, точно ей вдруг сделалось холодно.

— Что, Инночка, зазябла, бедная? — спросила Антонина Сергеевна.

— Да, мамочка, немного…

— Ты велела бы самовар поставить… Напилась бы чаю…

— Не хочу, мамочка… Я и так согреюсь.

Несколько минут они просидели молча, каждая занятая своими мыслями, поверить которые они не решались друг другу.

Антонина Сергеевна гордилась тем, что несет свой крест молча. Она никогда не жаловалась никому на мужа и, разумеется, не жаловалась дочерям, не желая ронять его родительского престижа в глазах дочерей, и наивно думала, что они ничего не знают об его похождениях и не догадываются, как она несчастна.

«И не должны знать!» — подумала Антонина Сергеевна, чувствуя в эту минуту желание излить перед Инной свое горе.

— Да, Инночка, я рада, что ты выходишь за человека, который значительно старше тебя! — проговорила наконец Антонина Сергеевна.

— Почему?

— Потому что он тебя будет дольше любить… Ты не состаришься ранее мужа… А мужья не любят состарившихся жен, Инночка, и часто ищут новых привязанностей на стороне… Впрочем, Григорий Александрович, кажется, не такой… Он человек долга и, наверное, никогда не станет обманывать тебя…

— Я в этом уверена, мамочка… Он не скроет, если разлюбит меня… Да этого и скрыть нельзя…

Я сама увижу…

— И что тогда?

— Я оставила бы его! — решительно проговорила Инна.

— Но если ты будешь любить его?..

— Тем скорее я отошла бы от него…

— Это не так легко, как тебе кажется, Инна… Не так легко… особенно если дети связывают… Надо ради детей нести крест свой, как он ни тяжел…

Инна Николаевна не возражала, чтоб не огорчить мать, высказавши ей, что эти обычные ссылки на детей кажутся и лицемерными и вовсе не защищающими детей от ужасного влияния семейного разлада. Она по себе и по Тине знала это и была бесконечно рада, что дочь ее еще слишком мала, чтобы на ней отразились те дикие сцены, которые бывали у ней с мужем.

«Что было бы с Леночкой, если б она оставалась жить с Травинским!» — в ужасе подумала Инна, и радостное чувство охватило ее вслед за испугом при мысли, что этого не будет и что ее ждет иная жизнь с Никодимцевым.

И он ей казался еще более дорогим и близким. И она думала в эту минуту, что никогда не разлюбит его, и мысленно давала себе клятву сделать его счастливым.

— Расходиться, Инна, еще возможно, — продолжала Антонина Сергеевна, — в молодые годы, когда впереди целая жизнь, но под старость… К чему?.. Зачем? — говорила Антонина Сергеевна, словно бы оправдываясь перед дочерью. — Надо, чтобы слишком много унижений выпало на долю, да и тогда…

Антонина Сергеевна примолкла и затем неожиданно спросила с оживленно-раздражительной ноткой в голосе:

— А ты слышала, что Ордынцевы на старости лет разошлись?..

— Слышала…

— Я только на днях об этом узнала случайно… Эта особа вчера мне ничего об этом не говорила! — прибавила Антонина Сергеевна.

Инна знала, что мать называет «особами» тех женщин, которые нравятся отцу, и поняла причину расстройства матери. Еще вчера Ордынцева, приезжавшая с визитом, была Анной Павловной и даже милой Анной Павловной, а сегодня она уже особа… Значит, отец попался.

— Верно, бедному Ордынцеву очень тяжело было жить, если он уехал от семьи… Хороша, значит, эта… женщина… И ведь воображает, что красавица… Подмазывается, красится и…

кокетничает на старости лет… Ведь ей за сорок!.. Наверное за сорок!..

— Пожалуй…

— Не пожалуй, а наверное! — заговорила Антонина Сергеевна более энергичным тоном, как только дело пошло о найденной любовнице мужа, которая так долго была ей неизвестна, и эта неизвестность так беспокоила. — Она скрывает свои годы… Эта взбалмошная, глупая Ольга, с которой Тина почему-то дружит, как-то проговорилась, что ее неприличной маменьке сорок пять лет. Да оно так и должно быть… Ольге двадцать четыре…

Инна Николаевна про себя усмехнулась, слушая, как мать, обыкновенно правдивая даже в мелочах, под влиянием ревности безбожно прибавляла года не только Ордынцевой, но и ее дочери. И, предоставляя матери прибавить сколько угодно лишних лет Анне Павловне, Инна все-таки заступилась за Ольгу и сказала:

— Ей, мамочка, меньше… Право, меньше!

— Ты вечно споришь! — с неудовольствием произнесла Антонина Сергеевна, хотя Инна очень редко с ней спорила. — Ольга моложе Тины на один год… Я это знаю! — прибавила Козельская в виде неотразимого женского аргумента.

И с большим оживлением и в лице и в голосе и с большим злорадством, чем можно было предполагать в святой женщине, она продолжала:

— И эта размалеванная толстуха имеет претензию завлекать мужчин! Ты знаешь, Инна, я не имею привычки злословить. Но разве ты не заметила, какие откровенные вырезы у нее на платьях, когда она является к нам на эти дурацкие фиксы, — они положительно расстраивают и без того мое слабое здоровье! — и с каким бесстыдным кокетством она держит себя с мужчинами… Думает, что у нее античная шея и грудь Венеры!.. Ты разве не заметила, как показывает она свои прелести?

Инна, чтобы не огорчать мать, покривила душой и сказала, что Ордынцева действительно открывается более, чем бы следовало в ее же интересах.

— Именно… именно, Инночка… Ты это метко заметила… По одному тому, как она держит себя с мужчинами в обществе, можно судить, какая это распущенная женщина. Немудрено, что такой порядочный человек, как Ордынцев, не мог более терпеть и бежал от этой проблематической особы… Вероятно, узнал про ее авантюры… Я только удивляюсь вкусу ее поклонников… Ухаживать за

таким жирным куском мяса!..

В лице Антонины Сергеевны стояло презрительное выражение и к этому «куску мяса» и к его поклонникам, и в то же время в душе ей было завидно и больно.

Это Инна почувствовала, и ей стало обидно за мать.

— Впрочем, мужчины не особенно разборчивы и легко поддаются женщинам, которые бросаются им на шею… Нужды нет, что подобные твари вносят несчастие в чужие семьи! Бойся таких, Инна! — с озлоблением прибавила Антонина Сергеевна…

У Инны более не было сомнения в том, что мать узнала о связи отца с Ордынцевой.

Недаром же она, обыкновенно незлоречивая и снисходительная к людским слабостям, когда они не касались ее и семьи, с такою несдержанностью бранила Ордынцеву и удивлялась неразборчивости ее поклонников или, вернее, одного поклонника.

В этом отношении Антонина Сергеевна была последовательна и с неизменным постоянством ужасалась вкусу своего мужа, как только узнавала об его увлечении. И тогда женщина, обращавшая на себя особенное внимание Николая Иванови-

ча, в глазах Антонины Сергеевны представляла собой сочетание всевозможных физических и нравственных несовершенств. Она еще могла бы понять увлечение какой-нибудь действительно стоящей женщиной, но так как выбор Николая Ивановича, по мнению Антонины Сергеевны, был всегда неудачен и «особа» бывала или толста до безобразия, или худа, как скелет, и притом зла и коварна, то, разумеется, Антонина Сергеевна не понимала, как это Ника, такой тонкий ценитель красоты, мог увлечься подобной особой.

Нечего и говорить, что Антонина Сергеевна, как большинство влюбленных жен, считала виноватыми «особ», завлекавших ее мужа, а его — лишь бедной жертвой, не устоявшей против бесстыдного искушения. Не будь таких подлых особ, разрушающих семейное счастие, — и Ника не изолгался бы вконец и остался бы верным мужем.

Инна решительно не находила слов, которые могли бы утешить мать, и только удивлялась, как она до сих пор не привыкла к этим постоянным изменам отца. Кажется, пора бы привыкнуть!

— Ты приняла бы, мамочка, валерьяна… Хочешь?.. Это успокоит твои нервы! — предложила Инна, увидавши, что мать снова готова распла-

каться.

— Пожалуй, дай, Инночка… Капли на комоде…

Инна сходила за рюмкой и, приготовив лекарство, подала матери. Та выпила и, казалось, несколько успокоилась.

— А бог с ней, с этой Ордынцевой… Не стоит о ней говорить! — произнесла Антонина Сергеевна.

— Конечно, не стоит, мамочка!

— Но принимать ее я больше не буду… Она неприлична!

«О, если б мама знала, какова была я и какова сестра!» — подумала Инна и сказала:

— Но если Ордынцева приедет на фикс? Не выгонишь же ты ее?..

— Я ее так приму, что она больше не явится… Надеюсь, ни папа, ни ты, ни Тина не будете ничего иметь против этого?.. Можно мне не видать особ, которые мне противны?.. Имею я хоть это право?

— Да кто ж говорит, что не имеешь… Конечно, никто из нас не опечалится, если Ордынцевой не будет на фиксах… Разве один старый адмирал да юный инженер Развозов…

— Ты думаешь, никто больше?

— Кому же больше! — проговорила Инна, чтоб

успокоить мать и дать лишний шанс отцу, когда он будет лгать, если мать потребует объяснений.

Но доказательства, находившиеся в кармане у Антонины Сергеевны, в виде начатого письма Николая Ивановича к Ордынцевой, неосторожно брошенного в корзину, так очевидно свидетельствовали о вине мужа, что слова Инны не произвели впечатления на Козельскую и только вызвали горькую усмешку на ее губах…

«Хорошо, что хоть дети ничего не знают!» — подумала она, гордая мыслью, что несет свой крест молча, никому не жалуясь, и наивно уверенная, что брань, которою она только что осыпала Ордынцеву, не выдает ее ревности.

— Что ж ты не рассказываешь, Инна, о проводах Григория Александровича! — проговорила Козельская тоном упрека, точно не сама она все время говорила об Ордынцевой, по-видимому, не особенно интересуясь проводами Никодимцева. — Много было провожавших его.

— Кроме папы и меня, никого.

— Отчего никого?.. Разве у Григория Александровича нет добрых знакомых, которые хотели бы проводить его?.. И наконец он занимает такое место… Ближайшие его помощники должны были бы его провожать… Это уж так водится…

— Может, и водится, но Григорий Александрович нарочно никому не говорил о дне отъезда… Ему, верно, интересней было пробыть полчаса со мной, мама.

— Вот почему?.. Тогда это очень мило с его стороны, Инна… Очень мило! Он совсем рыцарь… Знакомых никого не видала?

— Травинского встретила…

— Леву?

— Да.

— Что ж, он очень убит?.. Что там ни говори про него, как подло он с тобой ни поступил, Инна, а все-таки он тебя любил…

— Хороша любовь! И он был не убит, мама, а пьян! — резко проговорила Инна Николаевна.

Ее раздражало и обижало это постоянное напоминание матери, что муж все-таки ее любил.

— Быть может, он стал пить с горя, что ты его бросила? Когда любят…

— Ах, мама… Совсем ты не знаешь людей! — перебила Инна.

И, чувствуя, что может наговорить матери неприятностей, она встала и, прощаясь с матерью, проговорила, стараясь сдержать свое раздражение:

— Не говори мне, мама, о Травинском… Не на-

поминай о глупости, которую я сделала, выйдя за него замуж… Если б ты… знала больше людей, ты остановила бы меня от этого брака… Прости!.. Я, конечно, не обвиняю тебя… Ты ведь думала, что он меня очень любил… И теперь думаешь, что он очень любит… А этот любящий человек…

Инна вовремя удержалась, чтоб не сказать матери, какими позорными словами назвал ее этот любящий человек, и, чувствуя прилив жалости к ней, стала целовать ее лицо и руки и мягко и нежно говорила:

— Ложись-ка лучше спать, мамочка, и вспомни, родная, что ты от жизни все-таки взяла, что могла, и была счастлива с папой… А я молодость… прошутила и только, теперь поняла, что любовь не шутка и жизнь не игрушка! — прибавила Инна.

И, улыбнувшись глазами, вышла из комнаты матери и прошла в свою.

Взглянув на сладко спавшую Леночку, Инна Николаевна надернула на ее обнаженные розовые плечики одеяло, тихо прикоснулась губами к ее закрасневшимся щечкам и, осторожно ступая по комнате, присела к туалету и стала раздеваться, думая о том, как ей тоскливо будет без Никодимцева и как она любит его.

— Можно к тебе на минуту? — спросила Тина,

чуть чуть приотворяя двери.

— Входи!

С распущенными золотистыми волосами, одетая в капот из тонкой белой шерсти с голубыми кордельерами[20], слегка перехватывающими ее тонкую талию, с открытой шеей и оголенными из-под широких рукавов белыми руками, на мизинцах которых блестели кольца, с крошечными красными туфельками на ногах, белевших сквозь ажурные шелковые чулки, вошла Тина, обворожительная и, видимо, сознающая свою обворожительность, внося с собой душистую струйку любимых ею духов — Cherry Blossom.

Инна обернулась и глядела на сестру, невольно любуясь ею, — такая она была интересная, вся сияющая белизной хорошенького, дерзко-самоуверенного лица, красиво посаженной, словно точеной шеи и изящных рук, свежая и благоухающая, струйная и гибкая, с карими холодными глазами рыжеватой блондинки.

«И в таком красивом теле такая испорченная душа!» — мелькнуло в голове Инны, и она невольно вспомнила самоубийство Горского и отношение к этому сестры после тех поцелуев,

---

[20] Примечания: 20

Пояс из шелковых шнурков (от франц. la cordeliere).

которыми она дарила влюбленного.

И старшая сестра в первый раз обратила внимание, что у Тины выдающийся чувственный рот и что алые, сочные губы слишком толсты, когда она их не подбирает.

— Ты что это так глядишь на меня? — спросила Тина, присаживаясь на кушетку.

— Любуюсь тобой. Ты очаровательна, Тина, в капоте.

— Кажется, недурна! — самодовольно усмехнулась Тина. — Наши родители передали нам только одно хорошее и действительно ценное — красоту. Ты гораздо красивее меня. У тебя и русалочные глаза, и красивее формы, и больше пластичности, и сложена ты лучше, и губы не такие толстые!.. Но ты запускаешь себя… Этого не следует. У женщин ведь физическое обаяние — главная сила! — с категоричностью прибавила Тина.

— Разве запускаю?

— Не тренируешь себя, как следует… Мало ходишь, ешь много мучного и сладкого, не берешь каждый день ванн, не обтираешься холодной водой… И оттого твое тело раньше потеряет свою упругость, ты растолстеешь, кожа потеряет свежесть, — одним словом, твой будущий супруг

будет огорчен! Зачем же огорчать его и себя, если можно этого избегнуть?.. Надо любить свое тело и заботиться о нем, особенно если оно красиво, чтобы в сорок лет не сделаться обойденной и не ныть, как ноет мама… Мама воображает, что истинная любовь должна сохраняться даже и к маринованным женщинам, и удивляется, что генерал занимается авантюрами… И он и Ордынцева представляют собою отличный образец тренировки… Оба умели сохранить себя… А генерал, видно, попался?.. На всякого мудреца довольно простоты! — прибавила, усмехнувшись, Тина.

— Откуда это у тебя такие сведения о тренировке? — спросила Инна.

— Странный вопрос! Кто ж этого не знает?.. Можешь прочесть… Об этом пишут книги… Я могу тебе дать одну французскую… Прочти и проникнись… Тебе ведь стоит беречь свой капитал! — проговорила Тина, оглядывая сестру с серьезным видом хорошей ценительницы, подобно барышнику, разглядывающему статьи лошади. — Сложена ты прелестно… Даже и бедра не очень раздались, несмотря на то, что ты имеешь ребенка…

— Да перестань, Тина… Ведь это цинизм! — за-

метила старшая сестра.

— С каких это пор ты стала такая брезгливая? — насмешливо спросила Тина.

— С тех пор, как ушла от мужа…

— И полюбила своего директора. Люби его на здоровье — хоть я и не поклонница этих сорокалетних юнцов. Но это тем более должно заставлять тебя не распускаться… Надеюсь, ты не думаешь, что мужчины довольствуются одной душой… Тогда все уродливые женщины были бы очень счастливы… Недаром их называют симпатичными… Однако я не для болтовни бросила интересную книгу Ницше и пришла к тебе… Присядь ко мне и выслушай, что я тебе скажу! — значительным и несколько беспокойным тоном проговорила молодая девушка.

Инна уловила эту беспокойную нотку в низковатом голосе Тины и, полураздетая, с распущенными длинными волосами, торопливо перешла от туалета на кушетку.

— Рассказывай, Тина, о чем ты пришла говорить? — с выражением тревоги в голосе и в лице спросила старшая сестра.

— Не делай только, пожалуйста, трагического лица… А то у тебя такой вид, будто ты ждешь, что я покаюсь тебе в каком-нибудь преступлении! —

проговорила Тина с коротким, сухим смехом.

— Я не умею так владеть собой, как ты.

— Это вы с папой насчет моего равнодушия к смерти Горского?.. Так это вы напрасно! Я не считаю себя виноватой перед ним… Я предупреждала его, чтоб он не рассчитывал на узы Гименея, а брал то, что ему дают. Другой был бы наверху блаженства от такой близости, а он вместо того…

— Он любил тебя… И неужели тебе его нисколько не жаль, Тина? — возмущенно перебила старшая сестра.

— Кто это тебе сказал, что не жаль?..

— Но ты так равнодушно отнеслась к его смерти…

— А разве обязательно ныть?.. Особенно сильного горя я не чувствовала, но все-таки мне жаль Горского… Он был хоть и глупый, но очень красивый и пылкий юноша! — прибавила Тина, словно бы щеголяя своей откровенностью.

— И только это, — Инна подчеркнула слово «это», — тебе в нем и нравилось?

— А что тебе в твоих любовниках нравилось? Душа, что ли? — с циничной усмешкой спросила молодая девушка. — Не люблю я этого лицемерия. Надо иметь доблесть смотреть правде в глаза!

Инну покоробило от слов сестры. И эти слу-

чайные, короткие связи без любви и даже без чувственного увлечения пронеслись в ее голове быстрыми отвратительными воспоминаниями.

«Она жестока, но имеет право так говорить», — мысленно сказала себе Инна.

— Не говори так громко… Леночка здесь!.. Ты права, я не смею задавать таких вопросов. Но поверь, что я не лицемерю. Теперь я не та, что была прежде… Не та, уверяю тебя, и проклинаю прошлое! — прошептала Инна.

— Надеясь на идиллию в будущем?

— Не знаю, будет ли идиллия… Но во всяком случае я буду жить иначе…

— Не буду спорить, но только скажу, что семейные идиллии так же редки, как правдивые люди… Попробуй жить праведницей, если твой темперамент позволит тебе быть ею с твоим серьезным директором, и я буду радоваться, глядя на тебя… А меня оставьте такою, какая я есть… А пока слушай, Инна… По всем признакам, со мной случилась очень скверная вещь…

— Что такое?

— Мне кажется, что я…

И она чуть слышно докончила фразу.

Старшая сестра с ужасом глядела на Тину.

— Ну, что тут ужасного?.. Неприятная, но обык-

новенная случайность, и больше ничего…

— Ты, значит, была так близка с Горским?

— Нет… Это от спиритического внушения!.. Что за привычка даже у неглупых людей делать глупые вопросы!..

— Прости, Тина… Я так поражена…

— Чем? Что у интеллигентной девицы может быть бебе?.. Они ведь полагаются только у замужних дам и у незамужних кухарок и горничных… Меня эта глупая мораль не смущает… Я, слава богу, ее не боюсь! — вызывающим тоном говорила чуть слышно Тина. — Меня только беспокоит неприятность этого положения, если оно подтвердится… Женщины так уродливы в это время, и, кроме того, у меня нет никакого желания быть матерью… Но люби кататься, люби и саночки возить!..

— Ты, надеюсь, не захочешь от этого избавиться? — испуганно спросила Инна.

— Успокойся… не захочу… Но не потому, что считаю это недозволенным, а просто потому, что это вредно для здоровья… Я уж читала об этом… И будь я одна, я не скрывала бы этой неприятности и оставила бы бебе при себе… Пусть говорят, что хотят… Мне наплевать! Но…

— Ты боишься огорчить маму?

— Да… Мама, чего доброго, совсем изведется от горя и от неожиданности… Она ведь и меня считает ангелом…

— Ты выйдешь замуж?

— Не за Гобзина ли?.. Или за одного из наших декадентов? Или за этих уродов, которые посещают наши журфиксы?.. Благодарю покорно. Я не собираюсь выходить замуж, хотя бы и за сказочного принца… Я не хочу лишать себя свободы и иметь сцен с супругом…

— Так что же ты думаешь делать, Тина?..

— Уехать за границу и там пробыть все это время…

— А ребенок?

— Отдам его на воспитание…

— Но средства?

— Что-нибудь придумаю… Во всяком случае, замужество будет последним ресурсом.

Тина говорила так уверенно, что сестра не сомневалась в том, что она действительно сумеет найти работу и справиться с ней.

— Но все это — впереди, а пока, если мое неприятное положение выяснится, надо месяца через два ехать за границу и приготовить к этому маму… Я скажу, что еду изучать что-нибудь. И ты помоги мне убедить ее, что одна я там не пропаду.

Поможешь?

— Хорошо.

— Отец, конечно, согласится и будет посылать мне рублей полтораста в месяц…

— Ты разве проживешь на эти деньги, Тина?

— Надо прожить. Отец и так крутится в долгах, А на экстренные расходы у меня есть вещи… Можно их продать…

— Я постараюсь тебе помочь… Григорий Александрович не откажет.

— Спасибо. Если понадобится — напишу.

— И приеду к тебе, когда нужно будет. А то как ты будешь одна?

— Этого я не боюсь. Но если приедешь, конечно, буду рада… И знаешь ли что?

— Что?

— Родственные чувства во мне не сильно развиты, но маму и тебя я люблю! — проговорила мягким, почти нежным тоном молодая девушка, почти никогда не выражавшая своих чувств.

Она поднялась с дивана и, прощаясь с Инной, спросила:

— Теперь ужас твой за меня прошел?

— Меньше стал.

— Вот видишь. А через несколько дней он и совсем пройдет… Ничего нет страшного на свете,

если ум хорошо работает.

— Но и тебя это должно тревожить, Тина, хоть ты и хочешь казаться спокойной.

— Тревожить? Пока — нет. Разве так страшно? Я сильная и здоровая. Но что это меня злит, что это мне отвратительно — не отрицаю. А всякая неприятность действует на нашу психику, и следовательно, и на наш организм. Поэтому умные люди, не обращающие внимание на нелепые предрассудки, и стараются избегать неприятностей, то есть жить такими впечатлениями, которые доставляли бы одни удовольствия. И если бы Горский не был такой неосторожный дурак… Ну, ты опять делаешь страшные глаза… Прощай лучше!..

И с этими словами Тина вышла от сестры и, присев к своему письменному столу, на котором были разбросаны исписанные листы почтовой бумаги, снова принялась за повесть, которую она писала, сохраняя свои литературные занятия втайне от всех.

В этой повести молодая девушка выводила героиню, похожую на себя.

Глава двадцать седьмая

Козельский вернулся домой, как обещал, рано — около часу и, вместо того чтобы скорее, по правилам своей тренировки, лечь спать, сел в кресло у письменного стола и, достав из бювара почтовый листок толстой английской бумаги, стал писать к Никодимцеву одно из тех убедительно-настойчивых писем, на которые он был мастер.

Окончив письмо, его превосходительство внимательно перечитал эти четкие, красивые, круглые строки, написанные в задушевно-родственном тоне, в которых он, рассказывая о неблаговидном ведении дел в правлении, возмущающем его настолько, что он, по всей вероятности, должен будет выйти из директоров, и о внезапном денежном затруднении, вследствие неожиданного требования долга на слово, — просил будущего своего дорогого зятя не обессудить, что обращается к нему с просьбой устроить по возвращении из командировки какое-нибудь подходящее место и помочь уплатить долг если не деньгами, то бланком на векселе, который через шесть месяцев будет выкуплен.

Письмо оканчивалось замечанием, что «род-

ство — родством, а деньги — деньгами», чтобы Никодимцев не подумал, что тесть его подведет.

«Выручит, должен выручить!» — подумал Козельский, окончив чтение своей эпистолы, и, облегченно вздыхая, вложил ее в конверт и написал адрес.

— Если мое письмо не подействует, письмо Инны заставит его исполнить мою просьбу! — успокаивал себя Козельский, ужасаясь при мысли, какая может выйти грязная история, если Никодимцев не выручит.

А история действительно была грязная благодаря тому, что один из членов правления, желавший быть распорядителем по хозяйственной части вместо Козельского, поднял в правлении целую историю по поводу недобросовестного подрядчика, и правление настаивало, чтобы контракт с ним был нарушен и залог удержан.

Результатом этого был визит к Козельскому господина Абрамсона, который очень деликатно напомнил его превосходительству о письменном обещании насчет возобновления контракта, а между тем…

Козельский густо покраснел.

— Я постараюсь уладить это дело! — проговорил он.

— Я просил бы вас… И если бы вы не могли устроить, то по крайней мере верните пять тысяч… так как сделка не состоялась… И попрошу вас вернуть скорей. В противном случае я буду вынужден представить ваше письмо, в котором вы обещали о возобновлении контракта…

— Но вы этого не сделаете! — испуганно воскликнул Козельский.

— Отчего не сделаю?.. Я должен это сделать и, осмелюсь вам доложить, поступлю по совести. Я совесть имею… Меня хотят ввести в убытки… Должен я их вернуть или нет?.. Имею я право получить обратно пять тысяч, если я не получил того, за что заплатил деньги? И вы думаете, я не знаю, отчего меня хотят прогнать?

— Оттого, что вы недобросовестно ведете дело.

— Пхе! Я веду не хуже других и во всякое время готов исправить недосмотры. Не из-за этого поднял шум ваш товарищ, господин член правления Оравин…

— Из-за чего же?

— Господин Оравин сказал мне: «Оттого, что вы, господин Абрамсон, еврей, а евреи нынче не в моде и их не любят в правлении… Мы хотим русских подрядчиков…» Вот что сказал господин Оравин. Но только, хоть евреи и не в моде, а я

думаю, ваше превосходительство, что господин Оравин очень умный человек, чтоб говорить, извините, такие глупости… А хотят они передать дело подрядчику Иванову, который предлагает за это господину Оравину десять тысяч… Оттого евреи и не в моде! — иронически усмехнулся господин Абрамсон.

Все, что мог сделать Козельский, — это уговорить Абрамсона подождать две недели.

Или подряд останется за ним, или он получит обратно пять тысяч.

Припоминая теперь этот разговор, бывший вчера утром, и скверное положение в правлении, в котором он очутился, не имея возможности защищать подрядчика против нападок Оравина, Козельский хорошо понимал, что весь вопрос был не в подряде, а в том, чтобы отстранить Козельского и дать Оравину, близкому приятелю председателя, возможность нагреть руки. И он, Козельский, первый раз вынужденный взять взятку, рискует теперь, что она будет обнаружена и его репутация порядочного человека подорвана из-за каких-нибудь несчастных пяти тысяч.

Таких маленьких взяток не прощают порядочным людям!

Возможность быть уличенным особенно угне-

тала и стыдила Козельского. Он во что бы то ни стало хотел остаться порядочным человеком во мнении людей, которые сами берут крупные комиссии, не прощая другим маленьких взяток.

Он и сам считал свой поступок нечестным и оправдывал его только тем, что деньги были нужны до зареза, что взял взятку первый раз, и тем, что имел доброе намерение возвратить ее когда-нибудь.

Ему не стыдно было браться проводить дела, несомненно причинявшие вред государству, не стыдно было брать комиссии за хлопоты по подобным делам и за устройство знакомств дельцов с нужными «человечками» из министерств или с «дамами сердца» бескорыстных сановников. Все это он считал одним из видов заработка, которым не гнушаются и лица высокого положения и который нисколько не компрометирует порядочного человека в общественном мнении.

Будь Козельский у финансов, он, разумеется, не обременил бы своей совести, если бы при посредстве какого-нибудь молчаливого фактотума[21] получал от банкиров комиссии при займах или играл наверняка на бирже при конверсиях

[21] Примечания: 21

Доверенного лица, выполняющего различные поручения (от лат. fac totum — делай все).

и выпусках бумаг, — это, по его понятиям, одинаковым с понятиями многочисленной группы людей, занимающихся делами, было бы лишь уменьем умного человека воспользоваться благоприятными обстоятельствами, — уменьем, которое, в сущности, никому не вредит.

Но растрата… взятка… это что-то уж вовсе непорядочное, возбуждавшее в Козельском такую же брезгливость, как грязное белье или господин, который ест рыбу с ножа.

«Разделаться поскорей с Абрамсоном и… сократить расходы!» — решил Козельский, одушевляемый всегда добрыми намерениями, когда ему приходилось плохо.

И он собирался было встать, чтобы скорее раздеться и лечь спать, не проделав даже перед сном обычных упражнений с гирями, как в двери раздался стук.

— Войдите! — проговорил Козельский и поморщился, догадываясь, кто это стучит, и в то же время недоумевая и несколько пугаясь этому позднему визиту и беспокойно оглядывая стол, нет ли на нем каких-нибудь компрометирующих документов.

Антонина Сергеевна вошла в комнату и остановилась у дверей печальная, строгая и серьезная,

как сама Немезида.

«Объяснение!» — подумал Козельский, соображая, как он мог попасться, и готовый лгать самым бессовестным образом, чтобы только успокоить «святую» женщину и не осложнять и без того скверного своего положения…

И, скрывая под напускным хладнокровием малодушную трусость блудливого кота и как будто не догадываясь, зачем в столь поздний час явилась в кабинет жена, Козельский, зевая, проговорил с обычной своей мягкой вкрадчивостью:

— Ты еще не спишь, Тоня?.. А я только что вернулся… Был на Васильевском острове у одного человечка… Есть один срочный долг, который меня беспокоит, и я ездил устроить это дело… Кажется, все уладится… Что ж ты стоишь?.. Присаживайся, Тоня. И как же я устал сегодня! И как мне нездоровится! Видно, годы дают себя знать! — унылым тоном, напуская на себя вид больного старика, прибавил Козельский.

Но, несмотря на усталость и недуги, его превосходительство глядел таким моложавым, таким представительным и элегантным, что жалобы его не только не вызвали участия в Антонине Сергеевне, но, напротив, сделали лицо ее еще непреклоннее, взгляд каким-то стальным и улыб-

ку на губах презрительнее.

Глядя на лицо Антонины Сергеевны, можно было бы подумать, что она ненавидит мужа и пришла с единственною целью: убить его своим презрением.

«Как могла она узнать?» — подумал Козельский, взглядывая на Антонину Сергеевну и тотчас же опуская свои бархатные, вдруг забегавшие глаза на руки с отточенными ногтями.

По суровому виду и трагическому безмолвию жены он понял, что дело серьезнее, чем он думал, что у нее есть какой-нибудь уличающий документ, — без документов она с некоторых пор не объяснялась, испытав, как супруг увертлив, — и подумал сперва, что ею перехвачена записка Ордынцевой. Но Ордынцева осторожна и писать не любит, а если пишет, то адресует в департамент. А письма ее он благоразумно сжигает.

И, теряясь в догадках, Козельский примолк, ожидая давно уж не бывшего нападения жены и благодаря этому уже считавший ее святою женщиною, безмолвно мирившейся со своим положением верного друга.

Прошла долгая минута молчания.

— Николай Иванович! — проговорила наконец мрачно-торжественным тоном Антонина

Сергеевна.

— Что, Тоня?

— Вы все еще будете устраивать мне сюрпризы? Пора перестать. Постыдились бы дочерей, если вам самому не стыдно. В пятьдесят лет и так позориться и позорить жену и детей…

— Какие сюрпризы? Какой позор? Я ничего не понимаю, Тоня…

— Не понимаете? — с презрительной усмешкой переспросила Антонина Сергеевна.

— Не понимаю, Тоня! — с необыкновенной мягкостью в голосе повторил Козельский.

— Не лгите по крайней мере… Я все теперь знаю… все.

— Что же ты знаешь? Объясни, пожалуйста.

— И хоть бы выбрали любовницу получше, а то… какой-то кусок сала… сорокапятилетнюю Ордынцеву!.. Поздравляю!.. Нечего сказать: эстетический вкус… Я не мешаю вам, я не буду стоять на дороге… Живите с кем хотите… Разоряйтесь, входите в долги из-за этой особы, но по крайней мере не обманывайте… Скажите прямо, что вам ненавистна семья… Не ставьте меня и дочерей в фальшивое положение… Мы уедем…

Знакомые все слова стояли в ушах Козельского, Только прибавилось более злобы и презрения…

Но прежде он умел прекращать подобные сцены и успокаивать Антонину Сергеевну даже самым отчаянным враньем, но сопровождаемым уверениями в любви и горячими поцелуями.

А теперь?

И Козельский взглянул на свою постаревшую, поблекшую и совсем худую жену и чувствовал, что не может успокоить ее.

Но все-таки проговорил, несколько раздражаясь от необходимости лгать:

— Успокойся, Тоня… С Ордынцевой я не живу и на нее не разоряюсь… И ты знаешь, что я делаю для семьи все, что возможно. В этом упрекнуть меня нельзя, я думаю…

— Не живешь?..

— И не думал! И она мне никогда не нравилась… С чего ты это взяла?

Антонина Сергеевна бросила на мужа уничтожающий взгляд, и хоть знала, что он лжет, но тем не менее ей было как будто легче, что он не сознаётся, несмотря на то, что она допытывалась сознания.

Но чтобы довести объяснение до конца и показать, что она все знает, Антонина Сергеевна достала из кармана два клочка почтовой бумаги и, бросая их на стол, проговорила:

— Прячьте ваши неотправленные любовные письма, а не роняйте их. Хорошо, что я подняла это произведение, а не одна из дочерей. Надеюсь, что ваша любовница не осмелится больше являться сюда, пока мы не уедем… После свадьбы Инны я уеду… Слышите?

И с этой угрозой об отъезде Антонина Сергеевна вышла из кабинета.

Лежа в постели, она еще поплакала и старалась уверить себя, что презирает и больше не любит этого развратника и обманщика. Но, засыпая, Антонина Сергеевна уже перенесла презрение свое главным образом на Ордынцеву, как на главную виновницу, и решила по-прежнему нести крест свой и никуда не уезжать, чтобы «этот человек» совсем не пропал в ее отсутствие.

* * *

Козельский не без любопытства прочел следующие строки начатой им записки:

«Приезжай, Нита, сегодня в пять часов. Подари меня свиданием не в очередь. Ты мне снилась, моя желанная Юнона, и мне хочется наяву видеть тебя в обаянии твоей роскошной красоты и расцеловать всю-всю, от макушки до твоих красивых душистых ног… Милая! Если б ты знала,

как сильна власть твоих ласк… Они делают меня молодым и заставляют забывать…»

«Однако!» — подумал Козельский, прочитав эти строки и чувствуя себя несколько глупым за эти «сентиментальности», как он мысленно назвал начало письма.

И он припомнил, что писал его неделю тому назад и, недовольный началом, разорвал и бросил в корзину, вместо того чтобы сжечь, как обыкновенно он это делал.

— Дурак! Осел! — с искренним одушевлением выругал себя вслух Козельский, разрывая на мелкие кусочки уличающий документ.

Он перешел в свою маленькую, рядом с кабинетом, спальню, торопливо и раздраженно разделся, лег в постель и затушил свечу с поспешностью виноватого человека, желающего скорее «забыться и уснуть».

И, потягиваясь и расправляя свое уставшее тело, он ощутил физическое наслаждение отдыха и уже спокойнее думал о том, что сегодня был для него воистину несчастный день, что следует жечь письма и что надо повиниться жене и сказать ей, что записка писана не к Ордынцевой, а к одной кокотке — кокоток жены легче прощают! — и что надо напомнить Инне, чтобы она написала

завтра же, о чем он ее просил, Никодимцеву.

«И вообще надо покончить все это!» — внезапно решил Козельский, подразумевая под «этим» и долги, и вечное лганье жене, и Абрамсона, и Ордынцеву и представляя себе, как хорошо и спокойно жить без этого мотания за деньгами и без авантюр… Довольно их… И то ноги плохо слушаются.

В самом деле, Ордынцева все более походит на тронутую грушу. И рыхла, и слишком подводит глаза, и становится однообразной… И денег стоит… Того и гляди, муж прекратит ей платежи, после встречи у дверей приюта, и тогда она со всем семейством очутится на его шее! — неблагодарно думал Козельский и, далекий теперь от желания видеть Ордынцеву «в обаянии ее роскошной красоты», повернулся на бок с решительным намерением завтра же вызвать ее обедать к Кюба на Каменный остров и сказать ей, что все открылось и что во имя спокойствия семьи следует принести в жертву любовь и не видаться больше…

«То ли дело Ольга!..» — пронеслась вдруг в голове Козельского ленивая, сонная и приятная мысль, и с нею он заснул.

Глава двадцать восьмая

Спутником Никодимцева в купе был старый господин, совсем седой, но крепкий, коренастый, с свежим, здоровым волосатым лицом и большой бородой, одетый в старенький пиджак и с перчатками на руках.

По обличью и костюму Никодимцев решил, что этот господин не петербуржец, а, вероятно, один из тех провинциалов, которые по зимам наезжают в Петербург хлопотать и наводить справки по разным делам и, рассчитывая пробыть неделю-другую, остаются месяцы и. наконец уезжают, не особенно довольные петербургскими чиновниками.

Когда Никодимцев вошел в вагон, старый господин взглянул на него с тем видом недоброжелательства, с каким обыкновенно оглядывают незнакомые люди друг друга, и плотнее уселся в свой угол и закрыл глаза, словно собираясь дремать.

Никодимцев снял шубу и фетровый котелок, одел мягкую темно-синюю дорожную фуражку и, находясь еще под впечатлением прощания с невестой, припоминал ее последние слова,

взгляды и жесты и внутренне сиял, как человек, уверенный в своем счастье, и мечтал о том, как устроится их жизнь.

Эти мысли навели его на другие — о будущем его служебном положении. Оно казалось ему теперь далеко не таким прочным, как прежде, ввиду его неожиданной командировки и после его разговора с графом Волховским. Граф, очевидно, не рассчитывал, суля место товарища, на отказ и, разумеется, будет недоволен, если донесения его не совпадут с мнением графа о том, что толки о голоде сильно преувеличены и что голода нет, а есть только недород.

Припоминая свой разговор с графом и с другими лицами, Никодимцев очень хорошо видел, что большинство из них равнодушно к тому, действительно ли голодают люди, или нет, и что вопрос об этом является важным вопросом лишь постольку, поскольку с ним связаны личные интересы. Для Никодимцева ясно было, что это бедствие являлось только одним из козырей в интригах, и те, кто признавали голод, и те, которые не признавали, одинаково мало думали о нем и решительно не представляли себе, что можно в самом деле оставаться без пищи, так как сами обильно и вкусно каждый день завтракали

и обедали.

И потому все лица, с которыми виделся перед отъездом Никодимцев, старались заранее продиктовать ему то, что он должен написать с места.

Одни говорили:

— Вы увидите, что все раздуто, и если есть недород, то в нем виноваты распущенность, пьянство и невежественность крестьян и полное нерадение земства.

Другие, напротив, подсказывали:

— Вы увидите, как велики размеры бедствия и какова местная администрация, которая не знает или нарочно скрывает положение.

Никодимцев все это выслушивал и отвечал, что он сообщит то, что увидит, и таким образом никого не удовлетворил.

«Вообще в Петербурге равнодушны», — раздумывал Никодимцев, припоминая разговоры, газетные статьи, балы и торжественные обеды, особенно многочисленные в ту зиму, припоминая описания разных фестивалей, бешеных трат по ресторанам и восторгов от приезжих актрис.

Да и сам он разве не был равнодушен, успокоившись на том, что пожертвовал сто рублей?.. Все хороши. Все спокойно ели и пили, все с большой

охотой давали деньги на подписки юбилярам, актрисам и отлынивали, когда просили на голодающих. Ни для кого не было это бедствием общественным, кровным делом и потому, что публика была равнодушна, приученная к равнодушию к общественным делам, и потому, что всякие попытки менее равнодушных людей проявить самостоятельную инициативу встречали противодействие.

И только молодежь, вроде Скурагина, чувствовала стыд и рвалась помочь и своими последними деньгами и своим трудом, и ехала на голод, сама голодая, как ехала на холеру, рискуя жизнью за деятельную любовь к обездоленному.

Но много ли таких?.. И что они могут сделать, кроме того, что отдать жизнь за то, что большинство общества похоже на стадо запуганных баранов, за то, что идеалы его так низменны, что ограничиваются лишь собственным благополучием?

Чем более думал об этом Никодимцев, тем бесплоднее казалась вся его прошлая жизнь, и он удивлялся: почему это раньше он серьезно не задумывался над вопросами, которые теперь его тревожат, а если и задумывался, то гнал их прочь.

«Некогда было. Чиновник убивал во мне человека. И если б не любовь к Инне, то я и до сих пор находился бы во сне и жил бы, как прежде, в мираже делового безделья, не зная отдыха, не понимая жизни, кроме служебной, и не имея целей, кроме честолюбивых…»

И давно ли быть товарищем и затем получить «портфель» — было для него высшим пределом мечтаний.

А теперь?..

— Вы до Москвы изволите ехать? — обратился вдруг к Никодимцеву спутник.

— Нет, дальше.

— Вы, конечно, петербуржец?

— Да! — ответил, улыбаясь, Никодимцев.

— Служите там?

— Служу.

— На казенной службе?

— На казенной.

Старый господин присел на край скамейки и, внезапно возбуждаясь, воскликнул:

— Вы извините, меня, милостивый государь, а у вас в Петербурге черт знает что делается! Это какая-то помойная яма! — прибавил старик.

Никодимцев не подал реплики.

Старый господин еще недружелюбнее взглянул

на него и, закурив папиросу, продолжал:

— Прежде хоть хапали, но по крайней мере не выматывали душу и не держали в неизвестности… Можно — можно. Нельзя — нельзя. И поезжай домой, солоно или несолоно хлебавши… А теперь?.. Все, видите ли, бескорыстные, если нельзя сорвать крупной комиссии, за справку ста рублей не берут, не так воспитаны… Все, видите ли, заняты чуть не по двенадцати часов в сутки и все любезно вас гоняют от одного Ивана Ивановича к другому, а ведь Иванов Ивановичей в каждом министерстве уймы, — из комиссии в комиссию. И это называется ускоренное делопроизводство!.. Не правда ли? У вас теперь новый тип изнывающего от усердия чиновника! Все они теперь с университетским образованием и могут написать что угодно в лучшем виде, и ученое исследование и каверзу в газетах против другого ведомства… только прикажи! У меня племянник в Петербурге этим занимается и надеется сделать карьеру. Прохвост, я вам доложу, основательный… Он и по сыскной части служил, и искусство любит, и литературу почитает, и называет себя истинно русским человеком, и теперь славословит под разными псевдонимами свое начальство в одном из ваших газетных притонов… Рассчи-

тывает получить место в пять тысяч! Недавно еще одна газета превозносила нынешних господ двадцатого числа[22]. Бескорыстные, трудолюбивые, знающие… одним словом, повесь в рамку и молись на них… А между тем в тот самый день, как напечатана была статья, одну вашу шишку турнули… Вы знаете, конечно, что и турнули-то потому только, что уж очень оказалось наглое прикрывательство! И знаете ли, что у этого шустрого мальчика около миллиона состояния?

— Слухи ходили! — ответил Никодимцев, заинтересованный этим словоохотливым, раздраженным стариком.

— Слухи?! Я не говорил бы, основываясь на слухах… Это у вас, в Петербурге, только и живут, что слухами… Этот «мальчик» купил недавно имение рядом с моим и заплатил чистоганчиком шестьсот пятьдесят тысяч… Надеюсь, не выиграл три раза подряд по двести тысяч и не скопил этих денег из жалованья!.. Да и за женой он не взял приданого. Я знаю ее. Она из наших мест. А ведь тоже считался бескорыстным и готовился сиять на административном небосклоне, и недаром был любимцем самого бескорыстного его вы-

[22] Примечания: 22

Государственных чиновников царской России, получавших жалованье двадцатого числа каждого месяца.

сокопревосходительства! Зато, вероятно, его и отпустили с миром… Болен, мол, от непосильных трудов. Получай из государственного казначейства четыре тысячи пенсии. Деньги к деньгам. Живи, бог с тобой, и занимайся промышленностью… Строй заводы… Открывай руды… А под суд ведь только попадают маленькие воришки и изредка какой-нибудь неопытный действительный статский советник для того, чтобы прокуроры могли время от времени бить себя в грудь и вопиять о том, что закон одинаково карает сильного и слабого, богатого и бедного… Слышал я на днях, как распинался у вас один прокурорчик, обрадованный, что на десерт к нему попался статский советник, растративший тысячу рублей казенных денег!.. Много цивизма обнаружил по поводу этого статского советника… А тайные, видно, у вас все ангелы добродетели! — все с большим раздражением кидал слова старый господин, по-видимому не заботившийся ни об их литературности, ни о логической связи и словно бы желавший в лице своего случайного спутника уязвить насоливших ему чиновников.

— Чем же вас так огорчил Петербург? — спросил Никодимцев.

— Мазурничеством под самой изысканной

и, разумеется, законной формой… Волокитой под предлогом всестороннего изучения выеденного яйца, а в сущности… Да вы, может быть, спать хотите, или вам не угодно слушать старого болтуна?.. Так вы, пожалуйста, не церемоньтесь! — неожиданно сказал старый господин, прерывая свои филиппики.

— Я пока спать не хочу. Рассказывайте, я слушаю, — проговорил Никодимцев.

Этот озлобленный старик казался ему порядочным человеком и возбуждал к себе симпатию. И, кроме того, Никодимцеву было интересно слышать, как ругают чиновников. Ему, в его положении директора департамента, приходилось только слышать и даже читать о себе комплименты. А тут такой болтливый и не стесняющийся спутник!

— И мне что-то не спится… Отучился я хорошо спать в Петербурге… И приехал я туда, знаете ли, когда?

— Когда?

— В мае месяце… Я, знаете ли, несмотря на свои шестьдесят лет, все еще дурак! Вообразил, что в самом деле теперь можно скоро дело сделать… Выслушают, решат — и конец… А вместо этого я вот теперь только уезжаю…

— По крайней мере хоть успешно кончили дело?

— А никак не кончил. Плюнул и уехал… Пусть без меня оно когда-нибудь кончится и, разумеется, не в мою пользу… Да не в этом дело… Не это меня злит… Ну скажи прямо: не находим основания к удовлетворению вашей просьбы. Правильно или неправильно решение, но хоть есть какое-нибудь решение. А то водили меня за нос… Сегодня… Завтра… Обсудим… Снесемся… И, главное, ведь почти все эти Иваны Ивановичи, от которых зависело дело, в принципе, как они теперь выражаются, были за меня… В этом-то и курьез!

Никодимцев знал хорошо эти курьезы и про себя усмехнулся наивности своего спутника, верившего чиновникам, соглашавшимся в «принципе».

— А еще курьезнее то, что не только Иваны Ивановичи, но и сама высшая инстанция была за меня. Я имел честь быть у его превосходительства в кабинете и очарован был его любезностью. И руку подает, и просит садиться, и предлагает папиросы, и глядит на тебя, словно бы говорит: «Не вы, просители, для нас, а мы, начальники, для вас». И собственными своими ушами слышал, — а

я не глух, заметьте, — слышал, как он сказал, что вполне согласен с моими доводами; изложенными в докладной записке, которую он прочитал, и что решит дело, как я прошу. И, словно бы думая, что я не поверю, несколько раз повторил мне: «Да, да, да!..» Казалось бы, чего лучше? Не правда ли?.. И я ушел, вы догадаетесь, в полном восторге и прямо на телеграф. Телеграфирую жене: скоро выеду — дело разрешится благоприятно… А через неделю захожу в канцелярию, и там мне показывают мою докладную записку и на ней в тот же самый день, когда мне сказали «да», стоит пометка рукой его превосходительства: «Нет»… Необыкновенная самостоятельность мнения. Не правда ли?..

И старый господин продолжал рассказывать о сущности своего дела и о тех бесконечных мытарствах, какие он испытал в Петербурге, пока поезд не остановился в Любани.

Никодимцев вышел на станцию пить чай. Там он увидал чиновника своего департамента Голубцова, который был приглашен Никодимцевым ехать вместе на голод.

— Ну что, Михаил Петрович, наши студенты едут? — спросил Никодимцев.

— Как же, все едут, Григорий Александрович! —

отвечал молодой человек солидного и несколько даже строгого вида.

— А суточные вы им выдали?

— Скурагин не хочет брать…

— Отчего?

— Говорит: не за что и не к чему.

— Ну, я постараюсь его уговорить… Давайте-ка чай пить, Михаил Петрович!

Они сели рядом за стол и спросили себе чаю.

— А статистические данные о голодных губерниях собрали?

— Все земские отчеты достал. И несколько статей из журналов собрал. Все исполнено, что вы приказали, Григорий Александрович! — с некоторой служебной аффектацией исполнительного чиновника докладывал молодой человек, недавно назначенный, по представлению Никодимцева, начальником отделения.

Никодимцев ценил в нем уменье работать, считал его способным человеком и не совсем еще чиновником и потому и пригласил с собой.

Остальные пять человек, составлявших его штаб, были доктор и четыре студента. Других помощников, если понадобится, Никодимцев думал найти на месте.

— Из Москвы завтра же выедем, Михаил Петро-

вич! — заметил Никодимцев, поднимаясь. — Студенты знают?

— Знают. Я говорил.

— Так до свидания, пока…

— До свидания…

Когда Никодимцев вернулся в купе, постель его была сделана и спутник его уже лежал под одеялом, повернувшись к нему спиной.

Лег и Никодимцев, но долго не мог заснуть.

Он все думал о своей командировке, и ему почему-то казалось, что с ней предстоит какая-то значительная перемена в его взглядах, настроении и в образе жизни.

Чем дальше удалялся поезд от Москвы, тем чаще в вагоне и на станциях были разговоры о голоде. Одни бранили начальство, другие — земство, третьи — мужиков, четвертые — вообще все порядки, но в этих разговорах все-таки не слышалось ни возмущенного чувства, ни того участливого интереса, которые бывают, когда люди чем-нибудь сильно потрясены.

Но когда поезд пошел по N-ской губернии, часть которой была постигнута бедствием, Никодимцев почувствовал его, встречая все чаще и чаще около станции нищих с больными, изможденными и исхудалыми лицами. На одной

из маленьких станций он увидал, как внесли в вагон почти умирающего человека, больного, как утверждал сопровождавший его в земскую больницу урядник, тифом. Но врач, ехавший с Никодимцевым и осмотревший старика, нашел, что тифа нет, а есть полное истощение вследствие хронического голодания.

Когда наконец поезд пришел в N., Никодимцев, переодевшись в гостинице, тотчас же сделал визиты губернатору, архиерею, председателю губернской земской управы и некоторым другим губернским властям.

Из разговоров с этими лицами он убедился, что и здесь, как и в Петербурге, не столько интересовал голод, сколько личные счеты по поводу его.

Губернатор, из молодых генералов, человек, слывший за просвещенного администратора, тонкого человека, не догадавшийся еще, чего именно надо Никодимцеву: голода, недорода или недохватки, — отозвался о положении дел в его губернии в уклончиво-дипломатической форме. Нельзя сказать, чтобы все было благополучно, но не следует и преувеличивать. И вслед за тем начал жаловаться на тягость своего положения, на противодействие земства и на разнузданность печати, в лице корреспондентов столичной пе-

чати. И когда Никодимцев осведомился, правда ли, что его превосходительство не разрешает частным лицам открывать столовые, губернатор ответил, что не разрешает он этого ввиду высших соображений и прежних циркуляров.

Никодимцев вернулся вечером в гостиницу и сделал распоряжение о выезде на следующий же день в те уезды, где, по сообщению председателя управы, был голод.

И в тот же вечер губернатор писал одному своему петербургскому приятелю, директору канцелярии, что он удивляется, как из Петербурга прислали такого красного, который привез студентов и верит больше председателю управы, чем ему.

«Или у вас новые веяния?» — спрашивал он.

Глава двадцать девятая

I

Ордынцева, давно уже озлобленная против мужа и изводившая его невозможными, умышленно унижающими сценами, которые вызывали в конце концов грубые вспышки Ордынцева, считала себя, разумеется, жертвой, погубившей свою жизнь с таким бессовестным человеком.

Еще бы! Красивая, блестящая, она могла бы сделать отличную партию и занять видное положение, если бы не имела глупости влюбиться в Ордынцева и выйти за него замуж, рассчитывая, что он ради любви действительно будет заботиться о любимой жене и о семье. Это ведь обязанность каждого порядочного человека… Не урезать же их в грошах! Мог бы он давно иметь отличное место!..

И, упрекая его, она драпировалась в тогу несчастной, брошенной жены, — жены, которая, несмотря на презрительное равнодушие мужа, свято исполняет долг замужней женщины и молча страдает, лишенная чувства.

От частой лжи о собственной добродетели Анна

Павловна почти сама верила в свою безукоризненность, тем более что и боязнь общественного мнения, и холодная рассудочность ее чувственной натуры научили Ордынцеву выбирать молчаливых героев и вести свои любовные авантюры с таинственной осторожностью самого опытного дипломата.

Это искусство высшей школы тайно пользоваться наслаждениями и даже благодаря им благоразумно пополнять домашний бюджет сохраняло в глазах мужа, детей и знакомых ее неприступное положение безупречной женщины и в то же время давало ей возможность подавлять Ордынцева, как незаботливого отца и злого мужа, своим величественным презрением.

И вдруг какая-то нелепая случайность, почти ребяческая неосторожность — и все упорное лицемерие ее жизни сразу обращалось в ничто. Дернуло же ее, такую предусмотрительную, выйти вместе с Козельским из их «приюта» на Выборгской да еще соглашаться на свиданья вечером, а не днем, когда мужья должны быть на службе. И как раз теперь, когда она и без того, в качестве брошенной жены, чувствовала свое материальное положение особенно шатким.

Ордынцеву все более и более злобно тревожила

мысль, что муж, узнавший, что она скрывала от него свои авантюры, захочет отомстить ей. Как большая часть женщин, она была пристрастна к человеку, которого ненавидела, и боялась, что Ордынцев объявит ей, что давать назначенные деньги не станет, так как ее любовник, занимавший хорошее положение, конечно, оплачивает ее ласки.

Кроме того, Анну Павловну начинали уже охватывать сомнения в силе ее чар над Николаем Ивановичем. До сих пор он не только что не нанял новой квартиры для свиданий, но и ни разу не был у нее и не писал ей. Она знала легкомысленный характер своего друга, и у нее уже мелькало подозрение, что, несмотря на свою моложавость и уменье показывать себя привлекательной любовницей, она уже начинает приедаться этому превосходительному гурману.

Уже две недели прошло с их последнего свидания, и она решила сама вызвать его.

Тяжелые мысли смущали Ордынцеву, ей даже казалось, что и сын мог догадываться об ее связи, как догадывалась лукавая Ольга, подкупать которую она старалась подарками и ласковым вниманием.

В этот день она обедала только с сыновьями.

Обед прошел в полном молчании. Анна Павловна была не в духе, и ее обижало, что ни Алексей, ни гимназист словно бы не замечали этого.

Когда встали из-за стола, Ордынцева не без мрачной торжественности сказала сыну:

— Зайди ко мне, голубчик Алеша… Мне надо с тобой поговорить…

— Надеюсь, не долго, мама? Я очень занят одной спешной работой…

— На минутку.

Она вошла в свою комнату и, усевшись на свое обычное место в глубоком кресле, спросила у своего любимца:

— Скажи, пожалуйста, Алеша, нас вполне обеспечивает бумага, выданная отцом? Меня это время все беспокоят мысли о вашем будущем…

Алексей серьезно посмотрел на мать.

— Что, мама, за вопрос? Поверь, что я имел в виду интересы семьи, советуясь с адвокатами. Отец подписал все, что нужно, и наконец он, кажется, держал себя совсем корректно? Не забывай, что он мог и не давать никакого обязательства. И, главное, на каком основании ты беспокоишься? — спросил он, и едва заметная высокомерная насмешка скользнула в его голубых, ясных глазах.

Ордынцева невольно покраснела и с некоторой раздражительностью проговорила:

— Как мне, Алеша, не думать о нашем положении, когда не далее, как на днях, я случайно узнала, что все эти супружеские обязательства не имеют юридической силы.

Алексей пожал плечами и докторально заметил:

— Во всяком случае, порядочные люди их выполняют. И нам надо чем-нибудь сильно раздражить отца, чтобы он, под влиянием аффекта, отказался от своего обещания. Да ты, мама, с твоим умом и сама должна это знать…

Он произнес эти слова своим обычным внушительным тоном, но матери послышалось в них что-то подозрительное, и ей стало неловко.

Всегда самоуверенная перед детьми, она сразу потеряла эту самоуверенность, словно бы вдруг заметила, что в глазах сына ее престиж добродетельной женщины поколеблен. Эта мысль подняла в ней раздражение против любимца.

— Ты мог бы понять, какие бессонные ночи провожу я, когда мне думается, что мы можем остаться нищими.

Алексей с скрытым презрением взглянул на выхоленное, здоровое, свежее лицо матери, ни-

чем не говорившее о бессоннице, и произнес:

— Вот это напрасно. Хороший сон необходим для здоровья. А если у тебя нервы пошаливают — принимай бром и успокойся за свое содержание… Надеюсь, что не должно быть серьезного основания беспокоиться за него… Ты ведь не легкомысленная молодая женщина, и следовательно… Ну, я иду… Не распусти своих нервов…

И торопливо, с обычным спокойным авторитетным видом Алексей вышел из комнаты.

Слезы хлынули из глаз Ордынцевой. Ей было обидно. Ее любимец, которому она отдала столько чувства и забот, которого она боготворила, гордясь его красотой, умом и выдержкой, отнесся к ней жестоко и бессердечно. И она невольно вспомнила, как возмущал он отца и как грубо тот обрывал Алексея, приводя этим в негодование мать.

А теперь и она была оскорблена и возмущена сыном.

Он не любит ее, горячо любящую мать. Он словно не оценил, сколько вынесла она из-за него страданий, как защищала его перед отцом, как заботилась и баловала…

«За что такая холодность к матери?» — думала Ордынцева.

II

Она всплакнула и собралась писать Козельскому, как в комнату влетела Ольга.

Взволнованная, со слезами на глазах, она вызывающим тоном бросила матери:

— Мама, что это за гадость у Козельских? Я только что от них и больше к ним ходить не могу!

— Что такое? Ничего не понимаю… Говори толком, в чем дело? — раздраженно и нетерпеливо спросила мать.

Чувство страха охватило ее при мысли, что у Козельских что-то произошло из-за ее отношений к Николаю Ивановичу.

— Я, кажется, мама, ясно тебе говорю. Меня там оскорбили.

— Оскорбили?!

— Да. Козельские ни слова со мной не сказали…

— Так зачем же ты осталась там обедать? — недовольно спросила мать.

— Меня оставила Тина, не Козельская. А Николай Иванович, обыкновенно такой милый, за обедом и не замечал меня, а Тина еще хихикала. Каково это?

— Что ты за вздор несешь? За что Козельским

на тебя сердиться?

— То-то меня и удивляет…

— Быть может, вы с Тиной позволяете себе резкие глупости и этим недовольна Антонина Сергеевна?

— Пожалуйста, меня-то не обвиняй! Я тут ни при чем. Если обращение со мной Козельской вдруг изменилось, то не я виновата. И я не желаю ссориться с людьми из-за других…

Ордынцева вспыхнула и со злобой взглянула на дочь.

— На что смеешь ты намекать?

— На что? Точно ты не знаешь, что такая ревнивая дура, как Антонина Сергеевна, не могла не вообразить, что Николай Иванович ухаживает за тобой. Она на мне только злобу срывала. Согласись, мама, что мне это не особенно приятно!

— Ольга! И тебе не стыдно думать бог знает что о матери? — с видом оскорбленной и разжалованной богини проговорила Ордынцева и поднесла платок к глазам.

Но Ольга, исключительно думавшая о себе, не поверила слезам матери и не обратила на них особенного внимания.

— Но надо же чем-нибудь объяснить такой прием? Еще недавно Антонина Сергеевна была

со мной ласкова, а сегодня…

— Я сама поеду к Козельской, — решительно проговорила Ордынцева, в душе уверенная, что не сделает этого.

— Ты поедешь?

— Поеду! И докажу, что вся эта история — твое воображение.

— Очень была бы рада. Ты должна это уладить, мама. Нам совсем не кстати рвать с Козельскими. Это чуть ли не единственный дом, где я могу видеть порядочное общество. И наконец наше положение и без того не завидно…

— Без тебя знаю, что отец не так заботится о нас, как бы следовало. Мне и без того тяжело, а тут еще ты меня расстраиваешь своими глупостями.

— Мне разве так весело живется? А я ведь молода, мне жить хочется! Ты как будто забываешь об этом… Благодарю…

И с этими словами, в которых слышалась раздраженная зависть молодой, жаждущей наслаждений девушки к пожилой матери, все еще пользующейся жизнью, она быстро выбежала из комнаты и, крепко хлопнув дверью, проговорила вполголоса, но настолько громко, чтобы мать могла слышать:

— У самой любовник, а туда же, притворяет-

ся…

— Господи, что за мука! — прошептала мать, искренне чувствуя себя страдалицей.

III

Ольга прошла к брату.

— Послушай, Алексей, я должна тебя предупредить… — начала она торопливо и захлебываясь.

— Ну, что там такое еще?

— У Козельских целый скандал…

— А тебе какое дело? Пусть их скандалят!

— Тоже сказал! Да ты пойми, в чем дело…

— Ну, говори скорей, сорока!

— Должно быть, мама влетела, — таинственно и понижая голос сказала Ольга, и в ее темных глазах сверкнуло какое-то лукавое удовольствие.

— Дура, — категорически произнес студент. — Неужели ты не понимаешь, что об этом не говорят. А я и без тебя давно знаю, что следует знать.

— Ты один умный!

— Выходи-ка ты лучше поскорее за своего Уздечкина…

— И выйду! А если не сделает предложения, поступлю на сцену. Мне давно говорили, что с моей наружностью и голосом это нетрудно. Все равно от вас ничего путного не дождешься…

Только одни дерзости и от мамы и от тебя. Пойду поговорю с отцом, — с истерическими слезами в голосе, почти взвизгнула Ольга.

В эту самую минуту в комнату вошел бледный вихрастый гимназист в старой расстегнутой блузе, с запачканными чернилами пальцами и с несколько возбужденным взглядом первого ученика, долбившего до умопомрачения. Он набросился на сестру:

— Да перестанешь ли ты кричать чепуху! Тебе-то хорошо, а мне к завтрему уроков много… Вы с мамой только мешаете… Любовь да любовь, а дела не делаете…

— Ты-то еще что, болван, дерзкий мальчишка! Пошел вон!

Старший брат высокомерно и презрительно оглядел сестру с ног до головы.

— Довольно. Оставьте меня в покое. Мне надо заниматься.

Но вихрастый гимназист исчез так же быстро, как и появился, и уже сидел в соседней комнате за учебником, зажав уши пальцами, и, как оглашенный, выкрикивал свой урок.

А Ольга со слезами раздражения и обиды вышла от Алексея. Она уселась на низеньком диванчике в своем будуаре и, грустная, жалела о

своей несчастной судьбе.

«Счастливы те, у кого деньги. У Тины жизнь не такая, как у меня… У Козельского средства хорошие… Такой миллионер, как Гобзин, делал предложение, а она отказала… И что в ней так привлекает мужчин? Споет скверно цыганский романс, а они с ума сходят или еще стреляются… Дураки! А Гобзин ухаживал за мной, пока Тина не запела; обещал приехать к нам с визитом, и не едет!»

Через четверть часа она уже оживленно напевала и решила идти сегодня в театр, уверенная в том, что мать должна дать деньги после того, что случилось.

Глава тридцатая

На другой день ровно в два часа дня Ордынцева входила с Кирпичного переулка к Кюба. На лестнице ее уже встретил Козельский и провел в небольшой отдельный кабинет. Дрова ярко горели в камине. На маленьком столе с двумя приборами стояла разнообразная, изысканная закуска, при виде которой у Николая Ивановича заблестели глаза.

— Как я рад тебя видеть, Нюта, — сказал он, целуя ее и в то же время подводя ее к столу. — Я велел подать то, что ты любишь, и заказал отличный завтрак. Давно мы с тобой не видались, голубка!.. Я рвался повидать тебя, но если бы ты знала, что за дьявольские у меня теперь дела… Кушай свежую икру.

И, торопливо наложивши ей маленькую тарелочку и налив рюмочку рябиновки, он разрешил себе немного аллашу и с наслаждением принялся закусывать, бросая по временам ласковые взгляды на Ордынцеву.

— А ты все так же цветешь! Ты прости меня, деньги я не прислал. На днях получишь… Ах, эти дела! — досадливо морщась, проговорил он, осто-

рожно беря ложечкой крупную холодную икру.

Анна Павловна, красивая, свежая, во всех боевых доспехах, одетая с особенной, рассчитанной изысканностью для свиданья с Николаем Ивановичем, отодвинула тарелку и, останавливая на Козельском ласковый и в то же время пристальный взгляд своих волооких, слегка подведенных глаз, проговорила:

— Положи мне pâté[23]…Как же мы с тобой давно не видались, Ника. И как же мне необходимо с тобой переговорить… Что у тебя дома?

— Дома? Особенно ничего. Правда, была маленькая неприятность, но, кажется, это обошлось… — Он сам положил ей pâté и, несколько заискивающе вздохнув, прибавил: — Как жаль, что оба мы не свободны и связаны обязанностями…

И он заглянул ей в глаза своим обычным мягким взглядом и в то же время подумал: «Однако моя Нюта начинает портиться… Да и фон слишком много растушеван… Пора мне сбегать… А она и не знает, как мои дела плохи».

И Козельский крепко пожал и поцеловал ее руку.

---

[23] Примечания: 23
Паштет (франц.).

— Но какие же у тебя были неприятности?

— Я тебе сейчас все расскажу. Недавно у меня был щекотливый разговор с женой. Ты ведь знаешь, она очень ревнива… Подавайте завтрак, — прибавил он, обращаясь к вошедшему лакею татарину.

— Дело касалось меня? — испуганно спросила Анна Павловна. — И как она могла узнать о наших отношениях? Не из-за той ли встречи все вышло? Благодарю тебя. Ты тогда поступил, как мальчишка! Компрометировать женщину…

— Пожалуйста, не принимай слишком близко к сердцу. Никто ничего не рассказывал… Вышло все очень глупо…

В это время лакей внес борщок в больших белых чашках, и Козельский принялся есть, придумывая, как бы удобнее успокоить свою даму, чтобы самому избавиться от сцены. Довольно их и дома. А Нюта сегодня, наверное, расположена к драме, так как он на несколько дней опоздал с присылкой обычных денег.

— Ну, так в чем же твоя глупость?

— Нюта, Нюта, ну зачем ты, родная, сердишься? — своим бархатным голосом, вкрадчиво сказал Козельский. — Такой обворожительной женщине сердиться нехорошо, и ты никогда не

отравляла прелести наших свиданий…

— Но Ольга мне говорила, что твоя жена была с ней вчера неприлично холодна. Откровенно скажи мне, что это значит?

«Экая баба иезуит», — подумал Козельский и, окончив свой борщок, проговорил:

— Ну, Ольга преувеличила. Жена действительно думает, что мы с тобой близки. Все дело вышло из-за какого-то анонимного письма. Это чье-то литературное произведение вызвало в подозрительной супруге целую ревнивую бурю. И понимаешь ли, Нюта, ты уж не сердись, а благоразумие заставляет тебя на некоторое время прекратить бывать у нас. Это скорее всего успокоит жену.

Анну Павловну сразу охватило злобное чувство и на жену и на любовника, который предал ее и, из трусливого желания сохранить мир у своего семейного очага, ставил ее в оскорбительное положение женщины, перед которой закрывают двери. И в то же время ей стало страшно. Она поняла, что, раз их связь будет доставлять ему много хлопот, ему ничего не стоит бросить ее. А эта перспектива еще усилила ее раздражение, так как средств, выдаваемых Ордынцевым, никак не могло хватить на то, что она считала приличным

существованием. Она почти с ненавистью взглянула на красивое, холеное лицо своего друга.

— Что же вы, Анна Павловна, не берете? — заботливо спросил Николай Иванович, когда она сделала отрицательный жест татарину, державшему перед ней серебряное блюдо. — Здесь отлично делают марешаль[24]…

— Благодарю. У меня все эти дни нет аппетита, — сухо ответила она, укоризненно глядя, как он не спеша и внимательно накладывает себе зелень.

Как только татарин вышел, Анна Павловна произнесла, не скрывая своего раздражения:

— И неужели тебе, Ника, не стыдно ставить меня в такое положение? Я знаю, что, если бы ты захотел, ты сумел бы меня выгородить… Но теперь я вижу, как ты дорожишь нашей дружбой…

— Полно, Нюта. Разве ты за эти два года не успела убедиться в силе моей привязанности? Я, именно оберегая твою репутацию, не хочу доводить Антонину Сергеевну до крайности. Ты не можешь себе представить, на что способны эти ревнивые женщины. А ведь ты сама знаешь, что к тебе трудно не ревновать. — И он приласкал

---

[24] Примечания: 24
Котлеты из куриного филе с начинкой из грибов.

Ордынцеву взглядом.

Она заметила в его глазах знакомый плотоядный огонек, и это успокоило ее больше слов, хотя она далеко не была убеждена, что этот огонек вызван ее присутствием, а не хорошим завтраком.

— Я, конечно, сам отчасти виноват, что не сумел хорошенько скрыть перед женой свое восхищение перед тобой, моя дорогая. Но ведь за то я же и наказан. Ты знаешь, как я ненавижу сцены… А за эти дни… Эх, даже вспоминать не хочется! — болтал Козельский, стараясь заговорить свою разгневанную подругу. — Можете убрать и подать кофе и ликеры, — приказал он татарину.

Анна Павловна встала, сделала несколько шагов по комнате и мельком, не без тревоги, заглянула в зеркало. Ей надо было сейчас проверить силу своего обаяния над Козельским, и она постаралась согнать с своего лица следы раздражения.

— Не будем, Ника, ссориться. Мы так давно не были вместе. Тебе, как всегда, три куска сахару? — ласково улыбаясь, спросила она, усаживаясь на широкий диван и придвигая к себе поднос с кофе.

Николай Иванович нагнулся, поцеловал ее белую полную руку, украшенную кольцами, и

опустился рядом с ней на диван.

— Вот такой, Нюта, я тебя люблю.

— Если бы ты знал, как ты эти дни был мне нужен, Ника. Эта встреча с Василием Николаевичем так тревожит меня. Ты поймешь, как было бы ужасно для меня, если бы наши отношения получили огласку. Кроме того, здесь могут быть затронуты материальные интересы моей семьи…

— Ну, кажется, твои дети-то тут ни при чем?

— Но, милый, вдруг этот человек осмелится заявить, что, раз я близка с человеком, занимающим такое положение, и он считает себя вправе прекратить свои заботы о семье?..

— Откуда такие мысли, Нюта? Твой муж такой порядочный человек, что ничего подобного не сделает. И наконец разве ты не свободна? Не он ли первый оставил тебя? Нет, милая, не мучь себя напрасно!

С этими словами он обнял ее и крепко поцеловал в губы. Она, растроганная, прильнула к его плечу, и на глазах ее показались слезы, частью вызванные страхом потерять такого во всех отношениях удобного для ней человека, частью умышленные, рассчитанные на его трусость эгоиста, любящего спокойствие, перед женскими

слезами.

— Нюта, о чем ты?

— Пойми, как меня пугает скандал… Ты знаешь, что я дорожу своей репутацией, а ведь из-за тебя я ставила ее на карту. А положение мое перед детьми?..

Его превосходительство отлично знал, как успокаивать женщин, и, желая поскорее избавиться от дальнейшей чувствительной сцены, он взглянул на двери и с теми же заблестевшими глазами, которые были у него, когда он ел свежую икру, стал горячо целовать Анну Павловну. Она отвечала на его ласки с умелой страстностью женщины, понимающей, чем можно приворожить такого поклонника женщин.

Через несколько времени его превосходительство про себя усмехнулся, как будто смеясь над своим пристрастием к слишком зрелым дюшесам, и, добродушно целуя ее в лоб, проговорил:

— Знаешь, Нюта, будет осторожнее, если мы станем встречаться в разных местах. И относительно твоего мужа удобнее… А ты, пожалуйста, не беспокойся, родная, все уладится. — И, взглянув на часы, прибавил: — Однако пора расставаться, к сожалению… У меня еще деловое свидание… Надо торопиться… Но, я надеюсь, мы скоро опять

увидимся?

— Может быть, ты сам зайдешь ко мне, кстати и деньги принесешь…

— Непременно, непременно… Ах, если бы знала, Нюта, какая у меня каторга… Дела в отчаянном положении. На днях я с тобой поговорю…

Они спустились с лестницы, кивнули друг другу, и, пока Николай Иванович надевал пальто, Ордынцева вышла на улицу и пошла по Морской, уже более бодрая и веселая.

Глава тридцать первая

Никодимцев прожил несколько недель в лихорадочной деятельности, организуя помощь голодающему населению волжских губерний. Он собирал сведения о размерах охватившего большую часть уездов бедствия, совещался с земцами, подсчитывал наличные запасы хлеба, вел переговоры с местными хлеботорговцами, торопил подвозкой хлеба с той хлебной пристани соседней губернии, где он купил большую партию зерна и муки. И в первом же донесении в Петербург он писал о необходимости новых крупных ассигновок, о большом районе, захваченном неурожаем, о том, что был голод, настоящий голод.

Первое время Никодимцев постоянно был в возбужденном, приподнятом настроении, в каком бывает деловой, энергичный человек, принимаясь за организацию распущенного, беспорядочного дела. И именно этот беспорядок, господствовавший в продовольственном деле губернии и вытекавший из замалчивания размеров неурожая и голода, из-за подозрения земства в преувеличении просимых им ссуд, из всех тех затруднений, которые ставились попыткам

частной благотворительности, — вся эта лживая, ненужная и вредная бестолочь и держала Никодимцева в возбужденном, приподнятом настроении. Он видел, что все это можно было устроить гораздо легче и проще, если бы относились правдивее к фактам, что во всем этом была и преднамеренная злостность, а главное, никому не нужная ложь и целое море пустомыслия и пустословия. Он быстро сговорился с земцами, нашел и хлеб, но в особенности его радовало открытие на месте людей, которые живо откликнулись на его призыв к деятельности, которых не нужно было звать и просить и которые, очевидно, только и ждали, чтобы им позволили помогать людям, позволили накормить голодного, одеть нагого. Организовывалась раздача хлеба, устраивались столовые, на очередь ставился вопрос о закупке лошадей. Из центров посылались санитарные отряды, ехали студенты, фельдшерицы.

Осложнялось дело и в деревнях. Кое-где появилась цинга, спорадические случаи тифозных заболеваний, о которых Никодимцев слышал тотчас же по приезде, становились все чаще, начиналась эпидемия; земские врачи заговорили о голодном тифе. Никодимцев почти не выходил из саней. Осмотр столовых, заседания местных

комитетов, посещение цинготных и тифозных деревень занимало целые дни, и постепенно он привык засыпать в широких, обитых рогожей деревенских санях и употреблять ночи на далекие поездки. Он даже полюбил эти ночные поездки, когда все засыпало кругом и молчаливые деревни не бились в душу с своими горями, с своими мучительными вопросами.

Был февраль, частые вьюги заносили дороги, и сплошь и рядом приходилось ехать шагом по мало проторенным деревенским дорогам. Туманной, серой пеленой мерцала снежная ночь, однообразно и жалостно вызванивал унылый колокольчик, унылые и жалостные слова доносились от скорчившейся на облучке полузасыпанной снегом фигуры о мужицкой нехватке, нехватке в земле, в хлебе, в лошадях и о божьем изволении, и о планиде, и «как бог, так и вы». И так все это гармонировало — и эти иззяблые, медленные, унылые слова, и эта тусклая, серая даль, занесенные снегом, словно копны в поле, деревенские избы, и печальные голые ивы, и все это какое-то озябшее, серое, унылое и печальное.

Так хорошо думалось под звон колокольчиков и так много думал Никодимцев в обшитых рогожей санях, и все одно и то же настроение, еще

смутное и неопределенное, все глубже и глубже захватывало его.

То старое, чем он жил в Петербурге, уходило все дальше и дальше, и все ярче вставало пред ним новое и неизвестное. Казалось, он все дальше и дальше уезжал в новую страну, не имевшую ничего общего с той петербургской страной, которую он одну только и знал. Там, в Петербурге, все казалось так просто и так ясно, а главное, там было то сознание личного значения своего «я», которое могло наполнять жизнь и удовлетворять душу. Тут, в этой новой стране, все так смутно, неясно, так полно вопросов и загадок. И Никодимцев, почти никогда не выезжавший из Петербурга и подгородных дач, только теперь, войдя в местные дела и нужды, познакомившись с местными людьми и присмотревшись к деревне, понял, как он, петербургский человек, мало понимал Россию и какая особенная жизнь, идущая в стороне от Петербурга и не имеющая с ним ничего общего, тихо и незаметно совершается здесь, в этих глухих городишках, занесенных снегом деревнях.

То возбужденное и приподнятое настроение прошло, и какое-то новое, незнакомое ему прежде чувство одиночества, отчужденности и бессилия

все яснее вставало в нем.

— Это, ваше превосходительство, — сухо и холодно говорил Никодимцеву земский врач, с которым он встретился в большом, пораженном тифом селе, — хорошие слова у вас в Петербурге придумали: «недород» и «недоедание». И не потому, ваше превосходительство, что неурожай и голод грубые слова, беспокойные слова, а потому что ваши слова справедливы. Я вот здесь двадцать лет в селе-то живу и знаю, что это уж в хороший год у исправного мужика хлеба до масленицы либо до крещенья хватит, а то все с Николы[25] покупают, а весной из пятидесяти-то дворов, может быть, в десятке избы топятся, есть что варить, — разве это голод был, двадцать-то лет? Простое недоедание… Также и недород-то, скота-то все меньше, земля-то на моих глазах тощает… Только что в нынешнем году недород побольше, а еды еще поменьше, вот и все, — было четверть лошади, а теперь будет восьмая, вот и все. Вот я и говорю, справедливые петербургские слова, ваше превосходительство, именно недород, именно недоедание.

Доктор смеялся злым, неприятным смехом.

---

[25] Примечания: 25
То есть с 19 декабря.

— Только вот в чем Петербург ошибается, думает, что деревня, как, случается, улей в долгую зиму к весне ослабеет, подкормишь сытой — и опять пойдет мед таскать да роиться. Плохо стал роиться мужик-то, ваше превосходительство, и насчет меду как бы не лишиться. Бывает, гнилец в ульях-то заводится. Двадцать лет мужика-то наблюдаю, — на нет сходит.

Слова доктора неотступно стояли в голове Никодимцева. Поражала его в деревне не нищета населения и некультурность его — раскрытые дворы, низкие, нередко и курные избы, скот в избах, рубища вместо одежды, — поражала его та апатия, то серое, скучное выражение лиц, которое он наблюдал в голодающих деревнях и с которым говорили ему в избах: «Не родила земличка, божье изволенье», «Кончается, батюшка, дочка, кончается, — не емши все»...

Колокольчик все звенит, все развертывается серая даль; те же ветлы, молчаливые леса, молчаливые деревни.

Никодимцеву хочется вырваться из-под гнета серых сумерек, и он начинает думать о Петербурге, ему вспоминается блестящий и яркий Невский проспект, пышная и шумная петербургская жизнь, последняя дипломатическая победа

России над Англией и ореол могущества, который окружает в последнее время Россию, и вспоминаются язвительные слова доктора: «Гнилец, гнилец… на нет сходит мужик».

То сознание совершенного хорошего дела все реже является у Никодимцева, и все чаще охватывает его чувство одиночества, бессилия и ненужности.

Глава тридцать вторая

I

Инна Николаевна почти каждый день получала от жениха короткие, наскоро набросанные записочки. С отзывчивостью любящего человека, она волновалась его волнениями и отвечала ему длинными, горячими письмами, зная, как они бодрят и греют его среди окружающего ужаса и беспросветного мрака. Она понимала, что в ее женихе происходит какой-то перелом и что в эту минуту ее привязанность особенно нужна ему, и это сознание наполняло ее немного горделивой радостью.

Козельский нередко спрашивал у дочери о том, что пишет ее жених о голоде, и не без насмешливости говорил о едва ли предусмотрительном задоре его превосходительства, благодаря которому он, чего доброго, сломает себе шею. Он советовал Инне удерживать его от этой откровенной резкости, которая делу не поможет, а министров против него восстановит. Уже и теперь в городе ходят слухи, что Никодимцев закусил удила и в самом деле воображает, что он

может, возвратившись в Петербург, разыграть роль маркиза Позы[26].

— А у нас такие роли довольно рискованны, особенно для человека без состояния, — говорил Козельский, и в его голосе чувствовалось некоторое раздражение против человека, надежды на которого относительно устройства места в будущем являются проблематическими.

«Решительно Григорий Александрович слишком легкомыслен для своего положения», — думал Николай Иванович, рассчитывавший на нечто большее. Между тем его будущий зять уже отказался от места товарища и, по-видимому, не думает о высшем посте.

Таким образом Козельскому, кажется, не придется воспользоваться его услугами. Пока он урвал только бланк на вексель в пять тысяч рублей, учел его и возвратил взятку, полученную от Бенштейна. И все-таки его дела от этого не поправились. Он должен был оставить место в правлении одного общества, не был выбран в совет другого, — все это благодаря разнесшимся слухам о взятке. Если теперь векселя поступят к

---

[26] Примечания: 26

Маркиз Поза — персонаж из трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос», благородный мечтатель, пытающийся воздействовать убеждением на жестокого и коварного короля.

протесту, то скандал несостоятельности неминуем.

— Так, голубушка Инна, ты непременно напиши Григорию Александровичу о том, что я тебе говорил. Он тебя любит и послушает. А если послушает, то вы займете блестящее положение. Так ты напишешь?

— Зачем я буду писать? Григорий Александрович сам знает, как ему поступить.

— Но отчего же хорошенькой женщине не подать добрый совет? — настаивал Козельский, заботливость которого о карьере будущего зятя вытекала единственно из страха за свое шаткое положение и несколько тронутую репутацию.

— Не говори так, папа… Я этого не буду писать. Довольно того, что я уже раз написала Григорию Александровичу крайне неприятное для меня письмо.

Николай Иванович чуть-чуть пожал плечами.

— Странное отношение у вас, молодых женщин, к серьезным вопросам жизни, — заметил он и вышел из комнаты.

Он чувствовал себя искренне обиженным тем, что дочь, которую он всегда любил и баловал, как ему казалось, из пустой щепетильности отказывает ему в такой важной услуге. И, не желая

слишком резко высказать ей свою досаду, он предпочел прекратить разговор.

Но его красивое, обыкновенно приветливое лицо стало пасмурно и озабоченно, и Тина, встретившая отца в гостиной, не без удивления спросила сестру, входя в ее небольшой будуар:

— Что это с папой? Опять попался маме в чем-нибудь? Или без денег сидит?

Проговорив это, как всегда, насмешливо и равнодушно, она подошла к большому зеркалу и внимательно оглядела себя с ног до головы. Барашковая кофточка сидела безукоризненно, бархатистый мех небольшой котиковой шапочки красиво оттенял и пышные золотые волосы и белое, разрумянившееся на морозе, нежное личико.

Тина осталась довольна результатом своего осмотра и ласково улыбнулась своему отражению.

— Нет, мама тут, кажется, ни при чем… У отца, верно, дела очень плохи… И он недоволен Григорием Александровичем, — говорит, что он портит себе карьеру, — нехотя отвечала Инна, не поднимая глаз от вышиванья.

Разговор с отцом оставил в ней тяжелое впечатление. Она знала все его ошибки и слабости,

но это не мешало ей любить его. Ей было одинаково неприятно и отказывать отцу в просьбе и слушать, как он осуждает Никодимцева. Она защищала образ действия своего жениха не столько потому, что была согласна с его взглядами, сколько в силу своего слепого доверия ко всему, что он делал и говорил. Намучившаяся из-за безволия и беспринципности окружающих, она встретила в нем чуть не первого безукоризненного, порядочного человека и не только любила его, но и чувствовала к нему особенное безграничное приподнятое уважение.

— Да ведь он совсем комик, твой Григорий Александрович, — круто повернувшись от зеркала, сказала Тина. — Я и забыла тебе сказать, что вчера у Курских говорили о нем. По-видимому, его положение ненадежно. Он, кажется, донкихотствует там… Кого-то спасает, кого-то поучает… Что-то нелепое, ребяческое…

— Пожалуйста, не говори так, Тина… С меня довольно разговора с папой. Вы совсем не понимаете Григория Александровича и только мучаете меня…

В голосе Инны послышались слезы. Младшая сестра, быстро сбросив на кресло меховую жакетку, мягким движением опустилась на ковер и,

взяв ее руки, ласково заговорила:

— Полно, милка… Ведь я же не хотела тебя обидеть. И ты знаешь, что меня вообще твой директор департамента мало интересует. Пусть себе там на Волге хоть Пугачева разыгрывает! Но я нахожу, что это прямо глупо портить свою будущность из-за каких-то полупьяных мужиков. И какое ему до них дело, особенно теперь, когда он собирается жениться на такой хорошенькой женщине, как ты? Неужели он не понимает, что красота нуждается в рамке, что, любя тебя, он обязан добиваться и средств и положения, а не писать какие-то глупые донесения, над которыми смеется свет!

— Ради бога, Тина, перестань, а то мы будем ссориться. Мне нет дела до того, что думает свет. И вопрос о карьере касается только его самого, а не меня.

Молодая девушка почти с состраданием взглянула на сестру:

— Я вижу, ты глупишь, Инна, но бог с тобой, каждый имеет право портить себе жизнь по-своему. Не бойся, я больше ни слова не скажу тебе о твоем рыцаре без страха и упрека. Мне тоже не хочется ссориться с тобой.

Она с сознанием своего превосходства и легким

оттенком покровительства поцеловала сестру в голову и ушла.

Инна почувствовала тот холод одиночества, который за последнее время все чаще охватывал ее в родной семье. Отец и сестра, исключительно полные жажды возможно больших житейских удобств и наслаждений, становились для нее почти чужими. Если бы Инна Николаевна сейчас пошла к матери и стала бы говорить о своих волнениях и тревогах, Антонина Сергеевна от всего сердца пожалела бы свою бедную девочку, поплакала бы над ней, но в душе пожурила бы Никодимцева за то, что он не сумел поставить себя так, чтобы все были довольны, и доставлял своей невесте совсем ненужные огорчения.

Зная это, Инна осталась одна с своими невеселыми мыслями и была рада, когда ее дочка, вернувшись с прогулки веселая и свеженькая, вбежала к ней и своей детской болтовней и ласками разогнала ее тоску.

II

За последнее время то озабоченное выражение, которое удивило Тину, все чаще и чаще омрачало лицо Козельского. Его дела были так плохи, что, несмотря на врожденное легкомыслие и

жизнерадостность, он начинал чувствовать себя подавленным и растерянным. Потеря двух мест, пошатнувшееся служебное положение, таинственные слухи о какой-то некрасивой, неудавшейся в конце концов сделке, пересуды о которой злорадно повторялись в самых различных кружках Петербурга, всегда жадно набрасывающегося на всякую административную сплетню, — все это сразу пошатнуло и без того неважный кредит Козельского.

Его положение во всех отношениях делалось невыносимым. Знакомые при встрече уже не приветствовали его с той любезностью, которую обыкновенно оказывают людям, пользующимся всеми благами земными и рассчитывающим захватить впредь еще большую порцию этих благ. Напротив, его превосходительство видел почти на всех лицах некоторое недоброжелательное удивление.

«Экая ловкая бестия, все еще держится?» — как будто говорили они, и ему казалось, что они заживо хоронят его.

И многочисленные кредиторы, конечно, следящие за всеми его делами с особенно жгучим интересом, стали настойчиво требовать уплаты по векселям, не соглашаясь более переписывать

их, несмотря на упорные, почти униженные просьбы Козельского, который начинал все яснее сознавать, что гибель неизбежна.

Расходы по дому шли своим обычным чередом, но они становились непосильным бременем для Николая Ивановича, и ему уже пришлось несколько раз отказать жене в деньгах, что при его корректно-джентльменском отношении к Антонине Сергеевне было почти небывалою редкостью. Со дня на день откладывал он неизбежное объяснение с женой. А между тем надо было во что бы то ни стало сократить расходы, изменив весь образ жизни. И эта необходимость казалась ему ужасной и оскорбительной.

Кроме того, надо было кончать с Ордынцевой, и Козельский вперед со скукой, почти с отвращением думал о прощальном свидании с практичной и рассудительной Анной Павловной. Последний месяц она была довольно суха с ним, дуясь за то, что он заплатил ей неполное содержание.

И, получив от нее лаконическую записку, что она просит его прийти к ней на следующий день в два часа, Козельский невольно поморщился. Но потом решил, что чем скорее, тем лучше, и перестал о ней думать, всецело поглощенный мыслью о своем безденежье.

На следующее утро случилось то, чего он давно с таким страхом ожидал и что все-таки считал невозможным. Явился судебный пристав с повесткой, на которой значилось, что ввиду неплатежа им пятисот рублей по векселю Никодиму Мировольскому будет на днях приступлено к описи его имущества.

Это уже было начало конца. Эти жалкие пятьсот рублей, которых Козельский нигде не мог достать, меньше всего беспокоили его. Он платил Мировольскому огромные проценты и был уверен, что тот не станет подавать в суд. Но развязный комиссионер, франтоватый, с претензией на благовоспитанность и даже интеллигентность, был оскорблен непривычной резкостью, с которой Козельский, окончательно взвинченный и разнервничавшийся, ответил на его упорные просьбы поторопиться уплатой.

— А вы, господин Мировольский, вероятно, из духовного звания? Удивительно, как в нашем духовенстве сильна страсть к наживе.

Этого Мировольский, выдававший себя за разорившегося помещика и тщательно скрывавший, что он «дьячков сын», не мог вынести. Он решил отомстить, и Козельский очень скоро раскаялся в своей невыдержанности.

Николай Иванович вышел из дому, решив побывать у нескольких клубных приятелей и попытаться достать у них эти проклятые пятьсот рублей. Но из этого ничего не вышло. Одних он не застал, другие извинялись, что не могут дать, потому что держат деньги не дома, а в банке, третьи, скосив глаза куда-то в угол, уверяли его, что сами сидят без гроша. Козельский, конечно, не верил им, но по привычке любезно улыбался, слушая их ложь.

Когда он в два часа звонил в квартиру Ордынцевой, на душе у него было скверно. Он чувствовал, что все скорее и скорее катится с горы и что никто не шевельнет пальцем, чтобы удержать его. И вдруг ему пришла в голову шальная мысль.

— А не попросить ли у Нюты? У нее, наверное, прикоплены деньги на черный день. Она ведь предусмотрительная.

Возможность такого исхода подбодрила его, и он уже не с таким сумрачным видом вошел в гостиную. Взглянув на лицо хозяйки, он по ее деловому, далеко не любезному выражению сразу решил предупредить ее.

— Ах, Анна Павловна, если бы вы знали, что со мной творится, — сразу начал он, целуя ей руку и идя вслед за ней в ее комнату, где прислуге было

трудно подслушать их разговор. — Сегодня на меня обрушилась такая неприятность, что я до сих пор не могу прийти в себя.

— Что такое? — довольно сухо спросила Ордынцева, очевидно, желая поскорее заговорить о своих делах.

— В сущности, вздор… Но это может очень скверно кончиться… Представьте себе, что один ростовщик, которому я должен небольшую сумму, грозит завтра же подать на меня в суд. Вы понимаете, что с моим положением это крайне неудобно. А между тем я никак не могу достать денег. Какая-то упорная незадача.

— А много ли? — еще суше спросила Анна Павловна, внимательно глядя в его лицо своими холодными глазами.

— Пустяки! Всего пятьсот рублей… И знаешь что, Нюта, — ласково и вкрадчиво продолжал Козельский, садясь рядом с нею и взяв ее белую, полную руку, — мне пришло в голову, что, может быть, ты выручишь меня. Если у тебя нет своих денег, то, может быть, где-нибудь достанешь?

— Я? Да вы с ума сошли! — почти злобно сказала Ордынцева, отнимая от него руку и отодвигаясь. — Я и сама поставлена в очень затруднительное положение. Вы были так неаккуратны

в последнее время. А расходов немало. Ведь у меня дети!

Она была взбешена. Что за дерзость! Не платит, да еще денег в долг просит. Этого она никак не ожидала. Значит, действительно дела Козельского так плохи, как говорил Алексей, сообщивший об этом вскользь, за обедом.

— Простите, вы правы. Я говорю вздор. Эти проклятые дела свели меня с ума.

Он встал и сделал несколько шагов по комнате. Ему было почти смешно, что он вздумал обратиться к ней. Ее отношение не удивило и не оскорбило его. Он отлично понимал, что в их связи никогда не было места привязанности. Это был договор, основанный на взаимных выгодах и удобствах. Чувственность играла у них роль чувства.

Анна Павловна с величественным презрением смотрела на Козельского. С той минуты, как она поняла, что ее любовник окончательно запутался, он стал казаться ей и менее представительным, и постаревшим, и даже как будто ниже ростом.

«Надо же быть дураком, чтобы до пятидесяти лет не нажить ничего, кроме долгов», — подумала она, а вслух сказала:

— Но вас, конечно, выручит кто-нибудь из

приятелей?

— Наверное. Я даже прямо от вас проеду к одному господину. Его до трех можно застать дома. Прощайте, Анна Павловна.

Он поцеловал ей руку и ушел. Оба отлично сознавали, что этим свиданием кончилась их двухлетняя близость. Это сознание оставило их обоих холодными.

III

После обеда, который прошел молчаливо и невесело, Николай Иванович сказал жене:

— Тоня, не зайдешь ли ты ко мне поговорить?

Антонина Сергеевна молча прошла за ним в кабинет. Сердце ее забилось от какого-то смутного страха. Она чувствовала, что с ее Никой что-то случилось, но с наивным непониманием женщины, прожившей всю жизнь за спиной мужа, не могла себе даже представить, какое это было «что-то».

— Садись сюда, Тоня, здесь тебе будет удобнее, — ласково говорил Николай Иванович, усаживая жену в низкое, покойное кресло. — Видишь ли, дорогая, мне ужасно тяжело, что приходится тревожить тебя… Но я должен сказать, что мои дела очень плохи, и нам придется немного изменить

образ жизни…

— Плохи?.. — повторила Козельская, очевидно, еще не отдавая себе отчета в практическом значении этих слов. — Бедный Ника, опять тебе новые заботы… Но отчего же это: кажется, ничего нового не случилось?

— Право, трудно рассказать, как это все вышло. Ведь ты знаешь, я ушел из двух правлений. А одного жалованья не может хватить на наш train…

— Ах, Ника, я ведь давно говорила, что наши приемы, фиксы, все это лишнее. Ты знаешь, что я хорошо себя чувствую только в тесном семейном кругу. Наши девочки тоже не гонятся за выездами. Старшая — невеста, Тина совсем не собирается замуж…

Николай Иванович сдержал нетерпеливое движение.

— Ты меня плохо поняла, Тоня. Тут дело не в одних приемах. Нам придется переехать в другую, более дешевую квартиру, отпустить лишнюю прислугу, — словом, совершенно изменить жизнь. Может быть, даже продать кое-что из обстановки… У меня есть неприятные долги…

— Да как же, Ника… Что же это… Неужели мы совсем разорены? — медленно произнесла Антонина Сергеевна и растерянно обвела взглядом

солидный комфортабельный кабинет мужа, как будто уже прощаясь с этой темной тяжелой мебелью.

— Нет, дорогая, пожалуйста, не тревожься так. Это далеко не разоренье. Просто приходится временно потесниться. Видишь, я прямо говорю тебе, в чем дело, потому что знаю, что ты всегда была моей помощницей.

При этой ласковой лести Антонина Сергеевна сразу пришла в себя и любовно посмотрела на своего красивого, моложавого мужа.

— Ты не ошибся, Ника. Помнишь, как мы жили с тобой, когда поженились? Ни безденежье, ни недохватки никогда не пугали меня. Только бы ты был со мной. И я надеюсь, что теперь, в минуту несчастья, ты лучше поймешь, кто действительно и искренне привязан к тебе, — слегка дрогнувшим от волнения голосом сказала Козельская.

К ее тревоге примешалось радостное чувство. Теперь эта размалеванная Ордынцева, наверное, не захочет продолжать связи с разорившимся человеком, ее Ника волей-неволей будет больше сидеть дома, и, может быть, он оценит наконец всю беспредельную глубину ее чувства. И эта сорокапятилетняя женщина, с наивной сенти-

ментальностью молоденькой институтки, почти радовалась предстоящему краху, точно она все еще не представляла себе с должною реальностью его неизбежных последствий.

Николай Иванович отлично понял ревнивый намек, скрывавшийся в ее последних словах. Он нежно поцеловал ее длинную породистую руку.

— Я так и знал, Тоня, что ты пожалеешь своего Нику. Если бы ты знала, как я измучился за эти дни. Мне было так тяжело, что я не сумел оградить тебя от этих неприятностей. Вероятно, я бы и сегодня ничего не сказал, но утром принесли повестку.

— Повестку? Что же, тебя в суд требуют? — испуганно хватая его за руку, спросила жена. Ей показалось, что с ее Никой хотят сделать что-то страшное.

— Нет, — с легкой досадой возразил Козельский, — какой там суд, просто пятьсот рублей взыскивают.

— Ах, это о деньгах! — уже гораздо спокойнее сказала Антонина Сергеевна. — Ну что же, ты, конечно, сказал им, чтобы подождали!

— Но, дорогая, тут ничего не скажешь… Тут платить надо, или явится пристав и опишет мебель.

— Как опишет? Неужели они не могут немного

отсрочить? Откуда ж тебе взять деньги, если у тебя нет?

Козельского начинало раздражать детское непонимание этой «святой женщины». Но он сдержался.

— Нет, милая, ты совсем не понимаешь практической жизни. Ни о какой отсрочке не может быть и речи. Надо во что бы то ни стало добыть к завтрему эти деньги. А что, если бы ты съездила к дяде Александру и попросила у него взаймы?

Антонина Сергеевна с удивлением взглянула на мужа. Этот дядя, родной брат ее матери, очень богатый старик, оригинал, славился своей баснословной скупостью и со страхом маньяка смотрел на родных, всегда подозревая их в желании выманить у него деньги.

— Но, Ника, разве ты не знаешь, что он не даст и пяти рублей. И не поставит ли тебя в неловкое положение, что твоя жена ездит занимать деньги?

— Ты права, Тоня. Я говорю вздор.

Козельский вспомнил, что утром говорил ту же фразу Ордынцевой, и про себя усмехнулся.

— Лучше заложи мои брильянты. Они старинные и ценные. А относительно перемены в нашей жизни делай как знаешь. Я вперед на все согласна. Да, я и забыла тебе сказать. Тина говорила мне

сегодня, что ей хочется уехать на год за границу, прослушать в Париже лекции по литературе. Пожалуй, придется нам отказать нашей девочке.

Николая Ивановича неприятно поразили эти слова. Ему сразу показался подозрительным столь внезапный интерес Тины к литературе.

— Нет, отчего же. Может быть, это и будет возможно. Ты, пожалуйста, пошли ее ко мне поговорить.

IV

Тина вошла в кабинет отца, спокойная и самоуверенная.

— Ты звал меня, папа?

— Мама говорит, что тебе хочется ехать за границу учиться. Ты действительно интересуешься курсами литературы?

— Ну, по правде сказать, я еще не знаю, буду ли я учиться литературе или декламации, — небрежно проговорила молодая девушка. — Но маму не к чему пугать неопределенностью моих планов. С тобой я могу говорить прямее, ты не так пуглив.

Ее карие глаза с насмешливой дерзостью смотрели на отца. Она как будто хотела ему сказать, что он-то не смеет ни судить, ни порицать ее, что бы она ни сделала.

— Твоя фантазия является довольно некстати. Мои дела очень расстроены, — произнес Козельский. Он испытывал смешное чувство недовольства и какого-то смущенья перед дочкой. Он точно видел в ней повторение своих недостатков и пороков, облеченных в более резкую форму.

— Это действительно некстати, так как я во что бы то ни стало уеду, — тихо и решительно ответила молодая девушка.

Отец пристально посмотрел на нее. Она храбро выдержала его взгляд. Только румянец чуть-чуть ярче заиграл на ее красивом лице и в глубине ее смелых глаз вспыхнул не то вызов, не…

Николай Иванович первый опустил глаза. Теперь он не сомневался, что первое мелькнувшее подозрение было верно.

— Хорошо. Я устрою твою поездку. Когда ты хочешь ехать? — вполголоса произнес он, как будто боясь, что мать может услышать не только его слова, но и мысли.

— В начале будущего месяца.

— Хорошо. А теперь уйди, пожалуйста, — все также тихо попросил он.

Молодая девушка вздрогнула. В этой короткой, мягко произнесенной фразе было для нее что-то

более оскорбительное, чем в самой резкой брани. Но она не сказала ни слова и вышла из комнаты.

Козельский остался один. Разговор с дочерью ошеломил его. Его самолюбие было уязвлено. И в то же время где-то глубоко в нем копошилось и чувство виновности, и какая-то брезгливость. Точно он сам сделал что-то очень дурное, очень низкое, что необходимо как можно лучше скрыть от людей.

В кабинете было тихо. Лампа под темным абажуром освещала только письменный стол. Углы комнаты тонули в полумраке. Николай Иванович вдруг понял, что его жизнь кончена. И холодная жуткость одиночества охватила его.

Глава тридцать третья

I

За последний месяц старик Ордынцев часто прихварывал, и это немало озабочивало его семью, боявшуюся очутиться вдруг без всяких средств. Но с некоторого времени они все опять повеселели и подбодрились. Вызвано это было одним, по-видимому, незначительным событием, от которого, однако, все они ожидали великих благополучии.

Как-то раз некий господин Уздечкин привез Ольге билет на благотворительный бал в дворянском собрании. Молодая девушка всегда охотно выезжала, а на этот раз с особенным удовольствием поехала с Уздечкиным. Она твердо решила так или иначе женить на себе этого плюгавого, но состоятельного господина, и за последний месяц отчаянно кокетничала с ним. Но на вечере она встретила молодого Гобзина, и дело приняло другой оборот.

С спокойною наглостью миллионера, уверенного в том, что его ухаживанье, в какой бы форме оно ни было, может доставить одно удоволь-

ствие, этот развязный «англоман» бесцеремонно разглядывал обнаженные, круглые плечи Ольги и видимо любовался ее юною свежестью.

Она ничуть не оскорблялась плотоядным огоньком, загоревшимся в его глазах, а, напротив, чувствовала себя польщенной и в ответ на его двусмысленные любезности весело смеялась, показывая мелкие белые зубки.

С этого вечера Гобзин стал ездить к Ордынцевым. Он возил Ольге цветы, конфекты в роскошных бонбоньерках, билеты в театр, дарил ей маленькие, но дорогие пустячки, при виде которых в ее темных глазах вспыхивало что-то алчное. А он долго и жадно целовал ее беленькие ручки и смеялся нехорошим, циничным смехом.

Анна Павловна принимала Гобзина с простодушной приветливостью, как будто не замечая его откровенного ухаживанья. Только иногда, взглядывая на его постоянные подарки, с мягкой укоризной любящей, но разумной матери говорила ему:

— Вы совсем избалуете мою девочку!

— Кого же и баловать, как не хорошеньких барышень, — не без наглости отвечал в таких случаях Гобзин.

Даже Алексей был особенно любезен с этим

сыном миллионера. И все трое они охаживали Гобзина, словно бы красного зверя; в их манерах была какая-то особая вкрадчивость сдержанных хищников.

Гобзин отлично видел все это и посмеивался про себя, уверенный, что его не так-то легко обойти на женитьбе. Он каждый день бывал у Ордынцевых и часто катал Ольгу на своих орловских рысаках.

И Анна Павловна не говорила ни слова об этих катаньях. Она стала внимательнее и нежнее к дочери, как будто она значительно поднялась в ее глазах с тех пор, как Гобзин стал за ней ухаживать.

Только раз, когда Ольга вернулась с катанья часу в первом ночи, мать поцеловала ее в похолодевшую на морозе щеку и словно бы вскользь сказала:

— Хорошо прокатилась, Оля? Ну, я рада за тебя… Но ты умница, конечно, понимаешь обычную вещь: чем сдержаннее с влюбленным, тем очаровательней и победоносней.

— Будь спокойна, мама, я знаю, как надо держать мужчин в руках, — не без высокомерного задора ответила молодая девушка, с самоуверенностью юного и недалекого созданья, убежденная,

что не сегодня-завтра Гобзин сделает ей предложение.

II

А Ордынцеву сильно нездоровилось. Он слишком понадеялся на свои силы, набрал так много работы и теперь с трудом справлялся с ней. Иногда на него нападала слабость: он чувствовал себя разбитым, и ему надо было делать над собой громадное усилие, чтобы заставить себя пойти на службу. Иногда он требовал работу на дом, чтобы только не выходить на улицу.

Его почти до слез умиляла нежная заботливость и тревога Шурочки, тоскливо наблюдающей недомоганье отца. Он старался успокоить ее, бодрился и шутил в ее присутствии, но сердце его болезненно ныло при мысли о том, что он, слабый и хворый, ненадежный кормилец своей девочки.

С этими невеселыми думами шел он раз вечером по Невскому. Ему с утра очень хандрилось. Чтобы хоть немного развлечься, он решил сходить к своему старому приятелю, литератору Верховцеву, имевшему способность бодрить его.

Он поравнялся с большим зеркальным, ярко освещенным окном ювелира. Крупные брильян-

ты, пунцовые, похожие на кровь рубины, синие, как море, сапфиры, ярко-зеленые изумруды блестели и переливались на темном бархате витрины. Что-то вызывающее было в их роскоши. Ордынцев вспомнил стихи Надсона «Сиять такою дерзкой красотою» и невольно остановился.

В это время дверь магазина распахнулась, и из него вышли, весело смеясь и болтая, невысокий господин и молодая, стройная женщина. Она быстро перешла тротуар и села в узенькие санки. Ее спутник уселся рядом, застегнул полость, и горячая рыжая лошадь, которую с трудом сдерживал толстый кучер, быстро помчала санки по направлению к адмиралтейству.

Ордынцев все еще стоял на месте, и злоба и ужас охватили его сердце. Он узнал и Ольгу и Гобзина. Эта фамильярность, этот магазин, эта уверенно-наглая манера, с которой Гобзин обнял Ольгу, — все это доказывало существование между ними особой интимности.

Ордынцев сразу понял это. Озноб, который он чувствовал еще с утра, вдруг усилился. Ему захотелось домой, захотелось поскорее согреться около Шуры, в ласке ее любви.

Ночью ему стало нехорошо. Доктор, за которым послала встревоженная Шура, не сказал ничего

определенного.

— Много, верно, поработал ваш отец, а берег себя мало… Очень истощенный организм, — серьезно произнес он. И, желая успокоить Шуру, прибавил: — Да вы не тревожьтесь, милая барышня, пока ничего страшного нет.

Но Шура не могла не тревожиться и провела остаток ночи в комнате отца. Он впадал временами в забытье, и, верно, ему снились тяжелые сны; он невнятно бредил, сердился на кого-то и беспокойно ворочался на постели.

Проснулся он утром осунувшийся, как будто еще похудевший.

— А ты не спишь, Шура? — с бесконечной нежностью глядя на свою любимицу, сказал он.

— Я уж выспалась, папочка. Как ты себя чувствуешь?

Она подошла к постели и поцеловала сухую и горячую руку отца.

— Лучше, гораздо лучше… Но я все-таки побалую себя, пролежу денек в постели. А ты, детка, напои меня чаем, а потом зайди утром, до гимназии, к матери и скажи Ольге, что я болен и прошу ее зайти.

— Хорошо. А можно мне тоже не ходить сегодня в гимназию? Мне так хочется остаться с тобой. —

Она с мольбой взглянула на отца.

— Конечно, можно. У нас с тобой сегодня будет отдых.

III

Шура прибежала к матери и со слезами на глазах начала рассказывать о том, что папочка очень болен. Она была уверена, что если не мать, то по крайней мере братья и Ольга поймут ее тревогу и поторопятся навестить отца. Но все они спокойно продолжали пить кофе с аппетитом и ели свежий хлеб с маслом и только отрывисто спрашивали взволнованную девочку, что сказал доктор.

— Так, значит, опасности нет? — спросила мать.

— Нет, нет! Только он очень плохо себя чувствует! — ответила Шура.

Ей стало еще тоскливее среди них. Она торопливо вскочила и стала прощаться.

— Так, пожалуйста, Ольга, приходи скорее. Папочка очень хочет тебя видеть.

Полная розовых надежд, предчувствуя уже счастье быть женой миллионера, Ольга неохотно шла к больному, всегда раздражительному и резкому с ней старику, Но не пойти было, конечно, неловко.

Стараясь быть как можно приветливее, она неслышно вошла в комнату отца. При появлении Ольги выражение его худого лица стало суровым.

— Здравствуй! Садись сюда. А ты, Шурочка, выйди пока. Мне надо поговорить с Ольгой.

Хорошенькое лицо старшей сестры сразу вытянулось. Это начало не предвещало ничего хорошего. Она поняла, что отец будет бранить ее, и приготовилась к отпору.

— Что это у тебя за новая дружба с Иваном Гобзиным? — спросил Ордынцев, глядя на дочь своими острыми, лихорадочно блестевшими глазами.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь? Какая дружба? Иван Прокофьевич, правда, довольно часто бывает у нас…

Приветливая улыбка уже сбежала с ее хорошенького личика и сменилась выражением тупого упрямства. Василий Николаевич хорошо знал это выражение. Он часто видел его прежде на лице жены. И эта увертливая, чисто бабья манера отвечать на вопрос тоже была ему знакома.

— Часто бывает? А по ювелирным магазинам он тебя тоже часто возит? — еще сдерживаясь, сквозь зубы проговорил он.

Ольга выпрямилась. «Откуда он знает? Верно, кто-нибудь насплетничал?» — мелькнуло в ее легкомысленной головке.

— Никуда он меня не возит! — обиженно, но осторожно ответила она, желая сначала выпытать, что известно отцу.

— А вчера у Иванова зачем ты была с ним? Неужели ты не понимаешь, что это неприлично!

— Я не вижу ничего неприличного. Мне надо было отдать в починку мамины серьги, вот и все.

В ее словах не было ничего невероятного, но в глазах мелькнуло что-то лживое и трусливое.

Отец поймал это выражение и не выдержал.

— Ты лжешь! — крикнул он, приподнимаясь на подушке и почти с ненавистью глядя на дочь. — На что ты идешь? Чего ты добиваешься? Неужели и ты будешь такая же лживая, как мать?

Он выкрикнул последние слова с каким-то злобным отчаянием и опять опустился на подушки, уже утомленный этой вспышкой.

Оля вскочила. В первую минуту ее охватил тупой страх животного, которое могут прибить. Но отец уже смолк, бессильный и усталый, и страх ее прошел.

— Я не понимаю, что ты кричишь на меня.

Ничего худого я не сделала. А если Гобзин ухаживает за мной, то я надеюсь, что в этом нет ничего предосудительного, — вызывающе сказала Ольга. — И я не знаю, почему ты удивляешься, что я похожа на маму. На кого же мне больше походить? Ведь тебя мы почти не видали. Когда ты бывал дома, ты или работал, или ссорился с мамой. Тебе некогда было говорить с нами. И ты удивляешься, что мы теперь чужие?

Ее голос звучал резко. Ордынцев лежал с закрытыми глазами. Беспощадные слова дочери, правдивости которых он не мог, не смел отрицать, раздавались в его больной голове, как тяжелые удары молота. Его злоба утихла, ему, как ребенку, хотелось молить о пощаде.

— Пусть ты права, Ольга, но неужели тебе самой не противно ухаживание этого наглого, откормленного животного? — устало спросил он ее.

— Противно? Чем он хуже других? По крайней мере богат. Мне не придется вечно перебиваться. Слава богу, надоели уж эти грошовые расчеты! — с бессознательной жестокостью ограниченной эгоистки продолжала добивать отца Ольга.

— Да ведь пойми ты, что он не женится на тебе, что его назойливость только поставит тебя в ложное и унизительное положение!

Ордынцев опять заволновался. Ему хотелось во что бы то ни стало убедить дочь, удержать ее от непоправимого и позорного падения.

— Отчего ты так думаешь? — обиженно сказала она. — Мама совсем иначе смотрит на дело…

— Твоя мама… — начал Василий Николаевич, но вовремя удержался. — Мы с Анной Павловной различно смотрим на вещи. То, что она считает возможным, для меня ужасно…

Ольга рассердилась за недоверие отца к сватовству Гобзина. Ей захотелось сорвать на нем свою злобу и бросить ему в лицо, что она считает более разумным и приятным быть хотя бы содержанкой Гобзина, чем вечно бедствующей женой какого-нибудь несчастного чиновника. Но она взглянула на отца, и при виде его страдальческого, осунувшегося и больного лица в ее сердце шевельнулась жалость. Она нагнулась к отцу и коснулась его лба своими розовыми губами.

— Полно, папочка, не волнуйся. Ты болен и слишком раздражаешься…

Они замолчали. Ордынцев с ужасом чувствовал, что все его слова, все просьбы и укоризны разобьются о глухую стену непонимания, и он опять, бог знает в который раз, с болью и раскаянием почувствовал, что он и старшие дети

говорят на совершенно разных языках.

Ольга скоро ушла. Василий Николаевич долго лежал неподвижно с закрытыми глазами. Шура, как мышонок, притаилась у окна, боясь потревожить отца Она думала, что он спит, и была довольна. Ее пугала мысль, что спор с Ольгой, к которому она с тоской и страхом прислушивалась из соседней комнаты, может дурно отозваться на здоровье отца.

Но Ордынцев не спал. Он чувствовал себя очень скверно и подумал о возможности близкой смерти. Без особого сожаления расстался бы он с жизнью, если бы не Шура. И мысль о судьбе этой девочки заставляла лихорадочно работать его возбужденный мозг. Его ненависть к жене перешла в брезгливое отвращение с тех пор, как он убедился, что она была содержанкой Козельского. Он отлично понимал, что это именно содержание, а не связь, основанная на увлечении, которую он, конечно, не ставил бы в упрек Анне Павловне.

Теперь он был уверен, что она покровительствует ухаживаньям Гобзина. Он знал, что если дочь тоже захочет пойти на содержание, мать не удержит ее, если условия покажутся ей выгодными.

И между этими двумя женщинами должна будет, в случае его смерти, расти его Шура. Одна мысль об этом приводила Ордынцева в содроганье, и он с мучительным упорством искал выхода, с ужасом чувствуя по временам, что его мысли теряют ясность и по временам начинают застилаться туманом бреда.

В такие минуты он беспокойно начинал метаться на постели. Но Шура клала свою маленькую, холодную от волнения руку на его горячую голову, и ему становилось как будто легче.

Днем был доктор. Он нашел у больного воспаление легких, прописал лекарство и очень скоро ушел, как-то избегая встречаться с пугливо-вопросительным взглядом девочки.

К вечеру Ордынцев немного успокоился. Он нашел исход. Вызвав Леонтьева, он продиктовал ему письмо к старику Гобзину. Он напоминал ему, что по условию он имеет право шесть месяцев болеть, с сохранением содержания, и просил, в случае его смерти, выдать эти деньги Леонтьеву, с тем, что тот как опекун Шуры обязан употребить их на ее воспитание.

— Старик Гобзин выдаст деньги… Он хоть и кулак, но честность есть… — слабым, прерывающимся голосом говорил Василий Николаевич,

утомленный диктовкой. — Я хочу просить Веру Александровну взять мою девочку к себе… Я знаю, что умру…

— Зачем говорить так. Конечно, поправитесь. А Вера завтра же будет у вас, — успокаивал больного Леонтьев, отлично понимавший, что это действительно конец.

Когда Леонтьева на следующий день вошла к Ордынцеву, она сразу почувствовала, что перед ней умирающий. Надвигающаяся смерть уже наложила свои тени на заострившееся, ставшее почти неузнаваемым лицо.

— Вы не оставите мою Шуру? Она не попадет туда? — тихо и с расстановкой сказал он Леонтьевой, взяв ее руку своей костлявой, похолодевшей рукой.

В его потухающих глазах вспыхнула мольба.

— Конечно, голубчик, вы знаете, что я всегда ее любила, — торопливо ответила Вера Александровна, с трудом сдерживая подступающие слезы.

Ей хотелось сказать ему, что он еще поправится, что не надо так унывать, но слова не шли с языка. Она молча сидела у его постели, держа его руку в своих руках. Он понемногу впадал в забытье.

На следующий день Ордынцев умер.

Глава тридцать четвертая

В ответ на одно из донесений Никодимцева он был вызван телеграммой в Петербург.

Наскоро сдав свое сложное, большое дело помощнику, Григорий Александрович немедленно выехал, известив телеграммой невесту.

Инна, счастливая неожиданным возвращением жениха, радостно встретила его на вокзале и была поражена тем, как он похудел и изменился.

А он, несмотря на счастье свиданья, был огорчен и угнетен тем, что пришлось так быстро бросить хотя, и налаженное, но все-таки требующее его присутствия дело. И он не скрыл этого от невесты, наскоро сообщая ей и о полученной телеграмме и о том, что им, очевидно, недовольны и, наверное, не пошлют больше в голодающие местности.

Приехав домой, он переоделся и в тот же день явился к графу.

Его приняли любезно.

— Вас вызвали для того, чтобы лично переговорить с вами, Григорий Александрович, — с снисходительной приветливостью пожимая своей породистой рукой руку Никодимцева,

проговорил граф. — Вы писали такие страшные донесения, как будто Россия находится на краю гибели и здесь мы ничего не понимаем. Мы писали, что вы очень увлекаетесь, и просили вас не пугать общество и население преувеличенно мрачными картинами, но вы не изволили обратить внимания на советы государственной мудрости… Провинция, по-видимому, произвела на вас, впечатлительного человека, слишком сильное впечатление…

Он опустился на кресло и жестом пригласил сесть Никодимцева.

— Вы правы, граф. Впечатление очень сильное, — сухо ответил Никодимцев.

— И, вероятно, еще усилилось благодаря вашим расстроенным нервам. Вы просто устали, Григорий Александрович. Я слышал, что вы считали нужным все время быть в разъездах. А воображение утомленного человека всегда слишком сильно работает. Я только этим и могу объяснить ваши короткие и — извините меня — неумеренно горячие записки, которыми вы здесь всех напугали.

Его сиятельство говорил эти слова обычным любезным тоном, но в его маленьких глазах блестела насмешка. Это не смутило Никодимцева.

Он и не ожидал другого приема.

— Ведь я так и предупреждал, граф, когда мне сделали честь послать меня в голодающие губернии, что я буду говорить то, что думаю, и описывать то, что вижу. К сожалению, занятый спешной работой, я мог только вкратце отмечать печальные факты вопиющего бедствия. Я надеюсь теперь представить более подробный доклад.

— Не знаю, к чему это вам нужно? — чуть-чуть пожимая слегка плечами и внимательно рассматривая свои отточенные ногти, произнес граф. — Вы, кажется, уже и так достаточно били тревогу. И из-за чего? Право, можно подумать, что Россия пропадает. Поверьте, милейший Григорий Александрович, ничего с нами не будет от того, что в двух-трех губерниях ощущается некоторый недостаток в продовольствии. И ваше отношение к тому, что вы называете громким именем народного бедствия, положительно преувеличено. Право, я ожидал от вас более трезвого отношения к делу.

Никодимцев слегка улыбнулся.

— Мне очень грустно, что я не оправдал ваших ожиданий, граф, но, к сожалению, я прав. Положение осмотренных мной губерний действительно

ужасно. И хуже всего то, что надвинувшаяся беда не есть временное, случайное явление, а нечто хроническое и упорное. И никакая, самая широкая филантропия не может ничего сделать. Нужны другие, более радикальные и общие меры. О них-то я и хотел говорить в своей докладной записке. Я считаю это необходимым, так как в петербургских чиновничьих сферах не имеют понятия о том, что творится в глубине России.

— Это, конечно, ваше дело. Но во всяком случае я вижу, что вы совсем измучены вашей командировкой, и я предлагаю отдохнуть несколько времени. Не возвращаться туда, откуда вы вынесли такие мрачные мысли, и не принимать департамента, — сухо сказал граф, вставая и давая этим понять, что прием окончен.

Никодимцев вышел от графа с полным сознанием, что в Петербурге хотят быть глухими и что он, беспокойный чиновник, не ко двору. Он мало сожалел об этом, и его не манила снова бумажная деятельность. Но ему было обидно и тяжело, что его сейчас оторвали от работы, которою он был так сильно поглощен.

* * *

Инна, как будто еще сильнее привязавшаяся к жениху за время его отсутствия, не жалела об его служебных неудачах. Скоро должен был окончиться ее процесс о разводе. Они оба с нетерпением ожидали этого, чтобы тотчас же сыграть свадьбу.

Дела Козельского шли все хуже и хуже. В начале апреля они перебрались в Царское, чтобы иметь предлог без особенного скандала сдать квартиру и продать все более ценное в обстановке. Но и это не могло их спасти, а Николай Иванович знал, что это только временная отсрочка полной несостоятельности.

Тина уехала за границу. Мать со слезами проводила ее, так и не догадываясь об истинной причине ее отъезда. Вообще Антонина Сергеевна, несмотря ни на что, продолжала жить в каком-то приятном неведении, все еще строя идиллические планы их новой, более скромной и семейной жизни.

Перед пасхой Никодимцев получил назначение в члены совета. Это было большим и обидным понижением, но он отнесся к нему довольно безразлично.

Он был всецело поглощен одной большой работой, задуманной им еще на голоде. Да и свадьба была уже близка.

В первых числах мая Григорий Александрович с невестой встретили на музыке в Павловске всю семью Ордынцевых.

Ольга, нарядно и крикливо одетая, окруженная толпой молодежи, громко и весело болтала, очень довольная, что обращает на себя всеобщее внимание. Рядом с ней шел Алексей, с своим обычным самоуверенным видом разглядывая публику. Немного поодаль под руку с каким-то господином выступала Ордынцева, тоже нарядная и все еще красивая.

Они прошли мимо Инны Николаевны, как будто не замечая ее. Дочь разорившегося человека, невеста Никодимцева, опала которого была всем известна, она больше не могла интересовать их. Но Ольга все-таки довольно дерзко оглядела ее с ног до головы и презрительно улыбнулась.

— А знаешь, мне жаль ее, — сказала Инна Никодимцеву.

— Равнодушная к позору… Да и мало ли у нас равнодушных даже среди неглупых людей ко всему, кроме карьеры и наживы. И я был чиновником, пока не прозрел.

1898–1899.
dauphin@ukr.net